НА СКЛОНАХ СТОЛОВОЙ ГОРЫ

Рассказы прогрессивных писателей ЮАР





НА СКЛОНАХ СТОЛОВОЙ ГОРЫ

Рассказы
прогрессивных
писателей
ЮАР

Перевод с английского
В. Коткина



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Предисловие
Г. Анджапаридзе

Художник
Е. Ярославцева

Н12 **На склонах Столовой горы:** Рассказы прогрессивных писателей ЮАР/Пер. с англ. В. Коткина; Предисл. Г. Анджапаридзе; Худож. С. Ярославцева.— М.: Худож. лит., 1983.— 304 с., ил. (Соврем. зарубеж. новелла).

В сборник вошли произведения прогрессивных писателей ЮАР, таких, как Питер Абрахамс, Алекс Ла Гума, Алан Пейтон, Ричард Рив, Надин Гордимер.

В представленных рассказах дается картина жизни Южной Африки в широкой исторической ретроспективе: начиная с событий, предшествовавших англо-бурской войне, и кончая животрепещущими проблемами современности — борьбой с апартеидом, ростом классового и национального самосознания небелого населения ЮАР, единением всех прогрессивных слоев южноафриканского общества.

Н $\frac{4703000000-259}{028(01)-83}$ 178-83

ББК 84.6Юж
И(Афр)

ЛИТЕРАТУРА ПРАВДЫ И ГНЕВА

Наверное, чтобы глубже прочувствовать литературу той или иной страны, надо хотя бы немного знать ее народ — его историю, его настоящее. Тогда литературные произведения заиграют каким-то иным светом, обогатятся новыми обертонами.

До сих пор живы в моей памяти подробности двух встреч, одна из которых произошла в Москве, другая — в Лондоне.

В 1967 году, в один из первых приездов Алекса Ла Гумы в СССР, мне посчастливилось познакомиться с этим талантливым писателем и крупным общественным деятелем ЮАР. Таким он мне и запомнился навсегда — высоким, стройным, улыбчивым человеком, с еще только начинавшими седеть висками. Крепко пожав мне руку, он сказал: «Здравствуй, товарищ». Ла Гума много испытал на своем веку — и годы подпольной борьбы, и тяготы тюремных заключений в расистских застенках, и тоску эмигрантских скитаний.

«Наша страна прекрасна, но сердце мое разрывается»,— повторяет слабый, мятущийся, еще не сумевший найти себя белый юноша из рассказа Алана Пейтона «Глоток вина в коридоре». Читаю эти слова, и мне припоминается, как восклицал Ла Гума: «Ты не видел Кейптауна, ты не можешь себе представить, как он хорош, какой он сказочный, белоснежный и зеленый...» И в его глазах стояли слезы. Он любил свой город и тосковал по нему, ибо не знал, скоро ли увидит его вновь.

Его судьбу, судьбу политического эмигранта, разделяют многие прогрессивные писатели ЮАР, книги которых — честные, точные, горькие,— как и произведения Ла Гумы, находятся под запретом в родной стране.

Восстали против апартеида и борются против него своими произведениями писатели, слава которых давно перешагнула границы ЮАР,— живой классик Питер Абрахамс, Надин Гордимер, Андре Бринк, Алан Пейтон. Из этой четверки, быть может, наиболее известных сегодня писателей ЮАР,— двое по происхождению англичане, один — потомок буров, голландских переселенцев, один — африканец. Но всех их объединяют любовь и ненависть. Любовь к родной стране и ненависть к апартеиду — этому рабству XX века.

Думаю, что вера в грядущее торжество свободы и справедливости — обязательные черты любой большой литературы. Несмотря на то, что в данном сборнике преобладают рассказы пе-

чальные, даже трагические, книга не порождает пессимистического взгляда на людей, человечество. «Жизнь древнее жестокости»,— сказано в рассказе Яна Рейби «Цветок из камня». Именно такой глубиной, непоколебимой верой в жизнь питаются лучшие произведения писателей ЮАР.

Как-то утром в Лондоне за мой столик во время завтрака подсел крепкий рыжеватый человек средних лет. Мы разговорились. Мой собеседник оказался жителем ЮАР. Он охотно излагал мне свои взгляды, но разговор не клеился — мы не понимали друг друга, ибо этот инженер-вычислитель, современный интеллектуал-технократ, оказался верным адептом апартеида. Он не сомневался, что ЮАР, где коренное население лишено даже права свободно передвигаться по стране,— оплот свободы и демократии, форпост европейской цивилизации. Спорить с ним было бесполезно. Он мало чем отличался от своих «предков» — дремучих, отвратительных расистов из рассказов Джека Коупа или Джеймса Мэттьюза. Как ни странно, эта недолгая встреча с обычным, рядовым расистом тоже помогла мне в понимании современной литературы ЮАР, в частности, погруженности ее создателей в разные аспекты апартеида и борьбы с ним.

Проблема апартеида — центральная проблема литературы ЮАР, и именно ей посвящен буквально каждый рассказ сборника, даже в том случае, если он повествует о событиях, отдаленных во времени более чем на век, как, например, рассказ Питера Абрахамса «Бурский трек». Да и как может быть иначе, если одним из краеугольных камней юридической пирамиды ЮАР оказывается пресловутый «закон о сохранении чистоты расы», запрещающий не только любовные отношения или браки между людьми с разным цветом кожи, но и элементарные товарищеские отношения.

Рассказ Майкла Пикарди «Был у меня друг африканец» ценен своей глубокой психологической достоверностью. Одинокая, не слишком удачливая англичанка Марта подружилась с молодым африканцем и начала давать ему уроки английского языка. Наконец-то она почувствовала себя нужной кому-то. Но это бескорыстное душевное движение было тут же смято, уничтожено, растоптано государственной системой, на практике стремящейся пресечь любые формы общения людей с разным цветом кожи. Принципиально важно, что Марта отнюдь не придерживается левых взглядов. Она обычная, добропорядочная англичанка из среднего класса. Но царящие в ЮАР законы и для нее оказываются дикостью. Она так и не смогла до конца понять, в чем заключалась ее вина, какой проступок поставил ее на грань уголовного преступления в стране, куда она с такой искренней охотой приехала работать.

Но, пожалуй, самый драконовский из всех южноафриканских законов — «закон о борьбе с терроризмом». Следуя этому «закону», любой полицейский имеет право без ордера на арест задержать подозреваемого в «терроризме», никого не ставя в известность, и содержать его в заключении. При этом любые посещения задержанных, в том числе адвокатом и близкими, запрещены.

Вот уже многие годы, как ЮАР держит «первенство» в мире по числу заключенных на душу населения. Их число пре-

вышает сто тысяч человек. Девяносто процентов всех официально зарегистрированных казней в мире приходится на ЮАР.

Только в 1980 году более двухсот тысяч человек подверглись наказаниям за нарушение законов о пропусках. Человек с небелым цветом кожи не имеет права находиться без пропуска более семидесяти двух часов в зонах, где живут только белые. В пропуске, который африканец обязан постоянно носить при себе и предъявлять по первому требованию полиции, обозначены не только имя и место рождения владельца, но и где он работает и в какие часы имеет право находиться в «белых зонах». За последние двадцать лет семь миллионов африканцев были крупно оштрафованы или заключены в тюрьму за нарушение этого порядка. О двух из миллионов таких трагедий, причиной которых стала элементарная забывчивость, повествуют рассказы «Костюм для концерта» Робинсона Матселе и «Пропуск и землячка» Рональда Уильямса.

В сборник органично вписываются рассказы, раскрывающие, так сказать, «историю вопроса». Ведь апартеид родился не сегодня, а имеет давние и глубокие исторические корни, причем корни прежде всего социальные.

«Первого декабря тысяча восемьсот тридцать четвертого года,— нарочито медленно продолжал Коос,— вступил в силу закон, по которому старик Йоханнес и все другие черные рабы стали свободными и равными тебе, брат Каспер». Этот закон для семьи фермеров-буров Янсенов, как и для многих подобных семей, означал разорение, ибо их благополучие зиждилось на безжалостной эксплуатации рабского труда (рассказ П. Абрахамса «Бурский трек»).

«Бурский трек» — это переселение, происшедшее во второй половине 30-х годов прошлого столетия, когда буры, поставленные новым английским законом на грань нищеты, лишенные дешевой рабочей силы, стали покидать южную часть страны и устремились на север.

Собственно, из этого рассказа можно уяснить и причины известной англо-бурской войны 1899—1902 годов. Буры и в самом деле пришли в Южную Африку раньше англичан, хотя и те, и другие были колонизаторами. Англичане, одержавшие победу, несмотря на сочувствие бурам, царившее в Европе, оказались в своей колониальной политике дальновидней и гибче. Освободив африканцев от рабства формально, они на деле не дали коренному населению страны возможности самостоятельного развития, не говоря уже об участии в управлении государством.

Сегодня согласно господствующей в ЮАР доктрине апартеида создано десять бантустанов — территорий, которые закрепляются за африканским населением, исходя из племенного признака. Четырем из них правительство ЮАР «даровало» независимость, но их марионеточные правительства не признаны ни одним государством мира, ибо из бантустанов, как прежде из сельских резерваций, расположенных на самых скудных и непродуктивных землях, сотни и тысячи африканцев устремлялись на работу в пригороды больших городов, так они это делают и теперь, каждый день пересекая границы «независимых» бантустанов. Характерно, что даже правительства Англии, США, ФРГ и других развитых капиталистических стран, под-

держивающих тесные политические и экономические отношения с ЮАР — западные фирмы охотно строят свои новые предприятия в ЮАР, привлеченные баснословно дешевой рабочей силой,— не решились признать «независимость» бантустанов.

Рассказ «Бурский трек» вызывает множество исторических ассоциаций, но это не учебное пособие, а художественное произведение. Характеры персонажей убедительны. Особенно сильно написана сцена молчаливого «единоборства» бывших белых хозяев и мудрого старого африканца Йоханнеса, во время которой последний побеждает в себе раба.

Не менее важен для африканской литературы в целом рассказ Питера Абрахамса «Случай в Малайском квартале». Писателю отвратителен расизм в любых его проявлениях. Будучи африканцем, он, естественно, отвергает идею превосходства белых, но в то же время для него неприемлема и мысль об однородности черной общины. Рассказ П. Абрахамса откровенно полемичен по отношению к тем, кто видит в африканцах одни положительные качества. Цвет кожи не должен, не может быть критерием, определяющим отношение к тому или иному человеку. Этот постулат как бы подхватывается и развивается авторами многих рассказов. Он лежит в основе тонкого и ироничного рассказа Германа Чарльза Босмана «Погребальная земля», действие которого вновь возвращает нас ко временам англо-бурской войны. Героям рассказа, которые «приобщают к цивилизации» африканское племя, кажется забавным и нелепым предложение вождя племени отложить войну до окончания сбора урожая. Только много времени спустя, прощаясь с убитыми товарищами, рассказчик понимает мудрость и правоту африканцев: «Командир Жуберт, взяв горсть земли, не бросил ее прямо в могилу, а медленно растер между пальцами. Он словно забыл, что за земля была на его ладони, и, вероятно, думал о жизни, а не о смерти.

И все мы, последовав его примеру, взяли по горсти земли и начали ее растирать. Мы ощущали, какая она мягкая, жирная, плодородная, как сочно растирается между пальцами. И все мы думали только об одном: настала пора сева. И только тут я понял, что чувствовали тогда люди из племени мтосов, которые так же, как и мы, были землепашцами».

Героям самых разных рассказов вдруг открывается — расового барьера не существует, он придуман, навязан им извне.

Линия размежевания лежит не между черным и белым, а между землепашцем и захватчиком, между созидателем и разрушителем.

Ничем не лучше белых надсмотрщиков надсмотрщик-африканец из рассказа Л. Нкози «Замок Потгитера» — тупой и злобный садист, упивающийся властью над горсткой измученных людей.

Несколько рассказов о том, как «теория и практика» апартеида уродуют человеческие характеры, искажают естественные отношения между людьми. Трагическим последствиям первых уроков расизма, получаемых белыми в раннем детстве, посвящен рассказ Яна Рейби «Цветок из камня». Герой этого рассказа Леон стремится открыть глаза белому мальчику Дэви, чтобы он понял: его темнокожие сверстники — точно такие же мальчишки, как и он, живые, умные и склонные к выдумкам

и фантазиям. И ценой тягостных душевных борений обретает истину маленький герой рассказа Дэна Джекобсона «Нищие».

Важной идейно-художественной задачей для многих прозаиков из ЮАР становится показ высокого чувства собственного достоинства, присущего человеку с темной кожей, несмотря на унижения, которым он постоянно подвергается. Причем художественное решение этой задачи в рассказах сборника многообразно. Белый герой рассказа Д. Джекобсона «Ящик» вдруг обнаруживает в темнокожем слуге способность переживать, ценить творение своих рук. В рассказе Алана Пейтона «Дебби, уходи домой» запечатлен раскол в африканской семье — многим молодым африканцам ясна новая тактика властей, которые с помощью незначительных уступок надеются сбить поднимающееся и крепнущее движение протеста, и они, эти молодые. больше не желают идти на компромиссы.

Лживость, двуличие белых меценатов отвратительно и молодому писателю Вильяму Аполлису, герою рассказа Джеймса Мэттьюза «Званый вечер». «Интеллектуальный» салон, в который он попал, посещают белые либералы, кичащиеся своей «прогрессивностью», тем, что они могут сидеть рядом с африканцами, тем, что время от времени оказывают покровительство новому дарованию. Но если у человека с темной кожей не оказывается никаких талантов, он немедленно превращается для них в существо низшего сорта. Иными словами, и в либеральном салоне царит все тот же расизм, только несколько закамуфлированный. Те, кто готов покровительствовать одаренному африканцу, по сути, стремятся использовать его талант, поставить его себе на службу. Подобная разновидность «интеллектуального» расизма, быть может, еще более опасна, гнусна и бесчеловечна, ибо ее не всегда можно сразу распознать.

В рассказах сборника есть несколько образов расистов, выписанных резкими точными штрихами. Это прежде всего фермеры-буры из рассказов Джека Коупа «Дорога на Севестром» и Джеймса Мэттьюза «Второе пришествие». Эти потомки первых бурских поселенцев на африканской земле твердо убеждены в своем праве вершить суд над африканцами, унижать, убивать, грабить в самом буквальном смысле даже покойников

Более сложен образ Стоффеля Виссера из рассказа Эзекиела Мпахлеле «Живой и мертвый». Он как раз из тех достаточно образованных политических деятелей ЮАР, которые сочиняют всевозможные уложения и законы, оправдывающие и укрепляющие политику апартеида. Виссер — неглупый человек, и он близок к тому, чтобы признать всю бессмыслицу и антигуманность происходящего в стране. Но он отгоняет навязчивые сомнения и сам дает себе испытанный расистский рецепт: не видеть в своем слуге живого человека, а лишь название, вещь. «Джексон, как и раньше, будет машиной, которая трудится на хозяина»,— решает он.

Звериный оскал полицейской системы ЮАР, реальной повседневной практики тех, кто стоит на страже идей Стоффеля Виссера и ему подобных, запечатлен в рассказе Бейзила Февруари «Передача». От повседневной, давно вошедшей в быт жестокости, от санкционированных свыше пыток тюремщики потеряли человеческий облик.

Но никакими пытками не сломить с каждым днем ширя-

щееся движение протеста против расистского режима. Объективные сложности движения находят отражение во многих рассказах — недостаточная организованность, теоретическая слабость, эффективность аппарата подавления и т. д. Но борьба ширится. И в ряды борцов вливаются новые силы.

В этом смысле любопытны рассказы Ричарда Рива «Скамейка» и Надин Гордимер «Запах смерти и цветов». Протест Карли (рассказ «Скамейка») может показаться нелепым и лишенным смысла. Но это далеко не так. В человеке пробуждается стремление к борьбе, он преодолевает годами носимый под сердцем страх перед белыми и их законами. Он обретает столь необходимые для предстоящей борьбы самосознание и готовность к жертвам.

Совершенно иным путем приходит к такому же решению белая девушка Джойс из рассказа Гордимер. Как будто столь же бессмысленна и приносимая ею жертва — ее арестуют, и все. Но это неправда. В последний миг перед арестом она видит лица наблюдающих за ней африканцев: «Взгляды их встретились, и она вдруг почувствовала не безразличие, а именно то, что чувствовали они...»

Вот именно в этом объединяющем чувстве взаимопонимания, которое возникает у всех честных людей независимо от цвета кожи, в их естественном гневе против бесчеловечных условий существования в ЮАР, в их единении — залог неминуемой будущей победы.

РАССКАЗЫ





ПИТЕР АБРАХАМС

Имя Питера Абрахамса, автора романа «Тропою грома» (1948), хорошо известно в Советском Союзе. Роман появился в русском переводе впервые в 1949 году, выдержал большое число изданий, был переведен на многие языки народов СССР.

Из других значительных произведений П. Абрахамса следует назвать романы «Шахтер» (1946), «Завоевание» (1950), автобиографическую повесть «Расскажи о свободе» (1954), романы «Венок Майклу Удомо» (1956; русский перевод — М., «Художественная литература», 1965), «Живущие в ночи» (1965; русский перевод — М., «Прогресс», 1963), «Наш остров сегодня» (1966).

Питер Абрахамс родился в 1919 году в трущобах Вреденорпа около Йоханнесбурга. Литературную деятельность начал как поэт. В настоящее время живет в эмиграции.

БУРСКИЙ ТРЕК

— И когда же все это произойдет?— спросил Каспер.

Коос горько усмехнулся.

— Уже произошло.

— Произошло?

— Да. Почти год назад.

— О боже!— воскликнул Каспер.

— Первого декабря тысяча восемьсот тридцать четвертого года,— нарочито медленно продолжал Коос,— вступил в силу закон, по которому старик Йоханнес и все другие черные рабы стали свободными и равными тебе, брат Каспер.

— Что же это означает?

— Что многие из нас почти год нарушают новый английский закон. И еще это означает, Каспер, что старик Йоханнес и остальные черные могут в любой момент отправиться в Кейптаун и притянуть нас к ответу, и нам придется защищаться в суде, в английском суде. Думаешь, суд примет нашу сторону в этом деле?

Каспер не ответил. Анна переводила взгляд с одного брата на другого. И для нее, и для них это было крушение. Она это чувствовала, даже не вникая в подробности. Тем не менее эти два близких ей человека, прекрасно осознавая суть дела, разговаривают так, будто ведут обычную беседу. Этого ей не понять. Спокойно делать дело,— да, но спокойно говорить о подобных вещах?.. Нет, немыслимо. «Возможно, в этом и состоит разница между мужчинами и женщинами»,— подумала она.

— Ты, кажется, упомянул о компенсации?— спросил Каспер.

— Да. Они добрые, они очень добрые, эти англичане. Они заявляют: «Рабов следует освободить. Но поскольку все ваше богатство, как мы знаем, заключено в ваших рабах, мы намерены возместить вам убытки. Мы выделим чуть больше миллиона фунтов стерлингов для выплаты компенсации. А теперь давайте подсчитаем: в стране приблизительно пятьдесят тысяч рабов — возможно, немного больше, но будем считать пятьдесят. Итак, вам нужно всего-навсего собрать денег, чтобы приехать в Англию, подтвердить документами иск на компенсацию, и мы тут же выдадим вам вашу долю из специально для этой цели предназначенной суммы, немного превышающей миллион фунтов».

— Значит, так все и будет?

— Да, Каспер, именно так все и будет.

— Черт бы их побрал со всеми потрохами!

— Аминь!— заключил Коос.

— Но ведь многие при этом разорятся,— вступила в разговор Анна.

— Уже разорены,— ответил Коос.

Каспер посмотрел в окно. Во дворе играл его сын. Совсем недавно ему в голову пришла мысль подарить сыну молодого Йоханнеса в качестве личного раба. А вот теперь по английскому закону его сын и Йо-

ханнес стали равны и получили одинаковые права. Невозможно себе представить! К чему все это приведет, чем кончится? Что теперь будет с домом, который они построили, с фермой? И кто вернет им деньги, которые они на это ухлопали? А как быть с рабами? Ведь по новому закону они стали свободными. И, будто угадав его мысли, Коос сказал:

— Мы должны принять какие-то меры.

— Да.

— Там ружья, Каспер.

— Я знаю.

— Стоят в козлах...

— Хватит об этом!

— Я просто хотел взглянуть...

— Я сказал, хватит об этом, Коос.

— Но ведь ружья там, Каспер. Ведь они там!

— Довольно!— В голосе Каспера послышалось раздражение.— Пойди лучше посмотри, что делается на маисовом поле.

Коос вскочил.

— Пожалуй, я захвачу с собой ружье,— сказал он.

— Нет.

— Ну тогда пистолет.

— Нет, тебе говорят!

Коос слегка пожал плечами и вышел, с независимым видом засунув руки в карманы.

— Он прав,— сказала Анна.

— Знаю.

— Не злись на него.

— Я не злюсь.

— Каспер...

— Да?

— Что же будет?

— Неразбериха, Анна. Еще больше, чем теперь.

— А как же наш дом, Каспер?

— Мне надо подумать, Анна, надо собраться с мыслями... Знаю твердо лишь одно: лучше бы мы все сдохли, но не дали британцам снова завладеть колонией. Это была наша ошибка.

Он встал и вышел на веранду. Анна сидела, глядя прямо перед собой невидящими глазами, растерявшись от того, что их жизнь, такая мирная и упо-

рядоченная, внезапно кончилась. Рабы были гарантией благосостояния и защитой от кафров. А теперь эти же рабы стали их врагами, а уж с мечтами о благосостоянии и подавно приходится расстаться.

Каспер молча спустился с веранды во двор, но, заворачивая за угол дома, остановился.

— Анна!

Она перевела на него взгляд.

— Ничего не бойся. Не спускай глаз с мальчика. Все будет в порядке.

Он ушел, а Анна откинулась на спинку стула, испытывая огромное облегчение и благодарность к человеку, произнесшему эти слова. Просто удивительно, как благотворно они на нее подействовали.

— Ничего не бойся...— шепотом повторила она.— Не спускай глаз с мальчика.... Все будет в порядке...

Было в голосе Каспера нечто такое, что делало простые слова особенно вескими. Она вновь и вновь повторяла их с нежностью и любовью.

Тем временем Каспер поспешно обогнул дом и вошел в него через боковой вход. Он на цыпочках прокрался в спальню и открыл старый бурский сундук, в котором хранились самые ценные фамильные вещи. Со дна сундука он достал два пистолета. Внимательно осмотрел их. Оба были в порядке. Он засунул их под рубашку и все так же неслышно вышел во двор.

Скорым шагом он двинулся по той дороге, по которой ушел Коос. Но даже в быстрой ходьбе чувствовалась его обычная основательность и неторопливость.

Двое рабов, как всегда, копались на картофельном поле. Он прошел мимо, потом остановился и оглянулся. Рабы бросили работу и, распрямившись, долго и внимательно смотрели ему вслед. Его правая рука непроизвольно дернулась к оружию.

О чем они думают, глядя на него? Заметили или нет выпиравшие из-под рубашки пистолеты, поняли значение его жеста или не поняли? Он терялся в догадках, и вдруг его словно молнией озарило. Никогда прежде не задумывался он о них как о людях, способных мыслить и чувствовать, никогда не заботился о том, какие думы скрываются в этих глазах под нахмуренными бровями. А ведь и они, наверное, о

чем-то мечтают, строят какие-то планы. Они же люди, разумные существа. Конечно, они не то, что белые,— белые никогда не смирились бы с рабством! Белые — другое дело. Но о чем они все-таки думают?

Он резко повернулся и продолжал свой путь мимо плодового сада, мимо пастбищ для лошадей, мимо овечьих загонов, пересек небольшую речушку, стекавшую с гор, и наконец увидел Кооса рядом с группой рабов на поле.

— Коос!— позвал он.

Коос махнул рукой.

— Коос! Иди сюда!

Коос быстро зашагал по разделявшему их полю. Солнце застыло в зените. Струился слабый ветерок, смягчавший полуденный зной. Одинокий орел сделал два круга над долиной и полетел к востоку. Он поднимался все выше и выше, пока не превратился в маленькую темно-синюю точку, а затем и вовсе исчез из виду в бледно-голубом однообразии безоблачного небосвода.

Когда Каспер оторвал взгляд от неба, Коос был уже рядом. Каспер вытащил из-за пазухи пистолет и протянул его брату.

— На, спрячь.

— На заставу?

Каспер кивнул.

— За ружьями?

— И за порохом.

— Ладно... Эх, если бы с нами был еще хоть один белый!

— Коос, а что делается в Кейптауне? Неужели все безропотно сдались?

Они свернули с дороги и направились к конюшне. Какое-то время шли молча. Коос, всегда быстрый в движениях, на этот раз едва поспевал за обычно медлительным Каспером. Они перешли через ручей свернули налево, потом направо.

— Я ждал, что ты об этом спросишь, Каспер.

— Там была Анна.

— Понимаю... Еще до того, как закон вошел в силу, рабовладельцы несколько раз устраивали собрания. Но все без толку... Ничего они не могли поделать. А потом один за другим начали уезжать. Теперь в Кейптауне только и слышно: «На север! По-

дальше от англичан, подальше от английских законов!».

— Значит, снова переселение, Каспер. Это великий исход. Послушал бы ты пастора Смита, Каспер, когда он открыл Библию и, обратив взор к небесам, заговорил об избранном богом народе, который ушел в пустыню и обрел рай. Он говорил, как этот народ отказался от жизни в неволе и двинулся на поиски новой земли и нового крова... Да, его стоило послушать, Каспер. Он говорил так, словно видел все это воочию. А вокруг стояли люди — мужчины, женщины, дети... А еще он говорил о кафрах и именем бога проклинал их и предсказывал, что гнев божий обратится против тех, кто пытается сделать кафров равными нам. Он сказал: «Пусть лучше прольется последняя капля нашей крови, пусть наступит конец нашему народу и на земле не останется больше ни одного африканера, пусть погибнут наши дети, все, до последнего младенца,— это будет лучше, чем вырождение нашего народа, чем загрязнение нашей крови и осквернение памяти предков. Мы никогда не опустимся до равенства с ними. Никогда!» И все в один голос кричали «Аминь, аминь!».

Потом он заговорил о вещах всем нам хорошо известных — о фургонах, ну и о разных мелочах. Это была как бы повесть о нашей жизни. И хотя все это каждому знакомо с детства, у него звучало совсем иначе, и все слушали раскрыв рот.

Коос пытался пересказать Касперу содержание проповеди, которая произвела на него такое впечатление, но ему не хватало слов.

Не сказал он и о том, что белое население Капской колонии в те последние дни 1835 года насчитывало чуть больше двадцати шести тысяч человек и что уже свыше десяти тысяч буров снялись с насиженных мест и уехали, бросив дома и несобранный урожай на полях.

Не счел он нужным сообщать брату, который и без того это знал, что буры отправлялись в путь в фургонах, запряженных волами — по восемь — десять волов в упряжке. Эти легкие на ходу повозки были ему хорошо знакомы. Он знал: такой фургон был домом на колесах, здесь, под брезентовым пологом, туго натянутым на гибких ивовых прутьях, жили и

спали, здесь продолжали вести хозяйство жены буров.

Коос упомянул лишь о том, что не будет кафров-погонщиков, чтобы погонять волов. Их обязанности должны будут взять на себя дети буров, а если нет детей — женщины или другие члены семьи.

Когда Коос закончил рассказ, Каспер спросил:

— Все буры решили переселяться?

— Да. Пока я был в Кейптауне, каждый день уезжало по нескольку семей.

— И все на север?

— Все на север.

— А кто их возглавляет?

— Такого человека нет.

— Значит, каждый сам по себе?

— Да, каждый сам по себе.

Они подошли к конюшне. Мальчишка-конюх выбежал им навстречу, непрерывно кланяясь.

— Лошадей!— резко приказал Коос.

Мальчик поспешил обратно в конюшню и стал седлать лошадей.

— А как ведут себя англичане?— спросил Каспер.

— Никак.

Мальчик подвел лошадей. Братья вскочили в седла и поскакали напрямик к сторожевой заставе у въезда в долину. Оба молчали, занятые невеселыми думами. Скакали они легко, нога к ноге, как скачут люди, выросшие в седле.

Едва они появились на заставе, оба раба, которые постоянно несли здесь караул, подбежали к ним и приняли лошадей.

— Где Йоханнес?— крикнул Каспер.

Сторожа не успели ответить, из хижины вышел Йоханнес. Следом за ним показался его сын и еще трое молодых рабов.

— Почему они здесь?— осведомился Каспер, недобро глядя на черных парней.

— Это ночной караул, баас Каспер.

— А где остальные?

Каспер шагнул к хижине, заглянул внутрь — пусто.

— Все на работе, баас Каспер,— ответил Йоханнес.

Каспер завернул за хижину. Старая ма Йоханнес

и две молодые женщины готовили еду для рабов. Возле них играли трое детей.

— Здесь нет никого, кому не следовало здесь быть,— спокойно сказал Йоханнес.

В глазах Кооса вспыхнула злость. Каспер бросил на Йоханнеса холодный взгляд и повернулся к женщинам.

— Почему их трое?

— Нужно накормить больше двадцати рабов, баас Каспер.

У Каспера мелькнула мысль, что меньше чем троим не управиться со стряпней на двадцать с лишним человек. И именно поэтому он разозлился. Йоханнес был прав. Но как он смел быть правым? Паршивый раб!

— Ты что, будешь пререкаться со мной?

— Нет, мой баас.

— Я считаю, что троим здесь делать нечего.

Он знал, что это неправда, что он зря это говорит и что лучше бы ему вообще промолчать. Но не отступать же теперь!

— Да, баас Каспер.

— То-то...

Йоханнес обратился к одной из двух молодых женщин:

— Флора, иди в большой дом и скажи Лин, что будешь стирать белье.

Флора кивнула и, не говоря ни слова, направилась к дороге, ведущей на ферму. Каспер вернулся к дверям хижины. Он кипел от гнева. Надо же было ему затеять этот дурацкий разговор! Он прямо-таки ненавидел старика Йоханнеса.

Ему показалось, что сын Йоханнеса, Поль, пока они были за хижиной, пристроился поближе к козлам с ружьями. Он обежал взглядом черные лица рабов. Вместе с Йоханнесом их было семеро. Две женщины не в счет. Уголком глаза он видел, что Коос прислонился к лошади, готовый в любой момент вскочить в седло, а его правая рука лежит на груди, рядом с расстегнутым воротом рубашки. Он снова посмотрел на Йоханнеса, прикидывая, сколько времени понадобится Полю, чтобы схватить ружье и выстрелить.

— Йоханнес!

— Слушаю, баас Каспер.

— Я хочу тебя кое о чем спросить.

— Да, баас Каспер.

Каспер помолчал, раздумывая, потом сказал:

— Тебе что-нибудь известно о делах в Кейптауне?

— Вы спрашиваете о законе насчет рабов, баас Каспер?

— Да, насчет рабов,— отрезал Каспер.

Йоханнес весь напрягся и, подняв глаза, взглянул прямо в лицо хозяину.

— Да, мне известно об этом.

Каспер уловил едва заметную перемену в осанке Йоханнеса и его манере говорить.

— Ты знаешь, что вы теперь свободны?

«Итак, все это правда»,— подумал Йоханнес.

— Да, я это знаю.

— Ты знаешь, что вы свободны уже почти год?

В голове у Йоханнеса зазвенело, он вдруг почувствовал, что должен на что-нибудь опереться. Но ни удивление, ни восторг, ни замешательство, охватившие его душу и мысли, не отразились на его лице.

— Да, это я тоже знаю,— спокойно ответил он.

— Итак...— начал было Каспер, но передумал.— И давно ты об этом знаешь?

— Один бывший раб проходил мимо нас вчера вечером,— отвечал Йоханнес.

Пронзительным взглядом Каспер впился в глаза старика, который до сего времени был главным и самым верным его рабом. Всегда было так: стоило ему посмотреть, и тот опускал глаза. Каспер ждал этого и теперь. Это позволило бы ему снова ощутить свою власть над ним, заставило бы Йоханнеса вернуться к прежнему положению. Подумаешь, закон! Старик — раб душой и телом, он и обязан вести себя как раб. Пусть опустит глаза. Нужно заставить его это сделать, и тогда он скажет «баас Каспер», как говорил многие годы. Слова на бумаге ничего не меняют. Он раб, и все помыслы у него рабские. Не отрываясь, Каспер смотрел старику в глаза. Он собрал всю силу воли в этом холодном взгляде.

Но старые слезящиеся глаза раба не опустились. В них по-прежнему было уважение, но они не опустились.

Дикое желание сбить Йоханнеса с ног овладело

Каспером. Ему хотелось поставить старика на колени, тупой силой своих крепких кулаков вбить ему в голову покорность и смирение. Но рядом было еще шестеро рабов. Он отвел взгляд. Старый раб одержал первую победу.

— Итак... По закону вы теперь свободны. Что же вы собираетесь делать?

— Мы думаем уехать,— ответил Йоханнес.— Мы слышали, будто правительство дает землю освобожденным рабам. И если они будут хорошо ее обрабатывать, она перейдет в их собственность навсегда, а потом и к их детям. Мы поедем, получим землю и станем работать на себя.

— Ты и твоя семья?

— Я говорю обо всех.

— Так... И когда же вы поедете?

Старик сказал, словно рассуждая вслух:

— Если мы уедем теперь, сразу, вы останетесь совсем одни — двое мужчин, женщина и ребенок. Если нападут кафры, как это было уже не раз, то что же будет? К тому же троим не под силу делать всю работу на ферме. Поэтому нам трудно назначить день отъезда, пока вы сами не решите, как вам быть.

— Но вы все-таки уедете?

— Да, мы уедем. Теперь, раз вы это уже знаете, я думаю, мы уедем через семь дней, считая с сегодняшнего. За это время вы решите, как вам быть.

— А что будет в эти дни?

— Я присмотрю, чтобы каждый работал так, будто ничего не произошло.

— Значит, ты можешь заставить их делать то, что сочтешь нужным, не так ли? — резко вмешался Коос.

— Они будут слушаться меня,— серьезно ответил Йоханнес.

— Скажи мне, Йоханнес,— продолжал Коос,— ты уверен, что вы задерживаетесь с отъездом на эти семь дней только ради нас? А может, вам просто хочется посмотреть, как мы сами уедем из долины, и остаться здесь распоряжаться, словно хозяева?

— Коос!— одернул его Каспер.

Поль вскочил, но Йоханнес взглядом остановил сына.

— Забери ружья, Коос, и порох тоже,— скомандовал Каспер.

Коос выпрямился. Поль бросился вперед, схватил ружье и уже поднял его к плечу, когда Коос выстрелил. Выстрел разорвал тишину, и снова тишина поглотила все. Ружье выскользнуло из рук Поля и упало раньше, чем тело. Каспер выхватил пистолет и направил его на Йоханнеса, пока Коос перезаряжал свой. На земле во все увеличивавшейся луже крови, хлеставшей из головы, лежал умирающий Поль.

Двое белых не спускали глаз с рабов, готовые при малейшем их движении стрелять снова. А что те двинутся на них, казалось неизбежным. Все пятеро молодых рабов напряглись, как сжатая пружина. Шли секунды. Вот-вот кто-то не выдержит и сорвется.

— Если кто-нибудь из вас сдвинется с места — Йоханнесу смерть!— выкрикнул Каспер.

Йоханнес перевел взгляд на умирающего сына и с горьким вздохом опустил голову на грудь. «Мы должны смотреть, как умирают наши дети,— подумал он.— Горькая участь — видеть смерть своих детей. Мы их рожаем, растим и глядим, как они умирают у нас на глазах.— Он посмотрел в лицо Касперу.— А ты, белый убийца, ведь я сейчас могу схватить тебя за налитую кровью шею и душить, душить. Только этого мне бы сейчас и хотелось. Ведь со мной ты уже ничего такого сделать не сможешь. О боже! Дай мне дожить до того момента, когда я смогу задушить хоть одного из Янсенов!..».

Из-за хижины вышла его старуха жена. Она опустилась на землю подле умирающего сына и положила его окровавленную голову себе на колени. Йоханнес посмотрел на жену и почти физически ощутил, как в его тело вливаются новые силы. Он осязал их кончиками пальцев рук и ног, они выпрямляли его спину и гулко стучали под ребрами с левой стороны груди.

«Нам нужен большой дом в долине»,— сказал он себе. И снова посмотрел прямо в лицо Касперу Янсену.

— Можете спрятать свои пистолеты, Янсен. Вы убили моего сына. Вы хотели этого, и вы это сделали. Теперь можете спрятать свои пистолеты.

— Забери ружья,— кивнул Каспер Коосу.

— Они идут сюда, Каспер,— вместо ответа сказал Коос.

Каспер рывком обернулся. Да, они приближались, все до единого. Они шли к хижине плотной толпой. Сплошная масса медленно надвигавшихся рабов. Каспер чуть отступил, чтобы не упускать из виду ни подходивших рабов, ни старика Йоханнеса.

— Что будем делать?— спросил Коос.

— Уберите пистолеты,— сказал Йоханнес.

Рабы были уже совсем рядом. Их босые ноги глухо стучали по утрамбованной песчаной дороге.

— Стойте!— закричал Каспер.

Старуха, сидевшая на земле, взглянула на мужа и жалобно запричитала:

— Мой сын... Мой сын умер!..

— Уитбуи,— позвал Йоханнес,— пойди в большой дом и скажи Лин, что ее муж умер. Скажи, чтобы она привела сына, пусть он прикоснется к телу отца, пока оно еще не остыло.

От группы рабов отделился юноша.

— Куда?— крикнул Каспер.

— Иди,— сказал Йоханнес юноше.— Ты теперь свободный человек. Иди.

— Слушайте все,— сказал Йоханнес, и голос его звучал спокойно.— Если Каспер Янсен убьет меня, ему нужно будет снова перезарядить пистолет. Он сможет убить еще лишь одного. Коос убьет еще одного. Вас много. Убейте их и отправляйтесь в большой дом, но не трогайте ни женщину, ни ребенка. Они не причинили нам горя, не пролили нашей крови. Пусть уходят из долины. Это вам мой последний приказ, если Каспер Янсен убьет меня. А теперь иди, Уитбуи, иди.

Уитбуи повернулся и направился к ферме. Каспер опустил пистолет.

— Черный дьявол! — выругался Коос.

— А вы белые убийцы,— отозвался Йоханнес.

— Что ты намерен делать?— спросил Каспер.

— Вы убили моего сына. Если бы вы этого не сделали, я остановил бы его, и он не причинил бы вам вреда. Я заставил бы его отдать вам ружья, они были бы ваши. Но вы убили его. Он купил эти ружья своей жизнью. Жизнью свободного человека оплачены эти ружья. Теперь они наши. Вам придется убить нас всех, прежде чем вы завладеете ими.

— Ты все сказал?

— Да, все. Мы вас не тронем... Нет, еще одно. Сегодня мы соберем всех людей, никто из них больше не выйдет на работу. Они уже не рабы. Они — свободные люди.

— Это все?

— Да, это все.

Каспер Янсен взглянул на старика с каким-то новым чувством. Оно резкой болью сдавило его грудь, будто кончиком иглы коснулось самого нежного и чувствительного нерва, побежало по жилам, пронзило мозг и сердце и наполнило каждую клеточку его существа. Это чувство было направлено против старика, стоявшего и смотревшего на него; старика, который до самого последнего времени был его рабом, старика, которому, казалось, он мог доверять больше, чем остальным рабам. Старик был чернокожим, и для Каспера он олицетворял собой всех людей с черной кожей. И против силы, позволившей этому старику вот так стоять и прямо смотреть ему в лицо, против нее тоже было направлено это чувство. Но все же главным образом оно было устремлено против этого раба, человека с черной кожей.

Он кормил и одевал его. Он поставил его в привилегированное положение. Это он, Каспер Янсен, определил старику место, далеко превосходящее место простого раба. В пору невзгод он приходил, садился рядом со стариком и разговаривал с ним как с человеком, а в добрую минуту делился с ним самым драгоценным — табаком...

Но когда Каспер в последний раз задержал взгляд на этом изборожденном морщинами черном лице, в глазах его можно было прочесть лишь холодную суровость. Он сунул пистолет за пояс, повернулся и пошел туда, где была привязана его лошадь.

— Едем, Коос,— сказал он.

Он вскочил в седло и тронул каблуками лошадиные бока. Чуть позади ехал Коос. Рабы стояли у них на пути, они не сдвинулись с места, чтобы пропустить всадников. «И не подумаю объезжать вокруг»,— сказал себе Каспер и натянул повод. Лошадь остановилась. Он обернулся в седле и посмотрел на старика Йоханнеса.

— Пропустите их,— приказал Йоханнес.

Рабы расступились, образовав проход, и двое белых проскакали мимо, ни разу не оглянувшись.

Когда всадники скрылись из виду, все взоры обратились на старого Йоханнеса. Он, тяжело ступая, прошел туда, где лежало тело его сына. Потом положил руку на голову своей старой жены и оглядел тех, кто подошел поближе, чтобы взглянуть на бездыханное тело Поля.

— Я говорил ему,— тихо произнес Йоханнес.— Я говорил ему, как говорил и вам, что, только если мы объединимся и будем действовать сообща, мы сможем победить. Но у него в крови было слишком много огня, а голове не хватало рассудительности. И вот теперь он мертвый. Жизнь его загублена зря...

Старик замолчал и прикрыл глаза. Потом открыл и твердо сказал:

— Если бы он был сейчас жив, я бы сильно на него рассердился!

СЛУЧАЙ В МАЛАЙСКОМ КВАРТАЛЕ

Иссякло летнее тепло, и зима всей тяжестью навалилась на Малайский квартал, на Вредедорп, на Йоханнесбург. Днем было не намного теплей, чем ночью. Люди кутались в теплые одежды, пристраивались поближе к огню, спали, тесно прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Особенно в Малайском квартале и Вредедорпе.

В один из субботних вечеров, спустя три месяца после того, как Зьюм обосновался в городе, он вышел прогуляться. На улицах толпился народ. Зьюм неспешно направился к центру Йоханнесбурга. Возле одного из фонарных столбов стояла парочка. Мужчина прижимал к себе женщину, она, откинув голову, смеялась ему прямо в лицо. Зьюм отвел взгляд и торопливо зашагал прочь. Навстречу, как назло, то и дело попадались парочки. Они прогуливались, крепко обнявшись, спасаясь от холода. И все казались безмерно счастливыми.

Летние башмаки Зьюма совсем не держали тепла, пальцы ног уже начали коченеть. Но большинство прохожих и такой обуви не имело, у многих не было и пальто, так что Зьюму грех было жаловаться. Но ведь даже те, кого холод пробирал до мозга

костей, не были так одиноки, как он. Большинство шли с женщинами, другие — с приятелями. Только он шел один.

По мере того как Зьюм приближался к центру Йоханнесбурга, все малолюдней становились улицы и все чаще попадались ему навстречу белые — люди, как он полагал, совершенно особые, у которых не только выражение лица или походка, но даже мысли ничего общего не имели с его собственными.

Стоило Зьюму поравняться на тротуаре с белым человеком, как он инстинктивно делал шаг в сторону, чтобы уступить дорогу. Временами он улавливал обрывки разговоров белых, но даже не пытался постичь смысл. Он избегал встречаться с ними взглядами, ему было в высшей степени безразлично, что написано на их лицах. И если навстречу попадалась парочка, то Зьюм даже не пытался угадать, любовь или безразличие объединяет этих двоих.

Это были люди не его цвета кожи, они не могли быть интересны ему.

Зьюм прошел мимо окна ресторана. Там тоже сидели белые. Они ели, оживленно болтали друг с другом, смеялись. Им было тепло и уютно. Эх, кабы взять, да войти внутрь! Но Зьюм заставил себя отвернуться. В другой яркой витрине были выставлены пирожные и торты. Зьюм невольно остановился перед ней. Вдруг чья-то тяжелая рука властно опустилась ему на плечо. Он обернулся. За спиной стоял полицейский. Не ожидая приказания, Зьюм поспешно вытащил из кармана пропуск и протянул полицейскому. Тот глянул в документ, придирчивым взглядом смерил Зьюма с головы до ног и вроде бы неохотно вернул пропуск. Видать, не зловредный попался.

— Куда направляешься, парень?— довольно миролюбиво осведомился полицейский.

— Просто гуляю.

— Вот как? И с чего это тебе дома не сидится? Грелся б у огонька, пивком побаловался.

Зьюм улыбнулся.

— Хотите, чтобы я прогулялся в тюрьму?

Полицейский зашелся довольным смехом.

— Ладно, ладно, гуляй на здоровье, только смотри, не влипни в какую-нибудь историю.

Зьюм проводил глазами полицейского, Совсем

неплохой парень. Может, новенький? Ну, гулять, так гулять. Зьюм свернул на Элофф-стрит. Это был уже центр города, самое людное место. Зьюму постоянно приходилось уступать дорогу белым, остерегаться машин на перекрестках. Не без горечи он подумал, что единственное место, где он чувствует себя вполне свободным,— это шахта. Там он был хозяином положения, всегда знал, что делать и как себя вести. Там он не боялся белых, ибо они зависели от него. Там он сам был боссом, отдавал распоряжения другим шахтерам, и шахтеры делали для него то, чего никогда не стали бы делать для белого начальника или любого другого. Он знал это, он в этом был убежден. Под землей белый босс уважал его, спрашивал его мнение, перед тем как что-либо предпринять. Да, там было именно так. Под землей он чувствовал себя непринужденно, как дома. Белый начальник вроде бы даже заискивал перед ним, чуть ли не набивался в приятели. Но белый и черный не могут стать друзьями, даже если работают вместе. Им нечего делить друг с другом.

Зьюм пересек улицу и направился обратно в Малайский квартал. По мере удаления от центра ему все чаще и чаще стали встречаться только черные и цветные, и боязнь не успеть вовремя уступить дорогу постепенно покидала его. Даже если случалось локтем задеть встречного, он не шарахался испуганно в сторону. Ведь это Малайский квартал. А те немногие белые, что обитали здесь, были сирийцами. Они продавали спиртные напитки черным и цветным, и их никто всерьез не принимал за белых. Эти были свои. Он свернул вниз к Джепп-стрит и еще издалека заметил, что в конце улицы собралась толпа. Все лица были обращены вверх. Он поспешил туда и тоже стал смотреть поверх крыш, но ничего любопытного не увидел.

— Что там? — спросил он стоявшего рядом мужчину.

— Понятия не имею,— ответил тот.

— Что происходит?— Зьюм повернулся к какой-то женщине.

— Там парень,— сказала она,— а полицейский ловит его.

— Где?

Женщина показала пальцем.

Зьюм вгляделся внимательнее.

Да, действительно, какой-то парень медленно спускался по скату крыши, а следом за ним спускался полицейский. Зьюм затаил дыхание. Крыша была крутой. Одно неверное движение, и парень полетит вниз, тогда — верная смерть или увечье. Такая же участь грозила и полицейскому.

Крик ужаса пронесся по толпе. Парень потерял равновесие и стал медленно сползать вниз. Все ниже, ниже, ниже. Вот он уже у самого края. Если сейчас он не остановится — полетит на землю. Одна нога свесилась с карниза. Вот свесилась и другая.

У Зьюма перехватило дыхание. Сердце готово было выскочить из груди.

Парень вцепился руками в край карниза и повис. Толпа застыла в страхе. Полицейский подступал все ближе.

Какой-то подтянутый, хорошо одетый мужчина протиснулся вперед. Он вел себя словно белый — всех расталкивал и даже не думал извиняться. Люди нехотя отрывали глаза от повисшего на карнизе парня и раздраженно косились на этого бесцеремонного типа.

— Кто он такой?— спрашивали одни.

— И чего, собственно, из себя мнит?— удивлялись другие.

Кто-то громко шепнул:

— Это доктор Мини.

Весть подхватили и быстро разнесли по толпе. Зьюм с любопытством взглянул на доктора. Доктор, не отводя глаз от повисшего человека, тихо спросил:

— Кто это?

Ему не ответили.

— Что он натворил? Кто-нибудь видел?— снова спросил доктор.

— Играл в кости,— угрюмо обронил какой-то оборванец.

Вдруг раздался женский крик. К полицейскому, преследовавшему парня, присоединился еще один. Оба они подступали все ближе и ближе. Медленно, осторожно. Но не это заставило женщину вскрикнуть. Рука парня на крыше соскользнула с карниза. Теперь он держался только одной рукой. Толпа напряглась.

Это была уже почти что верная смерть. Толпа, как один человек, подалась вперед. Парень, висевший там, наверху, медленно разжал руку, будто затем, чтобы дать ей отдохнуть, и тут же с глухим звуком шлепнулся о землю. С минуту он тихо лежал. Толпа замерла. Наконец он шевельнулся. Доктор бросился вперед, склонился на коленях перед упавшим. Люди окружили их плотным кольцом.

— Дайте ему доступ воздуха,— велел доктор.

Зьюм стал оттеснять толпу назад, повторяя за доктором:

— Дайте ему доступ воздуха.

Доктор внимательно осмотрел пострадавшего и обратился почему-то именно к Зьюму:

— Все в порядке, только руку сломал.

— Помогите мне скрыться,— прошептал парень.

Вдруг толпа расступилась и подалась назад. Вперед выступили полицейские.

— Отойдите,— скомандовал один.

Зьюм отошел вместе со всеми, но доктор остался на месте.

— А ты что, глухой?

Доктор поднялся и отчеканил:

— Я — доктор Мини.

Полицейский рассмеялся. Второй полицейский, стоявший сзади, подошел к доктору и ударил его по лицу. Кулаки Зьюма сами собою сжались, из его груди вырвался глубокий вздох.

— Вы ответите за это,— произнес доктор.

Полицейский опять замахнулся.

— Не стоит,— буркнул констебль и подошел ближе,— это доктор.

Оба полицейских недоуменно посмотрели на констебля.

— Правда, правда,— сказал он.

— Я бы хотел забрать этого человека,— обратился доктор к констеблю.— У него тяжелый перелом руки, он нуждается в медицинской помощи.

— Черта с два!— гаркнул первый полицейский. — Он отправится куда следует — в тюрьму.

Доктор вынул визитную карточку и протянул констеблю.

— Я работаю в клинике общего типа, а здесь мой домашний адрес, если я вам потребуюсь.

Полицейские растерянно переглянулись. Упрямство было во взгляде одного, растерянность — в глазах другого. Констебль выглядел усталым и подавленным. Он взял у доктора карточку и кивнул. Первый полицейский открыл было рот, но второй кивком остановил его.

— Кто-нибудь поможет мне перенести его в машину?— спросил доктор.

Первый полицейский повернулся к толпе, глаза его были полны ненависти, рука угрожающе сжимала дубинку. Люди в толпе продолжали стоять будто вкопанные.

Доктор попытался сам поднять человека, но не смог.

Зьюм глубоко вздохнул и шагнул вперед. Полицейский еще крепче сжал дубинку и стал угрожающе помахивать ею. Казалось, он готов был испепелить Зьюма взглядом. Зьюм смотрел прямо ему в лицо и продолжал идти. Доктор одобряюще улыбнулся ему.

— Поднимите его, но постарайтесь не задеть руку.

— Постой-ка,— сказал первый полицейский и ткнул Зьюма дубинкой.

Зьюм выпрямился. Его била дрожь.

— Пропуск есть?

Зьюм вынул пропуск, протянул полицейскому. Полицейский долго изучал его, наконец вернул обратно.

Зьюм поднял парня. Толпа расступилась. Доктор двинулся вперед, Зьюм с раненым последовал за ним. Доктор открыл дверцу машины и помог осторожно усадить парня на заднее сиденье.

— Поезжайте с нами, поможете втащить его в дом.

Зьюм кивнул.

— Садитесь рядом с ним, попридержите, чтобы он не стукнулся рукой.

Доктор закрыл дверцу, сель за руль и завел машину. Перед тем как тронуться с места, он обернулся и внимательно посмотрел на толпу. Зьюм тоже взглянул. Оба полицейских разгоняли людей. Только констебль стоял на прежнем месте, и лицо его ровным счетом ничего не выражало.

Доктор вел машину медленно, осторожно; на ходу он достал сигареты, протянул Зьюму.

— Как вас зовут?

— Зьюм.

— Давно в городе?

— Три месяца.

— Понятно.

Остаток пути ехали молча. Зьюм переводил взгляд с одного своего спутника на другого. Оба были его соплеменники, но как же они отличались друг от друга! Первый, сидевший рядом, не вызывал уважения. Подобных ему было много. Они пьянствовали, дебоширили, играли в азартные игры. Зьюм в городе вдоволь насмотрелся на таких. Но тот, другой, за рулем... Он отличался от всех, стоявших в толпе. Даже белые видели эту разницу и обращались с ним по-особому. Никто из знакомых Зьюма не отважился бы вести себя так, как этот человек.

В конце Малайского квартала машина остановилась. Поддерживая парня с двух сторон, доктор и Зьюм осторожно ввели его в дом.

Цветная очень светлокожая женщина встретила их у входа. А в самом доме оказалось даже лучше, чем в больнице Красного Креста, где Зьюму однажды довелось побывать.

Они ввели пострадавшего в хирургический кабинет. Женщина помогла доктору снять пальто и подала тонкий белый халат. Быстро, ловко, осторожно обрабатывал доктор поврежденную руку. И все это время женщина была рядом, помогала ему, подавала инструменты, они о чем-то тихо переговаривались. Зьюм сидел на стуле и наблюдал. «Наверное, это его жена»,— решил он. Когда с повязкой было покончено и доктор вымыл руки, женщина поцеловала его, и Зьюм окончательно уверился, что они — супруги.

— Готово,— сказал доктор и улыбнулся Зьюму.

Женщина тоже улыбнулась.

«Пожалуй, пора уходить»,— решил Зьюм.

Еще одна женщина, черная, вошла в кабинет со стаканом воды. Она заставила парня приподняться и выпить глоток.

— Спасибо, доктор,— сказал он,— может, теперь я пойду?

— Нет, нет, не сейчас. Я просил полицию прийти через час. Не думаю. что они явятся, но лучше подождать. А вы полежите, наберитесь сил.

— Но они ведь меня арестуют.

— Если они посмеют это сделать, я подам жалобу

на полицейского, который меня оскорбил. Но если я отпущу вас, у меня самого будут неприятности.

Пострадавший оглядел кабинет и ничего не ответил.

— Я попросил бы вас тоже подождать, Зьюм. Будете моим свидетелем. Вы все видели.

Зьюм кивнул.

Жена доктора накинула на пострадавшего одеяло.

— Пойдемте, Зьюм, выпьем чаю,— пригласил доктор.

Они вышли из кабинета, оставив парня одного. Во второй комнате горел камин, стоял приемник, от прикосновения к маленькой кнопке на стене вспыхнул свет. И никаких масляных ламп, коптилок или свечей. Доктор перехватил восхищенный взгляд Зьюма и улыбнулся.

У Зьюма было такое чувство, будто он снова очутился в больнице Красного Креста, но на сей раз не имея на то никакого права. Будто произошла какая-то ошибка, ему придется поплатиться за это.

Доктор заметил, как омрачилось лицо Зьюма.

— Что случилось?

— Здесь все как у белых.

Доктор и его жена рассмеялись.

— Нет, Зьюм,— сказал доктор,— мой дом не имеет ничего общего с домами белых. Просто здесь уютно. Жить в таком доме — не значит подражать белым. Все люди должны иметь подобные квартиры. Все должны жить удобно. А белый в них будет жить или черный, не имеет никакого значения. Дом вроде этого — хорош для всех.

— Доктор, доктор!

В комнату вбежала черная служанка. На ее лице отразились растерянность и страх.

— Что случилось, Эмилия?

— Больной, которому вы наложили повязку, сбежал. Через окно!

Зьюм следил за выражением лица доктора. Тень печали и безнадежности вдруг пробежала по нему, словно у человека, который взялся разгребать кучу влажного песка, а куча никак не уменьшается. Но это длилось всего одно мгновенье, а затем лицо доктора вновь стало строгим и непроницаемым. Он встал и прошел в кабинет. Все последовали за ним. Одеяло

валялось на полу, окно было открыто. Холодный ветер врывался в комнату. Парень исчез. Цветная женщина сочувственно сжала руку доктора. Эмилия молча закрыла окно.

— Теперь вы можете идти, Зьюм,— резко обронил доктор, не глядя в его сторону.

Зьюма захлестнула обида. Он-то ведь ничего плохого не сделал. И вообще он остался здесь только потому, что доктор сам попросил об этом, а теперь, когда тот парень сбежал, доктор позволяет себе разговаривать с ним, Зьюмом, так грубо. Зьюм готов был вспылить, но обида была сильнее злости.

Он в сердцах повернулся и шагнул к выходу. Жена доктора последовала за ним. У самого порога она протянула руку и улыбнулась.

— Большое вам спасибо,— сказала она.

Зьюм пожал эту протянутую руку, маленькую и нежную, как у белых женщин.

ФИЛИС АЛЬТМАН

Известная южноафриканская писательница и общественная деятельница. Родилась в 1918 году. После окончания университета в Йоханнесбурге преподавала в школе, принимала активное участие в профсоюзном движении. В 1957 году во время VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов посетила Москву. В 1965 году преследование за демократическую деятельность вынудило ее покинуть ЮАР. В настоящее время живет в эмиграции.

Наиболее значительное произведение Ф. Альтман — роман «Закон стервятников» (1952; русский перевод — М., «Молодая гвардия», 1960). Ф. Альтман является также автором большого числа рассказов.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Рансоли тронулся в путь на рассвете. Маленький, черный, как уголек, на фоне разгоравшегося неба он казался еще меньше, словно жучок или букашка. Оглянувшись назад, Рансоли увидел свою тень — непропорционально вытянувшуюся, длинную, закрыв-

шую собой чуть ли не всю дорогу. Он долго разглядывал ее, как бы надеясь в ее огромных размерах почерпнуть силу и уверенность, а потом повернулся и устало поплелся по дороге, по которой прошел лишь один раз в жизни — в дни своей молодости, когда приехал в эти края, чтобы остаться здесь навсегда.

Теперь его запавшие, окруженные морщинами глаза почти ничего не видели, натруженные многолетней кропотливой работой, и выглядел он намного старше своих шестидесяти лет. Борода и волосы на голове были сильно тронуты сединой. Острый нос и аккуратная бородка придавали его лицу некоторое благообразие. В узелке из красной материи, перекинутом на палке через плечо, лежали ботинки и еще кое-какие вещи.

Наивный старик, портной-самоучка, он уже прошел свой жизненный путь почти до конца, и вот теперь его жизнь вдруг должна была круто измениться. И все из-за всемогущего закона, из-за бумажки, которую он едва сумел прочесть, так ничего в ней и не поняв. Он испытывал благоговейный трепет перед печатным словом, потому что сам мог писать лишь свое имя — большими нескладными буквами, какими пишут дети.

Эта грозная маленькая бумажка приказывала ему вернуться в те места, откуда он приехал.

Его сразило всеведение администрации. Он никак не мог понять, каким образом на этих обширных, бескрайних землях глаз властей выискал его, живущего так тихо в скромном домике, где размещалась его маленькая портняжная мастерская. Это всевидящее око высмотрело его — ничтожную букашку в бурлящем водовороте перенаселенной общины, и теперь ему следовало исчезнуть, бросить жену и свою единственную отраду — Сифо и Табо — внуков, сыновей умершей дочери.

Что может поделать маленький человек, когда магические слова на бумаге разрушают привычный мир? Трясущимися руками держал он эту бумагу, пока клерк-африканец из отдела пропусков объяснял ему ее содержание.

— Тебе придется уехать отсюда,— сказал он смущенно, не глядя на него.— Здесь тебе оставаться нельзя, нужно возвратиться в те места, где ты родился.

— Но ведь мой пропуск в порядке.— Еще надеясь на что-то, он робко протянул свой документ. Но клерк резко отстранил его руку.

— Теперь уже никакой пропуск тебе не поможет. Ты приехал из другого места и должен туда вернуться.

— Но почему?

— Потому что таков закон. Новый закон, понимаешь?

— Что это за закон? Разве может дитя вернуться в чрево матери? Разве есть такое лекарство, от которого лицо мое стало бы гладким, а ноги такими же резвыми, как в юности? Здесь мой дом. Жену я взял себе из вашего народа...

— Все эти разговоры ни к чему. Ты приехал из португальской Восточной Африки, и в Южной Африке тебе оставаться нельзя. Собирай свои вещи и уезжай.

Клерк начал сердиться.

Португальская Восточная Африка, Южная Африка — Рансоли совсем не разбирался в географии. Он только помнил, что шел сюда долго-долго. Солнце много раз поднималось и опускалось за горизонт, пока наконец он не добрался до этих мест. Никто тогда не сказал ему, что он не имеет права здесь жить. Он был молодой и сильный и мог бы сразу уйти, а сейчас у него уже нет сил — они отданы этим местам, этой земле. Он копал эту черную, твердую землю, засевал ее, пас стада. Здесь он женился, здесь у него родилась дочь, потом пошли внуки. Как сможет он объяснить все это Фоулане, своей жене? Он долго молчал, опустив голову, а потом, собравшись с духом, рассказал ей все, потому что не чувствовал за собой никакой вины.

— Не уезжай,— прошептала она, судорожно прижавшись к нему.— Не оставляй меня одну...

Все эти годы, что они прожили вместе, он всегда был ей опорой и защитой. И не могла она поверить, что какие-то слова, написанные на обыкновенной бумаге, заставляют его порвать с ней теперь, когда он сам стал таким беспомощным. Наконец, осознав безвыходность положения, она уткнулась лицом в фартук и заголосила так отчаянно, как плачут только над покойником. Сифо и Табо с ревом вцепились в ее юбку.

Рансоли был не единственным, кого выследили власти. По соседству, то здесь, то там, разваливались семьи. Беда нагрянула, как чума. Мужчины уходили из дому, и никто не знал куда. Они просто исчезали, а их жены и дети умирали с голоду. Маджунга, сосед Рансоли, бесстрашный и гордый человек, также подпавший под этот закон, отказался подчиниться. Его схватили и, словно собаку, бросили в полицейский фургон. И как раз в тот день, когда у жены его начались роды. Тогда Рансоли понял, что все попытки перехитрить закон бесполезны. Убитый горем, он пошел посоветоваться с Мокеле, своим зятем. Выслушав его, Мокеле зло рассмеялся, но смех его, как и гнев того клерка, был направлен не против него, Рансоли.

— Ты должен уехать, потому что они тебя боятся, отец. Они, кичащиеся своим образованием, понастроившие неприступных крепостей, окружившие себя собаками и обвешанные оружием, они боятся тебя, простого неграмотного портного. Они дрожат в страхе от одного только твоего вида. Тьфу, я плюю на них.

Рансоли с удивлением оглядел свои руки, ноги...

Мокеле снова засмеялся, и смех его прозвучал уже угрожающе:

— Да, да, отец, ты, такой старый и дряхлый, вызываешь у них ужас, от которого сердце уходит в пятки.

Слова зятя немного притупили боль Рансоли, и внешне он держался спокойно, даже когда шла распродажа его имущества, когда куски ткани, старенькая, видавшая виды швейная машина, шпульки, катушки, сантиметр, кусочки мела превращались в тощую пачку бумажных денег. Он стоял неподвижно, с каменным лицом, стараясь сдержать слезы, которые в любую минуту могли брызнуть из глаз и побежать по глубоким морщинам, избороздившим его лицо. Он стоял и с грустью смотрел, как чужие люди равнодушно перебирают вещи, которые так ему дороги.

Вот и все. Эти жалкие бумажки — по сути дела, итог сорокалетнего труда, всей его сознательной жизни. Он немного подержал деньги в руках, затем вынул одну бумажку, а остальные отдал жене. Фоулана тут же понесла половину этих денег жене Маджунги для новорожденного. После ухода жены Рансоли подозвал к себе Сифо и Табо. Они подошли к нему при-

тихшие, послушные, потому что в их доме в последние дни поселилось горе, которого они никак не могли постичь.

Но дедушка улыбался, как и в прежние времена, и они тоже засмеялись, решив, что горе ушло и снова наступила радость. Рансоли дал им по шестипенсовой монетке. Дети взяли деньги как величайшее сокровище.

— А что вы мне дадите?— спросил он ласково.

Дети смутились:

— А у нас ведь ничего нет...

— Ну ладно, идите,— сказал дедушка.

Он легонько похлопал их по плечам, и они ринулись вниз по улице. Но вдруг Сифо остановился и, обернувшись, тревожно взглянул на деда. Рансоли поднял руку и помахал мальчику, которому предстояло теперь стать старшим мужчиной в доме.

Он уже собрал свои нехитрые пожитки, когда домой возвратилась Фоулана. Они долго смотрели друг на друга, не в силах вымолвить ни слова. Каждый понимал, что им уже не суждено увидеться. Где ему, в его годы, дряхлому и почти слепому, наладить жизнь на новой земле для жены и внуков. Лицо ее было неподвижным, окаменевшим от боли. Она шагнула к нему и поправила воротничок его рубашки. Это было единственное, что она могла для него сейчас сделать. Фоулана дотронулась рукой до его щеки, он быстро схватил ее руку, погладил, а потом нагнулся и поднял узелок. Она отвернулась.

— Фоулана!— тихо позвал он.

— Прощай, мой дорогой.

Он медленно тронулся в путь, потом зашагал быстрее, потому что грудь его разрывалась от боли, как будто там сидел хищный шакал, только и ждавший момента, чтобы проглотить его сердце.

Путь его лежал на север. Придется жить с незнакомыми людьми, чей язык он уже давно не понимал. Рансоли шел и шел, и одна мысль не давала ему покоя: правду ли сказал Мокеле, что эти большие белые люди боятся его так сильно, что даже выслали отсюда? Он старался не думать об этом... Чего им бояться такого хилого старика, стоящего на краю могилы? Но мысль эта продолжала сверлить его мозг, и от нее некуда было деться.

В полдень Рансоли подошел к одиноко стоявшему могучему дереву. Он прислонился к нему, чтобы немного отдохнуть. В последний раз Рансоли обернулся назад, и ему показалось, что земля и небо слились воедино, и места, которые он привык считать родными, окутала непроглядная тьма.

ГЕРМАН ЧАРЛЬЗ БОСМАН

Потомок европейских переселенцев в Южную Африку. Родился в 1905 году, умер в 1951 году. Автор нескольких романов, рассказов, эссе, стихотворений на английском языке. Рассказ Босмана «Погребальная земля» входит в многочисленные антологии южноафриканской литературы.

ЖЕНА ПРЕДАТЕЛЯ

Нам не нравился свист ветра в то утро, когда мы пустили по вельду в легкий галоп лошадей. В последний год, с тех пор как в наших краях появились отряды англичан, частенько нам приходилось вот так же нестись бог весть куда.

Ветер гнал по степи мелкие пучки жухлой травы, низко стлал над землей дым от горевших где-то вдали хижин кафров. Близилась третья зима англо-бурской войны. Наш небольшой бюргерский отряд спешился у кустов верблюжьей колючки — пора было дать лошадям отдохнуть.

— Похоже, зима нынче будет ранней,— сказал Ян Вермален и по привычке поднес руку к горлу, чтобы застегнуть воротничок на мундире.

Мы дружно расхохотались: Ян Вермален уже позабыл, что совсем недавно, когда англичане нежданно-негаданно налетели на нас у пересохшей речушки, ему пришлось бросить свой мундир. И теперь вместо мундира на нем красовался мешок с вырезанными дырами для головы и рук. Такой одеждой горло не прикроешь, насквозь продувает, воротничка и лацканов нет на мешках.

— Во всяком случае, Ян, ты экипировался что надо,— сказал Кобас Феррейра,— а посмотри на меня.

На окраине Кронендала Кобас Феррейра реквизировал миссионерский сюртук, который вывесили проветриться на веревке.

— Этот сюртук так жмет в плечах и талии, что сидишь в седле, будто в корсет затянутый, совсем как миссионер в гостях у фермера,— продолжал Кобас Феррейра.— И знаете, моя лошадь уже несколько раз принимала меня за англичанина. Боюсь, как бы однажды, когда протрубят сбор, она не занесла меня прямо в лагерь англичан.

После таких слов Кобаса Феррейры мы почему-то разом вспомнили Линдерта Рукса, который долго сражался в нашем отряде, его даже будто бы прочили в вельд-корнеты, но он отправился однажды в ночную разведку и больше в отряд не вернулся.

Были, конечно, и другие буры, подобно Руксу, перемахнувшие на сторону англичан, но никого из них мы не уважали раньше так, как Линдерта Рукса.

Вскоре мы снова выступили в поход.

Ближе к вечеру мы переправились через Крокодилий залив, а тут уж было рукой подать до фермы Линдерта Рукса. Рядом с плотиной находился клочок маисового поля, которое жена Линдерта Рукса отдала в обработку кафрам.

— А почему бы нам не заночевать на ферме Линдерта Рукса и не подкрепиться малость жареным маисом? — предложил наш вельд-корнет Апи Терон.

— Я предпочел бы поджарить маис на угольках его дома,— отозвался Кобус Феррейра.

Он, безусловно, был прав, но меня лично почему-то покоробило, что такие жестокие слова произносит человек, одетый в одежду миссионера. Хотя многие согласились с ним. Но наш вельд-корнет Апи Терон посоветовал нам не торопиться с мщением.

— У Линдерта Рукса остались здесь жена и хозяйство. Это в конце концов и погубит его,— сказал вельд-корнет.— Наступит час, и он рискнет заглянуть домой, когда армия Китченера перестанет торчать у него за спиной. Вот тогда мы и предъявим ему наш счет.

Мы и не подозревали, что час этот наступит так скоро.

Наш путь проходил мимо фермы Линдерта Рукса. Заслышав цокот копыт, Серфина, жена Линдерта Рукса, вышла на порог.

Она стояла в дверях, провожая нас долгим взглядом, красивая, стройная, выше среднего роста, и невозможно было что-либо прочесть в ее глазах и на слишком бледном лице. «Как странно,— думал я, проезжая мимо,— вид Серфины не вызывает ни в ком из нас никакого раздражения или досады».

Немного позже, когда мы уже спешились на маисовом поле, нас всех опять развеселил Ян Вермален.

— Сегодня мне пришлось пережить самый позорный день за всю англо-бурскую войну,— сказал он,— гарцую мимо хорошенькой женщины в мешке заместо мундира. Хорошо еще, что сзади ехал Кобус Феррейра в миссионерском сюртуке.

— Что-то в этой Серфине Рукс напомнило мне о Трансваале,— признался Юрий Беккер.

Он не мог объяснить почему, но вот когда необычно ранний зимний ветер заиграл подолом ее платья, вот тогда, повторил Юрий Беккер, ему и припомнился Трансвааль.

Потом Кобус Феррейра сказал, что, когда он проезжал мимо Серфины, его так и подмывало крикнуть ей, что мы, сражающиеся до последней капли крови и к тому же черт-те во что одетые, думаем о ней, жене предателя.

— Но она стояла так спокойно,— сказал Кобус Феррейра,— что слова застряли у меня в горле. И я даже подумал, что было бы совсем неплохо навестить ее к вечерку.

На сей раз слова Кобуса Феррейры вполне соответствовали его наряду, ибо, как известно, особы в духовной одежде не прочь наведываться к женам в отсутствие их мужей. Ян Вермален снял с себя мешок и стал затягивать дыры проволокой. Он приводил мешок в порядок, собираясь, очевидно, использовать его по назначению.

— Именно потому, что Серфина Рукс такая красивая, не стоит забывать, кто она и что из себя представляет,— обронил он, швыряя в мешок початки маиса.— Может, нам вовсе небезопасно оставаться ночевать на этой ферме. Она наверняка держит связь

с англичанами и может навести их на нас. Особенно теперь, со зла, что мы взяли у нее маис.

Но наш вельд-корнет заметил, что англичане все равно, наверное, уже знают о месте нашей ночевки, ведь любой кафр по соседству мог сбегать и донести им. Гораздо важнее, если мы будем знать о месте стоянки англичан. И он не преминул напомнить нам, что за два года войны еще не допустил ни одной серьезной промашки.

— Как же тогда прикажете расценивать дело у высохшей речки? — спросил Ян Вермален.— Ведь у меня остались там в мундире трубка и табакерка.

К вечеру ветер утих, но воздух не стал теплее. Мы расположились лагерем среди зарослей тамбоски в дальнем конце фермы Линдерта Рукса, и я радовался, лежа под одеялом, что не мне, а вельд-корнету и Юрию Беккеру выпал черед дежурить в эту ночь.

Вдалеке завыл шакал, потом снова все стихло. Немного погодя безмолвие опять нарушили какие-то звуки — это Юрий Беккер наткнулся впотьмах на разметную вешку и тут же прошелся на счет Линдерта Рукса, который установил ее как раз в зарослях колючек.

Услышав о колючках, я почувствовал себя еще уютнее под натянутым до подбородка одеялом. И поскольку был молод, то едва Юрий Беккер упомянул имя Линдерта Рукса, как я сразу мысленно увидел Серфину в дверях ее дома.

Мне снилось, будто Серфина вдруг пришла ко мне, высокая, стройная, и остановилась возле белой разметной вешки на границе фермы своего мужа. Это был какой-то призрачный сон — вроде бы я все время спал, но ни на миг не забывал, что сплю и вижу сон. И она очаровательна в моих грезах. Мне чудилось в полудреме, будто ветер рванул и растрепал ее волосы, едва она приблизилась ко мне. Ей не терпелось что-то сказать, но я не желал ничего слышать. Мне казалось, что стоит Серфине вымолвить слово, и видение тут же рассеется. И именно в этот момент, как всегда бывает во сне, Серфина вскричала:

— Подъем! Седлать лошадей!

Разумеется, не Серфина подала такую команду, а Апи Терон, наш вельд-корнет. Он подлетел к нам с ружьем наперевес, и Серфины как не бывало. Через

пару минут кони были оседланы, а мы готовы к броску. Уж сколько раз за два года войны вот так поднимали нас, обнаружив поблизости англичан.

Мы были уже в седлах, когда Апи Терон сообщил нам, почему объявил тревогу. Ему передали, сказал он, что этой ночью Линдерт Рукс вернулся на ферму и если мы поспешим, то сможем взять изменника в его же собственном доме. Вельд-корнет просил нас, однако, быть осторожными, напомнив, что в нашем отряде не зря Линдерт Рукс снискал себе славу бесстрашного и находчивого воина.

Итак, на исходе ночи мы пустили своих лошадей в обратный путь к ферме Рукса. Спешились мы в рощице у маисового поля и стали потихоньку окружать дом.

В этот момент какой-то человек метнулся к конюшне за домом, и мы сразу признали в нем Линдерта Рукса. Он чуть было нас не опередил.

Рукс, конечно, удивился, увидя нас перед своей конюшней. Но кто был по-настоящему удивлен, так это мы, когда Линдерт не стал оказывать нам ни малейшего сопротивления. Он так спокойно принял удар судьбы, словно никогда и не был предателем, а отдавал свою жизнь за Трансвааль.

На вопрос вельд-корнета Линдерт Рукс лишь ответил, что был бы рад, если б Кобус Феррейра (а он заметил на Кобусе сюртук миссионера) прочитал сто десятый псалом над его могилой. Он попросил также не завязывать ему глаза. Еще он попросил разрешения проститься с женой.

Мы позвали Серфину. Здесь у конюшни, на пронизывающем ветру, Линдерт Рукс и Серфина, муж и жена, навеки простились друг с другом. Когда она шла к дому по узкой тропе через заросли колючек, то выглядела еще более бесплотной, чем в моем сне. Солнце едва начинало всходить, и я подумал, как прав был Юрий Беккер, говоря, что она чем-то напоминает Трансвааль, особенно когда ветер играет подолом ее платья, будто колышет траву. Мне также припомнилось, что никто иной, но именно жены буров продолжали стойко держаться, когда их мужья дрогнули под напором Дрекенсберга, и уговорили мужей вернуться на позиции.

И я подумал: как все же странно, что средь ночи

Серфина пришла к нам в лагерь, точно так, как в моем сновидении. Но в одном лишь мой сон разошелся с действительностью: Серфина сообщила о Линдерте Руксе не мне, а нашему вельд-корнету.

ПОГРЕБАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ

— Тогда перед нами стояла очень трудная задача,— рассказывал Оом Сколк Лоуренс,— приобщить к цивилизации племя мтосов. Чего мы только не делали! Но им плевать было на все наши усилия. Даже когда мы запалили их хижины на склоне горы и зарево осветило все на много миль вокруг, эти самые мтосы оставались по-прежнему темными. Ну, а когда они ушли в горы, нам не оставалось ничего другого, как отвязаться от них — по густым зарослям не очень-то поездишь верхом на лошадях.

Мы спешились в тени больших деревьев и стали располагаться на привал. И тут корнет Андреас Жуберт говорит:

— Чудится мне, ребята, что кафры где-то совсем рядом. Мне столько пришлось иметь с ними дела, что я буквально нутром чувствую, когда поблизости прячется чернокожий с дротиком наготове. В этих местах на глаза рассчитывать не приходится, тут легче гляделки сломать, чем углядеть кафра, чтобы всадить в него пулю-другую. Если дела и дальше так пойдут, мы скоро разучимся заряжать винтовки. Хороши же мы будем, если опять придется сцепиться с англичанами.

Молодой Фани Лоув, зубоскал и весельчак, потянул носом воздух и с этаким важным видом говорит:

— А ведь, ребята, и впрямь запахло дротиками с широкими наконечниками и короткими рукоятями. А мне кажется, что всаженный в спину дротик сильней пахнет розами, чем летящее копье. Я имею в виду те самые розы, что растут на кладбище.

Корнету Жуберту не по вкусу пришлась шутка Фани Лоува, и он не преминул съязвить, что, мол, случись кафрам напасть на отряд, то вряд ли кому удастся понюхать, чем пахнут останки самого Фани Лоува, который, кстати, впервые в карательной экспедиции. И завершил он свою тираду такой отборной

бранью, что наши ребята просто за животы схватились со смеху. Может, Жуберт и не так остер на язык, как Фани Лоув, но дайте ему время подумать, так он выдаст такое, что хоть стой, хоть падай. Так было и на сей раз. А нюх у него — будь здоров. Мы только диву давались.

— Лучше нам смотаться отсюда подобру-поздорову,— повторил он.— Не то эти чертовы кафры подкараулят нас где-нибудь на открытом месте.

Выйдя из-за прикрытия на дорогу, мы смогли еще раз убедиться, что корнет был прав. Навстречу нам двигался еще один отряд. И командир того отряда, Комбринг, едва мы обменялись приветствиями, сказал:

— Мы были в самой гуще зарослей. Глушь непроходимая, деревья там похожи на скелеты. И вдруг нам показалось, что кафры вышли на открытое место.

Видели б вы, как обрадовался наш корнет. Ведь он говорил то же, что и Комбринг, который считался искусным воином.

Фани Лоув, в свой черед, заявил, что единственное, чего нам сейчас не хватает, так это самого командующего карательными отрядами со всеми главными силами. То-то была бы потеха, если б он заявился сюда к нам в эту чертову глухомань.

— Может, нам лучше вернуться в Преторию и разузнать, не забрались ли мтосы в фолькcрад[1],— добавил Фани Лоув,— а то вдруг окажется, что они уже сидят там и сочиняют для нас законы. Кому неизвестна их наглость!

— Все равно хуже нынешних законов придумать невозможно,— резко сказал Комбринг.

Тут только до нас дошло, почему не Комбринга назначили командующим карательными отрядами. Видимо, он голосовал против президента на последних выборах.

Между тем солнце опускалось за горизонт, оно почти скрылось за высокими холмами. Настало время подумать о месте для ночлега.

Вокруг нас были торфяные топи, без единого деревца, пригодного для костра. Но мы в один голос заявили, что это не имеет никакого значения. Не не-

[1] Фолькcрад — трансваальский парламент.

житься же нам всю ночь в зарослях кустарника. Потом, время военное, мы не просто толпа, а карательный отряд, и болотной слякотью нас не напугаешь.

Вот тут-то все и началось.

Совершенно неожиданно мы увидели людей из племени мтосов, выходивших из зарослей. Они вышли на поляну, даже не пытаясь прятаться. Мы с изумлением наблюдали, как они гуськом шли прямо на нас. Несмотря на большое расстояние, мы разглядели, что они были безоружны — ни дротиков, ни копий, и вообще это были женщины, и все они что-то тащили на головах.

Опустив винтовки, мы стали ждать и, конечно, приготовились к самому худшему — от баб, известно, добра не жди. Когда колонна приблизилась, мы увидели, что ее возглавлял старик Ндамбе, которого все мы хорошо знали. На протяжении вот уже многих лет он входил в совет старейшин своего племени.

Ндамбе сделал знак рукой. Женщины остановились, и старик начал говорить.

Он уверял, что мы, белые,— короли среди королей, слоны среди слонов, называл нас гремучими змеями, самыми ядовитыми и страшными на свете.

Мы понимали, что он по-своему делал нам комплименты, и это нам даже льстило. Джури Беккер ткнул меня под ребро:

— Ишь как распинается, шельмец!

Но когда Ндамбе договорился до того, что мы — ядовитые плевки зеленой жабы, кое-кому стало явно не по себе. Ндамбе зашел в своих сравнениях, пожалуй, слишком далеко. И тогда, положив палец на спусковой крючок, корнет Жуберт потребовал, чтобы он наконец переходил к сути дела.

Поняв по выражению лица корнета, что на сегодня комплиментов хватит, Ндамбе не заставил себя просить дважды.

— Мы пришли предложить вам мир.

Оказалось, женщины тащили на головах подарки. По знаку Ндамбе они опустились на колени прямо в болотную жижу и стали выкладывать перед нами шкуры львов и зебр, слоновьи бивни, бусы, бронзовые браслеты, целую ногу красного африканского быка вместе со шкурой и копытом, уложенную на длинную травяную циновку, несколько разрубленных пополам

свиных туш, глиняные кувшины, наполненные до краев белым пивом, а также — и это нам пришлось особенно по вкусу — знахарские амулеты, предохраняющие от злых духов и дурного глаза.

По новому знаку Ндамбе от колонны отделилась женщина с глиняным горшком, доверху наполненным землей. Земля была черной и влажной. Какого черта им понадобилось тащить сюда эту землю, которая опротивела нам до предела, будто ее здесь не хватало, будто мы не были облеплены ею с головы до пят?

Но Ндамбе вел себя так, словно это был самый драгоценный подарок, какой только смог прислать нам вождь его племени в обмен на мир. И мы еще раз убедились, до чего ж они невежественны — и сам Ндамбе, и его вождь, и все их племя.

Ндамбе взял из горшка щепоть земли и стал растирать ее между пальцами.

Потом он заговорил о том, какую гордость испытывает весь его народ от того, что именно мы воюем против них.

— Раньше,— сказал он,— против нас воевали лишь люди из народа шангаан с приплюснутыми носами, вооруженные только пиками, а теперь наступили новые времена.

Наш корнет приблизился на полшага к Ндамбе на тот случай, если он опять увлечется комплиментами. Но Ндамбе только сказал, что его племя было бы радо, если б мы отложили войну, пока не созреет урожай. Сейчас, сказал он, его люди не имеют желания воевать, так как настало время сева. Ндамбе растер землю на ладони, чтобы показать, до чего она хороша. Он и нам предложил сделать то же самое. Мы, разумеется, отказались, однако подарки приняли, и мир был восстановлен.

Помню, как Жуберт, тряхнув головой, сказал:

— Ну можно ли стрелять в этаких болванов?

Джури Беккер вздумал внимательнее разглядеть принесенную в подарок ногу быка. Он обнаружил на ней клеймо своего стада.

А вскоре началась война против англичан. К концу второго года мы, буры, оказались в аховом положении, но мира не собирались просить.

К этому времени корнет Жуберт стал командиром, Комбринг погиб в бою под Далманутой, Джури

Беккер воевал вместе с нами. По-прежнему был с нами и Фани Лоув. И странно, за эти трудные годы мы так полюбили его, что могли бы пойти за ним в огонь и в воду. Мы давно привыкли к его остротам и не видели в них никакого зла, но, по совести говоря, предпочли бы, чтобы он их прекратил.

Вскоре он перестал донимать нас своими шутками, навсегда сраженный пулей в очередной перестрелке.

Хоронили его в тени шиповника. Перед тем как опустить гроб в могилу, командир сказал несколько прощальных слов, а мы, сняв головные уборы, спели псалом.

Вам, конечно, известен обычай, когда присутствующие на похоронах берут по горсти свежевырытой земли и бросают ее в могилу. Так вот, когда наш командир Андреас Жуберт наклонился и взял горсть земли, произошла странная вещь. Всем нам вдруг живо припомнилась та война против племени мтосов. И мы почувствовали, хотя никто и не посмел в этом признаться, как горькая тоска тронула наши сердца.

Командир Жуберт, взяв горсть земли, не бросил ее прямо в могилу, а сначала медленно растер между пальцами. Он словно забыл, что за земля была на его ладони, и, вероятно, думал о жизни, а не о смерти.

И все мы, последовав его примеру, взяли по горсти земли и начали ее растирать. Мы ощущали, какая она мягкая, жирная, плодородная, как она сочно растирается между пальцами. И все мы думали только об одном: настала пора сева. И только тут я понял, что́ чувствовали тогда люди из племени мтосов, которые так же, как и мы, были землепашцами.

АЛФ ВАННЕНБЕРГ

Родился в 1936 году в Кейптауне. Окончил Кейптаунский университет, испробовал много профессий. Был помощником землемера, продавцом, клерком, оформителем витрин. Печататься начал как автор политических статей в местной и лондонской прессе, а также коротких рассказов для коммерческих журналов.

Рассказы А. Ванненберга о бесправном положе-

нии коренного населения ЮАР получили широкую известность далеко за пределами Южной Африки. В Советском Союзе рассказы писателя печатались в книге «Квартет» (М., «Художественная литература», 1969), в ряде сборников и в периодической печати.

ЭХО

Трое мужчин остановились перед дорожным знаком на пыльном перекрестке.

— Еще пару дней, и мы дома,— сказал Цоло.

Цоло, Маки и Темба шли к долине Тысячи холмов уже много дней. Днем под палящими лучами солнца тащились по пыльной грунтовой дороге, а ночью разводили в сторонке костер и валились с ног, стараясь поскорее отдать пересохшей земле свою усталость.

Они почти не разговаривали друг с другом. В их памяти еще не стерлись кошмары пережитой трагедии. Больше четырехсот шахтеров — их товарищей— остались под обвалами шахты, и только после трех недель безуспешных попыток извлечь из-под завалов тела погибших в поселке воцарилась наконец мертвая тишина.

Разошлись осаждавшие ограждение жены и родственники, безмолвные, подавленные; остались лишь нанизанные ветром на колючую проволоку обрывки газет.

Застыл на фоне серого неба безжизненный силуэт уже никому не нужного подъемника, а сам рабочий поселок превратился в транзитный лагерь отчаявшихся беженцев.

— Ух, и навалилось же сегодня солнце на наши плечи, не хуже законов белых,— обронил Цоло, высвобождая руки и сбрасывая поклажу прямо под ноги в дорожную пыль.

— Или лучше скажем, не хуже шахтерской житухи,— отозвался Маки.

— Вот, вот, есть вещи, о которых не стоит и заикаться,— согласился Цоло.— Ведь законы белых еще можно как-то изменить, а уж шахтерскую житуху — никогда.

Какое-то время друзья молчали, нахлынули горестные воспоминания о недавней трагедии.

— Может, здесь и заночуем, наберемся силенок для завтрашнего перехода?— предложил Темба.

— Да нет, лучше идти всю ночь, тогда завтра к вечеру наверняка доберемся до дому,— сказал Маки,— сейчас, когда мы почти у цели, в ногах вроде как прибавилось сил, я готов шагать без устали.

— Заночуем здесь,— сказал как отрезал Цоло.

Он пролез через дыру в изгороди, и спутники молча спустились за ним на дно глубокого высохшего русла реки. Так было всегда. Цоло считался у них за главного. Еще дома он уговорил их заняться хлебопашеством, а когда земля вконец истощилась и перестала родить, они пошли вместе с ним в вербовочную контору. Однажды они даже последовали за ним в тюрьму. Правда, это было очень давно. Ему во всем повиновались.

— Здесь не так уж и плохо,— сказал Цоло, сбрасывая поклажу на песок возле обрывистого берега.

— А может, лучше отойдем вон за ту излучину, там бы нас не было видно с дороги,— предложил Маки.— А то здесь, мне почему-то кажется, опасно.

«Опасно... пасно... асно...»— разнеслось в тишине.

— Кто это меня передразнивает?— насторожился Маки.

— Это горы балуются,— сказал Цоло.

Темба решительно опустил свое скатанное одеяло рядом с поклажей Цоло.

— Ничего, и здесь сойдет.

Немного помолчали, сидя на остывающем песке и наблюдая, как на русло реки медленно наползает тень от берега.

Первым нарушил молчание Цоло:

— Вы помните, что мы пролезли сюда через дыру в изгороди?

— Конечно,— сказал Темба.— Это ты ее заметил.

— А что это значит, если мы пролезли через дыру в изгороди?

— Это значит, мы находимся во владении белого фермера.

— А если я вам скажу, что у меня урчит в животе от голода, то что это будет означать?

— А это будет означать лишь одно, что на этой ферме есть овцы.

— Правильно, Темба, ты просто гений!— восклик-

нул Цоло, хлопнув приятеля по спине.— Ну что мне еще добавить? Гений, да и только.

Темба возликовал.

— От тебя уму-разуму понабрался,— сказал он.

Смысл разговора друзей едва ли доходил до сознания Маки. Голова его была занята радостными мыслями о скором возвращении домой и тягостными воспоминаниями о недавнем прошлом. Он думал о том, как чудом спасся от обвала, унесшего жизни других шахтеров, и словно бы вновь слышал рокот людских голосов о том, что во всем повинны белые шахтовладельцы, которым начхать на технику безопасности.

Вспоминал он и своего друга Мозеса, того самого, который не дожил всего двух дней до истечения срока контракта. Двух дней до того часа, когда он мог бы вернуться домой.

Только двух дней! Как счастлив он был, как лучились его глаза, едва он начинал говорить о доме. А потом вдруг раздался страшный взрыв, словно выстрелили из огромной пушки, и обвалившийся свод шахты разом похоронил его мечты. Припомнились первые несколько дней спасательных работ, когда они еще на что-то надеялись, и последующие дни, когда уже пропала всякая надежда хоть кого-нибудь откопать.

Но чаще всего он вспоминал те мучительные дни ожидания, когда шахтеры, которым предстояло возвращаться в Мозамбик, уехали поездом, и лишь они трое остались, боясь разминуться со своими женами, которые могли сами примчаться на шахту. Но когда им сказали, что ближайшая оказия в родные места будет лишь через две недели, Цоло свернул одеяло и решил идти пешком. Друзья последовали за ним.

— Опять наш Маки витает в небесах,— заметил Цоло.

— Точно. Ведь он, дурачок, не соображает — коли мы говорим об овцах, значит, говорим о еде,— отозвался Темба.

— Вам хочется, чтобы и я думал только о еде, а голова моя занята более важными мыслями,— сказал Маки.— Через два дня я буду дома, увижу родных. Сын попросит рассказать о том, что мне довелось повидать. Мы пристроимся у огня, и я расскажу ему

обо всем пережитом. Думать, будто ты вместе с семьей, куда приятнее, чем прислушиваться к урчанию пустого желудка.

— А чему тебя, собственно, научила жизнь? — неожиданно вспылил Цоло.— Ничему путному. Рубить уголь да витать в облаках — небольшой в этом толк.

Голос Цоло звучал хрипло от набившейся в горло дорожной пыли.

— Одними мечтами не проживешь,— вставил Темба.

— Вот ты все твердишь: «Дом, дом»,— продолжал Цоло.— А что такое наш дом? Клочок тощей землицы, на которой наши семьи подохнут с голоду, если мы не найдем работы на какой-нибудь шахте и не пришлем им денег. А ты рассуждаешь о доме, словно о рае небесном. Размечтался, совсем как твой приятель Мозес.

«...приятель Мозес ...ятель Мозес ...Мозес...» — повторили горы.

— Не нравится мне это место. Давайте уйдем отсюда. Здесь даже горы потешаются над нами. Задумали воровать овец вместо того, чтобы поторопиться домой,— сказал Маки.

— Вот те и на, теперь наш мечтатель эха испугался,— съязвил Темба.

— Пошли,— скомандовал Цоло.— А он пускай остается со своими мечтами и страхами. Нам предстоит мужская работа.

— Но зачем рисковать, когда мы почти дома?— попытался их урезонить Маки.— Попадетесь, и надолго застрянем здесь. Белые фермеры совсем нас не знают и потому боятся. Страх толкает их иногда на жестокость.

— Да я уж и нож приготовил, идем за овцой,— сказал Темба.

— Ну конечно, идем,— сказал Цоло.— А ты, Маки, пока разведи костер.

— Попадемся и проторчим здесь целую вечность,— прокричал Маки вслед удалявшимся приятелям.

Друзья не ответили. И только с гор донеслось: «...целую вечность... вечность... ность...»

Темь окутала русло реки, стало совсем тихо, холод одиночества пронзил Маки. Из-за черной полосы кру-

того противоположного берега засочился свет невидимой луны. Он словно опутал весь небесный свод голубой паутиной. Маки собрал сушняк, прибитый к берегу пересохшей реки, и сложил его у огромного валуна в самом центре давно отбушевавшего потока. Тепло костра будто перенесло его в родную семью.

Забыв обо всем на свете, Маки за пляшущими желтыми языками пламени мысленно увидел стены своей хижины, нежный образ любящей жены, услышал жадные вопросы сидящего рядом сына.

И он уже подумывал, как бы получше рассказать о несчетном количестве длинных дорог, которые ему пришлось пройти, прежде чем оказаться рядом с ними.

— А он все еще витает в облаках,— раздался из темноты язвительный голос Цоло.

Маки стряхнул с себя грезы. При слабом свете костра перед ним предстали две фигуры: Цоло с ножом в руке, за ним Темба с перекинутой через плечо овечьей тушей.

— Смотри,— воскликнул Темба,— он даже о костре забыл, умрет сейчас наш костерок.

— На,— Цоло протянул Маки нож,— мужчины выполнили свою работу,— теперь дело тех, у кого женское сердце. Надо освежевать овцу и испечь мясо.

— Если нас застукают с окровавленными руками, тогда вообще прощайся с домом,— запротестовал Маки.

— Что же по-твоему, мы должны отказаться от еды и голодными справиться с завтрашним переходом? — возмутился Темба.

— Тебе все страхи мерещатся, а здесь никого нет,— презрительно прокричал Цоло.

«...никого нет... никого нет... нет...»— повторили горы.

Маки выпрямился во весь рост с ножом в руке.

— Чужое добро не прибавит мне силы,— проговорил он, глядя на угасающий огонь.

— Разве не нам досталось рубить уголь, чтобы они владели всем этим добром?— вспылил Цоло.— Не нам пришлось строить дороги, по которым они раскатывают на своих машинах, а мы тащимся пешком? Разве не они забрали у нас все? Тебе вот не нравится, что мы взяли у них одну овцу. А они отняли у нас все, все — даже силу.

— Но у меня еще достаточно сил,— вскричал Маки,— ведь я почти дома!

Вдруг с высокого берега раздался окрик, и в тот же миг грянул выстрел.

Цоло и Темба отскочили от костра и тотчас исчезли в темноте за поворотом реки.

Только три свернутых одеяла да поближе к огню два мертвых тела — овцы и Маки — остались лежать, освещенные колеблющимся пламенем догорающего костра. А горы насмехались: «...я почти дома ...чти дома ...дома ...а ...а...»

НАДИН ГОРДИМЕР

Родилась в 1923 году в одном из рудничных поселков неподалеку от Йоханнесбурга, живет и работает в условиях полицейского режима ЮАР. Н. Гордимер — активный борец против расовой дискриминации.

Известность писательнице принесли ее романы «Лживые дни» (1953), «Земля чужестранцев» (1958), «Возможность любить» (1963), «Усопший буржуазный мир», а также сборники рассказов «Вкрадчивый голос змия» (1952), «Шесть футов земли» (1956), «След пятницы» (1960), «Оглашению не подлежит» (1965), «Спутники Ливингстона» (1972), «Избранные рассказы» (1975), «Наверняка в понедельник» (1976).

Романы «Земля чужестранцев» и «Усопший буржуазный мир» зачислены в ЮАР в списки запрещенных книг.

Советский читатель знаком с творчеством Надин Гордимер по сборнику рассказов, выпущенному издательством «Художественная литература» в 1971 году, и ряду новелл, публиковавшихся в периодической печати.

ЗАПАХ СМЕРТИ И ЦВЕТОВ

Это была необычная для Йоханнесбурга вечеринка. У молодого человека по имени Дерек Росс — сейчас он орудовал у импровизированного бара — собрались друзья: и белые, и черные, и индийцы, и цветные. Время от времени он любил приглашать

их к себе всех вместе. Люди эти вообще-то относились к тому меньшинству, которое из-за принадлежности к богеме в силу религиозных, политических взглядов или особо обостренного чувства человеческого достоинства ничуть не заботит различие в цвете кожи. В компании всегда бывали один или двое белых. Подобно туристам, они заходили сюда посмотреть на необычное зрелище, а заодно показать, что оно им вовсе не кажется странным. Зато двух-трех черных, коричневых либо шоколадных просто шокировала непринужденность, с какой относились к ним белые.

В группе гостей, которые расположились поболтать поодаль от танцующих, в уголке на диване и на стульях, с огромным трудом одолженных хозяином, вниманием всех явно завладел человек в сером костюме — Малькольм Баркер.

— Но почему же в таком случае не заплатить штраф и на этом не поставить точку? — спрашивал он.

Собеседники, к которым был обращен вопрос, не спешили с ответом — и в паузу вдруг неуместно ворвались беспорядочный шум и завывание кем-то принесенного патефона.

Миловидная брюнетка наконец заметила:

— Видите ли, для Джессики Мальхерб это далеко не одно и то же.

Ее накрашенные ресницы вспорхнули с мольбой — как бы ища поддержки и понимания — в сторону мужчины, рыжеватые бакенбарды и приплюснутые, низко посаженные уши которого делали его похожим на сердитого кота.

— Здесь дело в принципе,— сказал он Малькольму.

— Ах, вот оно что! Понимаю,— сдался Малькольм.— Для людей типа Мальхерб уплатить штраф — одно, а пойти на три недели в тюрьму — другое.

Брюнетка закинула ногу на ногу, но тут же приняла прежнюю позу.

— Нет, не совсем так,— сказала она.— Дело не в том, что Джессика хочет принести себя в жертву. Ей важен сам принцип.

В этот момент из толпы танцующих какой-то африканец протянул руку и взял брюнетку за ло-

коть. Женщина ушла танцевать. Она весело и охотно болтала со своим партнером, который, чуть прищурив глаза, легко вел ее. Мужчина с рыжеватыми бакенбардами молча поднялся и быстро прошел через всю комнату сквозь толпу к бару — кухонному столу, на котором громоздились бутылки с пивом и джином.

— Сатьяграха [1],— изрек Малькольм Баркер тоном, будто произносил священное слово, которое верующие боятся осквернить своими устами.

Крупная и некрасивая негритянка, сидевшая рядом с Баркером, широко улыбнулась, скорее для того, чтобы скрыть свое смущение, ибо не имела ни малейшего понятия о том, что она услышала.

Он улыбнулся в ответ и тут же совершенно неожиданно наклонился к ней и нарочито громко, медленно подбирая слова, поинтересовался:

— А чем вы занимаетесь? Вы учительница?

Но негритянка не успела ответить. Молоденькая невестка Малькольма Баркера, сидевшая позади него на подоконнике, словно золотисто-розовая статуэтка, оперлась на спинку стула зятя и, склонившись почти к самому его уху, шепотом спросила:

— А Джессика Мальхерб действительно сидела в тюрьме?

— Да, в Порт-Элизабет. И еще, говорят, в Дурбане. А теперь она с теми, кто выступает за гражданское неповиновение, стала одним из лидеров этого движения. Говорят, она собирается совершить поход в какую-то туземную локацию, куда запрещен вход европейцам. Во вторник. Так что опять угодит в тюрьму... Господи, Джойс, что это ты пьешь? Зачем? Я же говорил тебе, что этот джин — самая дешевая дрянь...

Девушка уже не слушала его. Слегка склонив голову на длинной шее, она повернула свое нежное, с прекрасными глазами и выразительной линией носа лицо, будто сошедшее с картин Мэри Лоуренсин, и стала напряженно всматриваться в другой конец комнаты.

---

[1] Сатьяграха — форма антиимпериалистической борьбы, носящая ненасильственный характер. Была разработана в 20-х годах М.-К. Ганди и впервые применена в Южно-Африканском Союзе.

В облике Джойс была какая-то особая привлекательность: неконтрастная, ослепляющая великолепием пастельных тонов, так что создавалось впечатление, будто она носит совершенно гладкую, без единой морщинки косметическую маску. И если бы кому-нибудь пришло в голову повернуть Джойс кругом, он вряд ли удивился бы, увидев позади загрунтованный холст. Всю свою жизнь она страдала от сознания того, что казалась окружающим нереальной.

— Какая же она красивая,— проговорила наконец Джойс, не в силах оторвать пристального взгляда от женщины, сидящей недалеко от двери.— Я хочу сказать, какая у нее прекрасная косметика, да и все прочее. Это просто невообразимо.

Зять сделал было попытку забрать у Джойс стакан с джином, как отбирают ножницы у детей, но девушка, не глядя на него, машинально переложила стакан из одной руки в другую.

— В конце-то концов бренди легко распознать по этикетке на бутылке,— проворчал он раздраженно.— Не понимаю: почему ты пьешь что попало?

— Интересно, ее тем же кормили, чем и остальных?— спросила девушка.

— Утром ты почувствуешь себя скверно,— буркнул он,— а Маделин будет ругать меня. Не упрямься, оставь это.

Высокий, неряшливо одетый светловолосый молодой человек, вздымаясь над всеми, будто пальма, приблизился к Джойс с растянутой на лице пьяной улыбкой и подчеркнуто вежливо пригласил ее танцевать. Джойс неторопливо допила остаток джина, осторожно поставила стакан на подоконник и пошла с ним. Тонкая талия девушки показалась еще тоньше, когда он обвил ее своей длинной рукой.

Какое-то время Малькольм Баркер сердито следил за Джойс, но потом вдруг закрыл глаза — то ли от скуки, то ли от усталости.

— Вы ни на шаг не отошли от своего мужа... или кто он там вам... весь вечер,— сказал молодой человек.— Почему?

— Это мой зять,— сказала она.— Сестра не смогла прийти, у ребенка поднялась температура.

Он привлек ее к себе за талию, но она по-прежнему держалась прямо, как свеча.

— А я знаком с вашей сестрой? — спросил он.

Опьянение порой вызывало у него приступы блаженной отрешенности, веки нависали на глаза, и он делал вид, будто щурится.

— Возможно,— ответила Джойс.— Ее зовут Маделин Маккой, теперь Маделин Баркер. Она художница. Это она открыла художественную школу для африканцев.

— О да, знаю,— сказал он.

Вдруг одной рукой он развернул ее в сторону, проделал на некрепких ногах несколько па, отошел от нее, затерявшись было в толпе танцующих, но тут же вернулся, снова подхватил и, нежно обняв, остановился возле группы гостей, сбившихся в кучу у кухонного стола с напитками, точно охваченные азартом игроки в регби.

— Чего тебе налить, Рой, малышка?— обратился к долговязому партнеру Джойс небольшого роста африканец с очень черным лицом.

— Да налей вот хоть «барбертона»,— ответил молодой человек, потрепав рукой голову африканца и улыбнувшись.

— Ну уж, нашел что пить. Сладкую водичку. Давай я лучше налью тебе ананасовой.

На мгновение девушка засомневалась, действительно ли в бутылки из-под джина налиты ананасовая и «барбертон» — те самые пользующиеся дурной славой зелья, что изобрели туземцы в так называемых локациях. Ананасовая, как ей было известно, делалась из перебродивших фруктов и считалась ужасно крепкой. Однажды она даже прочла в газете об облаве на какой-то кабак, где в канистре с «барбертоном» будто бы держали отрубленную человеческую ногу — то ли для придания особого вкуса, то ли для колдовства.

Сомнения Джойс в подлинности напитков сразу же рассеялись, когда заговорила хорошенькая блондинка, которая, желая выглядеть загорелой, наложила на лицо слишком много крема.

— Не волнуйтесь,— сказала она,— ни в одном кабаке никогда не делали ничего более ядовитого, чем этот пунш из джина — произведение Дерека.

Хозяин, стоя у бара, сам наливал напитки, и блондинка показала в его сторону стаканом со

смесью, которую девушка пробовала, когда сидела у окна.

— Это не джин. Это арак. Чертовски вкусный,— сказал Дерек.— Тебе чего налить, Джойс?

— Джойс,— повторил молодой человек, с которым она только что танцевала.— Джойс. Хорошее имя. А теперь, Дерек, представь ей меня.

— Рой Уилсон,— сказал Дерек.— Но похоже, будто вы уже знакомы, даже не зная друг друга по имени. Это Джойс Маккой. Познакомься, Джойс, а вот они — Матт Шабалала, Бренда Шотли, Махиндер Сингх, Мартин Матлонго.

Они улыбнулись девушке: африканец с лоснящимся лицом, ниже ее ростом на целую голову, блондинка со слишком толстым слоем пудры на щеках, симпатичный индиец, похожий на ученого, с высоким, открытым лбом, уродливый бледнолицый человек, такой белый, что видны были все веснушки, усыпавшие его полное лицо.

— Мне бы хотелось того же, что я пила, Дерек. Вашего пунша,— сказала она хозяину.

Едва пригубив напиток, она почувствовала разлившуюся по всему телу теплоту, чуть слышно она повторила: «Матт Ша-ба-лала, Мартин Мат-лонго, Ма-хиндер Сингх».

Со своего места она краешком глаза видела Джессику Мальхерб, невысокую плотную белую женщину в элегантном черном платье и с блестящими волосами, когда она, разговаривая, поворачивала голову.

— Эдди Нтвала, это мисс Джойс Маккой...— сказал маленький африканец по имени Матт.

И остановился, с улыбкой глядя, как рука девушки встретилась с тонкой рукой африканца со светлой кожей и усталыми, циничными глазами человека, который много пьет, чтобы заглушить внутреннюю боль.

По тому, как многозначительно коротышка Шабалала произнес имя африканца, она догадалась, что это, должно быть, весьма популярная личность, возможно, какой-нибудь крупный лидер. Несмотря на потемневшие прокуренные зубы, небрежно повязанный мятый галстук, в этом человеке чувствовалась былая привлекательность. Он улыбнулся несколько

самоуверенно, словно желая сказать: «Разумеется, кто же не знает Эдди Нтвалу».

Эдди, казалось, не проявлял ни малейшего интереса ни к кому из собравшихся на вечеринке, даже к Шабалале. На лице его застыла чуть заметная улыбка — вежливо-официальная, адресованная одновременно всем и никому в отдельности.

— Можно пригласить?— спросил он, слегка коснувшись плеча Джойс.

Она повернулась и молча пошла к танцующим.

Эдди Нтвала вел партнершу уверенно и свободно, хотя и несколько однообразно. Правая рука Джойс покоилась в его левой руке, а правая рука Эдди — на ее спине, как будто... и все же ей казалось — да, как будто его здесь не было, как будто танцевал какой-то другой. И произошло с ней это впервые, впервые за все двадцать два года ее жизни. Голова ее была на уровне лацкана его пиджака — она ощущала легкий аромат табака. А когда он наклонялся к ней, она чувствовала его дыхание— знакомый запах вина или бренди, такой же, как и у других мужчин на танцах. И если бы не его глаза — такие глаза она видела и раньше, у других людей, и даже думала, сможет ли с годами когда-нибудь понять их,— то он ничем не отличался бы от любого «боя» — рассыльного или слуги. Голову его покрывала копна густых и курчавых, ровно подстриженных волос, гладкая и смуглая кожа обтягивала выразительные широкие скулы, небольшой с широкими ноздрями нос. Короче, все, как у других. Но рука его обнимала ее за талию, ее рука лежала в его ладони... Разве когда-нибудь прежде она осмелилась бы даже допустить мысль, что будет танцевать с черным? И вот теперь она позволила задать самой себе вопрос — спокойно, с беспристрастностью исследователя: «Испытываю ли я что-то особенное? Что же именно?»

Ее партнер начал тихонько напевать мелодию, под которую они танцевали, как это сделал бы любой, услышав музыку давних дней молодости. Напев эхом отозвался в ней, и, не поворачивая головы, она почти заставила себя краешком глаза посмотреть вправо на его изящную руку, казавшуюся почти женской по сравнению с руками большинства белых

мужчин,— темно-коричневую руку рядом с ее белой.

«Всегда ли я танцую так, как сейчас? — спрашивала она себя.— Всегда ли так же прямо держу спину, в такой ли степени сдерживаюсь?»

В конце концов она решила, что танцует так, как танцевала всегда.

«И ничего особенного я не испытываю,— думала она,— совсем ничего».

В тот же миг окончательно исчезла напряженность, а настроение стало таким благодушным, что она даже заговорила со своим партнером. Она знала, что, по крайней мере, половина молодых людей, покоренных ее привлекательностью и не пропускавших вечеринки, чтобы потанцевать с ней, никогда не приглашали ее дважды — их сбивала с толку ее замкнутость, упорное молчание. А вот сейчас она ровным, тихим голосом произнесла несколько подобающих случаю слов, сделала замечание о музыке, высказала удовлетворение, что на улице в этот вечер идет дождь. Он улыбался со скучающим, но терпеливым видом и, по-видимому, совсем не слушал ее. Потом, будто желая исправить свою бестактность, спросил:

— Вы приехали из Англии?

— Да, но я не англичанка, а южноафриканка. Просто последние пять лет провела в Англии и в декабре вернулась домой. Я знала Дерека, когда была еще совсем девчонкой,— добавила она, почувствовав, что должна как-то объяснить свое присутствие здесь, на этой вечеринке, где — по всему видно — собрался круг людей, уверенных в своей исключительности.

— Англия...— отозвался он, улыбаясь скорее своим мыслям, чем ей.— Никогда и нигде не чувствовал я себя так счастливо, как там

— В Лондоне?— спросила она.

Он кивнул.

— Со мной было то же самое.

— Ошибаетесь, Маккой,— медленно проговорил он, улыбнувшись теперь только ей.— Не то же самое.

Она смолкла — ей показалось, что она ведет себя опрометчиво смело.

— У вас особая манера разговаривать. Истинно английская,— продолжал он, когда они снова по-

шли танцевать.— Белые в Южной Африке так не умеют.

Возникла опасная ситуация: вдруг на нее, как всегда, может найти непроницаемая, апатичная молчаливость и она замкнется в себе, но второй стакан аракового пунша сделал свое дело. Довольно оживленно, даже не задумываясь, она ответила:

— О, мне кажется, я как попугай. Моментально перенимаю манеру тех, с кем живу.

Он откинул назад голову и засмеялся. Стало видно, что у него не хватает нескольких зубов.

— Интересно, как-то вы заговорите завтра, Маккой?— спросил он, отстраняя ее и сотрясаясь от смеха, на глазах у него выступили слезы.— Ох, интересно, как вы заговорите завтра?

— Как и вы,— ответила она, безмерно расхрабрившись, хотя это и прозвучало тихо, застенчиво и необычайно нежно для банальной шутки.

— Давайте немного выпьем,— непринужденно предложил он, будто знал ее давным-давно, так же, как, допустим, Джессику Мальхерб.

Он повел ее обратно к бару. Она шла, мерно покачивая рукой, зажатой в его руке, словно прогуливалась с кем-то из друзей на танцах в загородном клубе.

— Я обещал выпить со стариной Раджати,— сказал он.— Куда только он запропастился?

— Тот, с которым меня познакомили?— поинтересовалась девушка.— Тот, с высоким, открытым лбом?

— Индиец?— спросил он.— Нет, того зовут Махиндер. А Раджати его кузен, муж Джессики Мальхерб.

— Она замужем за индийцем?— Девушка внезапно остановилась.— Это правда?

Известие пронзило ее, вызвав нервную дрожь. Она была потрясена, будто услышала неожиданную приятную новость о человеке, для нее значительном и важном.

Джессика Мальхерб, ее имя, ее идеи ворвались в жизнь Джойс еще в Англии. Даже там она нередко читала в газетах о Джессике Мальхерб; дочь скромного фермера-бура, который именем сурового кальвинистского бога отрекся от своего чада за ее антинационализм и радикальные взгляды; девушка с фер-

мы далеко в вельде (Джойс еще в детстве из окна поезда видела такие фермы), она работала на фабрике и занималась самообразованием. Впоследствии профсоюз отправил ее изучать историю международного рабочего движения. Она даже участвовала в переговорах с министрами и, как узнала Джойс, подвергалась за свои убеждения арестам. Джессика Мальхерб была чуть ли не первым человеком, встретившимся Джойс на этой вечеринке, она казалась с виду похожей на холеную английскую леди с жемчужным ожерельем, благоухающую дорогими духами, какую увидишь разве что в дорогом лондонском ресторане. Индиец! О, это была последняя капля. Великолепно! От такого весь мир мог перевернуться— мир отца Джессики Мальхерб. Индиец!

Нтвала назвал ее мужа «стариной Раджати». Пока они отыскивали его в толпе, девушка представила себе красавца индийца с выпуклым лбом, похожего на ученого. И вдруг ей припомнился случай, когда однажды в Дурбане она разговаривала через прилавок с индийским юношей-продавцом. Они с сестрой оказались в индийском квартале и зашли в лавку за шелком. Шелк был нужен ей, и тихим голосом она попросила юношу за прилавком отрезать ей небольшой кусок. Он ответил так же тихо и спокойно: «Очень жаль, но шелк определенной длины, он предназначен только для сари, и резать его нельзя». У юноши были красивые, ничего не выражающие глаза, и казалось, будто разговор происходит во сне. Совсем крохотная лавчонка размещалась в подвале. В ней сильно пахло ладаном. Такой же запах был в деревенской церквушке, где лежала бабушка, перед тем как ее опустили в могилу. Такое же благоухание разливалось в саду матери летними ночами. Запах смерти и цветов — смесь, какой нередко бывает и сама жизнь, сплетающая воедино уродство и красоту, привлекательность и безобразие. А как только они с сестрой вышли из той лавчонки, они заметили, что за ними увязался какой-то весьма неприятный тип. Невольно они покрепче прижали к себе сумки, а потом, чтобы только отделаться от преследователя, вошли в переполненный магазин, однако субъект протиснулся к ним и стал отпускать непристойные шуточки. У него было, как им показалось,

неопределенное евро-азиатское лицо, но они не решились бы с уверенностью сказать, был ли он индийцем. Он вызывал такое отвращение, что они вообще не признали в нем человека.

И теперь здесь, у Дерека, в гомоне толпящихся людей она пыталась вспомнить голос того юноши, произнесшего так четко запомнившиеся ей слова: «Очень жаль, но шелк определенной длины, он предназначен только для сари, и резать его нельзя». И вдруг она стала машинально повторять странное окончание фразы: «ре-зать-нель-зя, ре-зать-нель-зя...»

Потом она танцевала с Дереком.

— Ты сегодня выглядишь прелестно, голубушка,— сказал он, прикоснувшись влажными губами к ее уху.— Прелестно.

— Дерек, а который из гостей Раджати?

Он убрал руку с ее талии.

— Вон там,— показал он, но тут же снова обнял ее и закружил в танце.

Она увидела только Махиндера Сингха и Мартина Матлонго — высокого веснушчатого мулата, да спину и шею какого-то темнокожего с толстым, как у бизнесмена, валиком жира над воротником.

— Который?— переспросила она.

Но на этот раз он указал на группу, где находились только белые, и она не стала больше спрашивать.

Музыка прервалась неожиданным скрипучим взвизгом, будто вдруг сняли иглу с середины пластинки. Видимо, кто-то хотел произнести тост. Но оказалось, что собираются петь. Мартин Матлонго, малыш Шабалала, две цветные женщины и огромная африканка в зеленых туфлях на пробке встали рядом, положив руки на плечи друг другу.

Когда в комнате стихло, они запели на каком-то из наречий банту; запели необычайно красиво; мужские голоса звучали низко и нежно, женские — высоко и страстно. Когда хор умолк, девушка спросила у оказавшегося рядом с ней Эдди Нтвала, о чем была песня. Он ответил неохотно, подчеркнуто холодно, словно не он только что танцевал с ней и не они перекидывались шутками:

— О, это о молодом парне. Он идет и видит девушку, которая работает на ферме своего отца.

Рой Уилсон усмехнулся и дружески хлопнул его по плечу.

— Эдди никогда в жизни не видел фермы. Он родился и вырос в локации «Апекс».

Затем Мартин Матлонго — под крупным, сильным, с широкими губами лицом которого прилепился галстук-бабочка в крапинку — вдруг вышел вперед и запел «Old Man River»[1]. Было что-то вызывающее и в то же время постыдно просительное в том, как он пел эту старинную мелодраматическую песню рабов, и в том, как он, преклоняя колени, простирал огромные руки с розовыми ладонями. Черные в комнате смотрели на него с усмешкой, как на кривляющуюся обезьяну. Белые казались пьяными, их лица были бесстрастны.

Джойс Маккой впервые за весь вечер, с того момента как их познакомили, очутилась поблизости от Джессики Мальхерб. И теперь, когда ей стало особенно не по себе от того, как этот цветной поет негритянскую песню, она стал винить в происходящем Джессику. Она переложила вину на женщину, словно та могла поставить все на свои места, а между тем на тщательно накрашенном, непроницаемом лице Джессики не отражались ни скрытое замешательство других белых, ни переживания черных.

Джойс готова была расплакаться, но на этот раз все походило на прелюдию к чему-то значительному. Она с трудом — ноги почти не слушались ее — протиснулась сквозь толпу, вежливо и вполголоса извиняясь, как учили ее все двадцать два года жизни, и подошла к лидеру профсоюза, к этой скиталице по политическим тюрьмам — женщине с блестящими волосами, от которой исходил аромат дорогих духов.

— Мисс Мальхерб,— сказала она так смущенно, словно собиралась сделать приглашение на прием, устраиваемый в саду.— Мисс Мальхерб, прошу вас, разрешите мне пойти с вами на будущей неделе. Я хочу участвовать в марше...

---

[1] Букв. «Старая река». Имеется в виду песня североамериканских негров «Миссисипи», известная в исполнении Поля Робсона.

На другой день, вполне протрезвев, Джойс не отказалась от намерения идти в локацию. Как и предсказывал ее зять, она чувствовала себя скверно после пунша Дерека, и каждый раз, когда приходилось наклонять голову, ей казалось, будто внутри ее черепа медленно перекатывается огромный тяжелый шар. Временами ей казалось, что это ее собственный мозг сжался и затвердел, как высохший в скорлупе орех, и она не могла ни на чем сосредоточиться. Одна мысль оставалась отчетливой и завершенной: на следующей неделе она будет участвовать в марше. Эта мысль, по существу, превратилась в навязчивую идею.

Джойс отправилась в штаб по проведению кампании гражданского неповиновения, желая еще раз подтвердить мисс Мальхерб свою просьбу, высказанную накануне. Та, как и предыдущим вечером, вежливо выслушала девушку. Она была внимательна и приветлива, поблагодарила Джойс, а потом спокойно объяснила, что в подобной акции может участвовать лишь член организации Движения гражданского неповиновения.

— В таком случае я хочу сейчас же оформить свое вступление,— заявила Джойс.

Сегодня Джессика была одета в светлое, выгодно оттеняющее бледность лица платье из льна, в квадратном вырезе которого на обнаженной шее красовалось маленькое ожерелье из мелких жемчужин — подобные ожерелья дарят девочкам, а затем в каждый день рождения прибавляют по одной жемчужине.

Мисс Мальхерб ответила, что Джойс, бесспорно, вполне могла бы вступить в организацию, но, пожалуй, этим и следует пока ограничиться. Даже такая поддержка была бы весьма ценной.

Но Джойс не соглашалась — ей хотелось действовать, она желала наравне с другими участвовать в марше. Она ушла только после того, как официально оформила свое участие в Движении гражданского неповиновения.

Спустя два дня она снова пошла в штаб переговорить с Джессикой Мальхерб. На этот раз, кроме мисс Мальхерб, там было еще несколько человек. Они встретили ее улыбками, будто старую знакомую. Мисс Мальхерб стала говорить о серьезности заду-

манного Джойс шага. Понимает ли она, что ей грозит тюрьма? Осознает ли, что участники движения предпочитают тюремное заключение штрафу? Даже если она не думает о себе, как отнесутся к ее поступку родители, родственники? Девушка ответила, что она уже совершеннолетняя, что у нее есть только мать в Англии и ни перед кем она не должна отчитываться. Вернувшись домой, Джойс не сказала о своем решении ни сестре Маделин, ни зятю.

Наступившее наконец утро вторника выдалось серым и прохладным. Джойс, одеваясь, удивилась обыденности, будничности своих действий. На душе было пусто, руки стали как ледышки. Вместе с зятем она доехала до города на его машине. Все кругом было усыпано опавшими листьями джакаранды. На дороге их было не меньше, чем на деревьях. Наскоро перекусив в городе, она села в трамвай, шедший в сторону Фордсбурга, района, где вместе с белыми бедняками жили индийцы и цветные и где, как было договорено, предстояло собраться участникам марша.

Прежде ей не приходилось бывать в этой части Йоханнесбурга. Адрес она записала в книжечку с обложкой из клетчатого шелка, которую сейчас робко сжимала в своей маленькой руке. С собой она взяла лишь белую шерстяную кофточку, обулась в легкие без каблуков туфли. «Почему мне все время кажется, будто я собираюсь в какую-то длительную экспедицию, требующую тщательной подготовки,— думала она.— Ведь на самом деле все кончится за какие-нибудь полчаса. Джессика Мальхерб сказала, что мы внесем залог и к половине пятого вернемся домой».

В трамвае она совсем не обращала внимания на пассажиров, да и они вроде бы не замечали ее, хотя разница между ними резко бросалась в глаза. Худые, желтокожие дети; мужчины неопределенного возраста со слезящимися глазами; грузные, с распухшими ногами женщины, держащие какие-то свертки в газетной бумаге; молоденькие светлокожие фабричные девчонки, которые, заколов засалившиеся курчавые волосы на манер модной прически и размалевав заносчивые физиономии румянами и губной помадой, во всем подражают белым девушкам.

С первого взгляда было заметно, как сильно

Джойс отличается от всех этих людей. И дело было не только в одежде, но и в чем-то другом, почти неуловимом. Она казалась существом исключительным, верхом совершенства. Можно было предположить лишь одно из двух: либо она волшебница, Ариэль среди Калибанов, либо что это очаровательное создание явилось на свет раньше срока и потому прекрасно, как прекрасен до срока извлеченный из чрева матери ягненок — слишком хрупкий, не приспособленный для самостоятельной жизни.

Она сошла на нужной остановке и медленно направилась вверх по улице, вглядываясь в номера домов. Понять, как далеко ей предстоит идти и в правильном ли она идет направлении, было довольно трудно, так как цифры над дверями полустерлись или были нечетко написаны, а то вообще отсутствовали. Как и в большинстве кварталов бедняков, жилые дома перемежались с торговыми лавками, над некоторыми из которых, по-видимому, жили их владельцы со своими семьями, кое-где жилища использовались под деловые конторы. Улица называлась Цветочной, хотя на ней не росло ни цветов, ни деревьев. На большинстве лавок красовались названия индийских фирм, коряво выведенные на деревянных вывесках или по прихоти «художника» пышно намалеванные на дверях причудливыми завитушками желтой и красной краской: «Мунисами Даду. Скобяные изделия, дамская модная одежда и другие товары», «К.-П. Пател и сыновья. Торговля фруктами», «Валлабхир. Магазин случайных вещей». Какой-то сапожник забил рамы веранды своего домишка, превратив ее в мастерскую, а над входом вывесил огромный черный железный сапог.

Из домов доносились запахи гнилых фруктов. Худые, шоколадного цвета дети таскали на руках своих младших братишек и сестренок. На веранде крохотного жилища-лавки тощий светлокожий мужчина в рубашке ругал на африкаанс полную, сидевшую на приступке женщину. Индианка в сари и в европейских туфлях на высоких каблуках барабанила в дверь другой половины дома. Чуть подальше притаился совсем небольшой домик, почти полностью скрытый от глаз обвившим его жадным плющом. На двери сверкала начищенная до блеска бронзо-

вая дощечка с фамилией и часами приема врача-индийца.

Улица, по которой шла Джойс, была довольно тихой, повсюду царила атмосфера равнодушия и апатии, свойственная всем предместьям, обитатели которых ведут замкнутый образ жизни. Вдруг она услышала пронзительный пьяный хохот. Он доносился из-за ржавого, сбитого из рифленого железа забора. На улице возле забора на клочке жесткой, пробившейся сквозь песок и гравий травы, которая подчас находит себе место даже на хоженой-перехоженой городской мостовой, кто-то сидел скорчась. Подойдя ближе, девушка увидела, что эта была белая женщина, одна из тех несчастных, что вечно слоняются по улицам с отрешенной целеустремленностью отверженных.

Джойс не испытала ни жалости, ни отвращения к этой женщине, будто, начиная с сегодняшнего дня, само участие в движении против социальной несправедливости излечило ее от обычной сентиментальности. Нет, она не стала отводить взгляд, а совершенно спокойно посмотрела на грязные, загоревшие ноги с задубелой кожей. А вот к молодой светлокожей мулатке, стоявшей с ребенком на руках у калитки соседнего дома, она ощутила, да и то с какой-то бесстрастностью, неосознанное сочувствие, потому что той выпало жить рядом с сомнительным заведением — наверняка притоном.

Вскоре она увидела оставленные на стоянке три машины и поняла, что близка к цели. Она зашагала быстрее, но так же размеренно и спокойно. Дом номер двести шестьдесят — тот, что был записан в ее книжке,— оказался небольшим коттеджем из красноватого кирпича. Четыре ступеньки вели от тротуара к узкой веранде. По обе стороны от входной двери в жестяных банках из-под керосина, выкрашенных зеленой краской, росли мечевидные папоротники, дверь была открыта настежь, как принято в домах, где ожидают гостей.

Джойс решительно поднялась по ступенькам веранды, на которой уже множество ног оставило пыльные отпечатки, и заглянула в открытую дверь, но, никого не увидев, постучала в стеклянную панель в верхней половине двери. Глазам ее предстал кори-

дор с обшарпанным цветным линолеумом на полу. Из-за занавески в глубине этого сводчатого коридора выглянула головка маленькой индийской девочки — низкий лоб, огромные глаза — и тут же снова исчезла.

Джойс Маккой постучала еще раз. До нее доносился нестройный говор, и громче других слышался протестующий голос женщины.

Лысый белый мужчина в очках с толстыми стеклами быстрыми, неровными шагами пересек коридор, но даже не взглянул в ее сторону. Однако он, очевидно, все-таки заметил ее, ибо, едва он вошел в комнату, откуда раздавались голоса, из нее сразу же появилась миловидная с изысканными манерами брюнетка, которую Джойс помнила еще с вечеринки, и, протянув к ней руки, радостно воскликнула:

— О, входите, дорогая. Входите сюда. Тут такой шум! Вы могли бы стучаться весь день!

Джойс обратила внимание, что на женщине были совсем легкие сандалии, надетые на босую ногу. При виде ее холеных ног с ярко накрашенными ногтями Джойс невольно вспомнила изнеженных девиц из модных журналов. Она не могла понять, почему ее так сильно заинтересовали такие детали и отчего они показались ей настолько значительными. Она улыбнулась в ответ и пошла вслед за женщиной. Сильно пахло специями. На стене висела фотография девушки-индианки в европейском свадебном платье. Карточку обрамляла рамка из узорчатой золотой фольги, какой украшают торты. Когда они вошли в комнату, все разом заулыбались, приняли ее появление как должное. Джессика Мальхерб была в голубом полотняном костюме. Она курила сигарету и что-то говорила высокому с взъерошенными волосами Рою Уилсону, он тут же записывал ее слова. Лысый мужчина вполголоса сосредоточенно беседовал с худощавой женщиной, у которой на мускулистой руке были надеты мужские часы. Коротышка Шабалала в очках в тонкой черепаховой оправе делал карандашом какие-то пометки на листе бумаги. Еще трое или четверо белых и черных сидели и громко переговаривались. В комнате стоял гомон, как в птичьей клетке.

Джойс неуверенно опустилась на стул с расша-

танными ножками. Стараясь не привлекать к себе внимания, она принялась осматривать комнату. У окна расположились старая индианка, стройный индийский паренек и ребенок — по всей вероятности, ее внуки. Не отрывая от них взгляда, Джойс попыталась представить себе, как выглядит эта комната, когда в ней нет гостей.

Толстая индианка сидела, широко расставив ноги, ее сари крупными складками спадало между коленями. В одной ее ноздре сверкал рубин, а короткие пухлые пальцы рук были унизаны кольцами. Лоб скрывали жесткие черные волосы и парчовый край сари. Словно глухая, смотрела она ничего не выражающим взглядом на всех этих белых мужчин и женщин, индийцев и африканцев.

И все же по движению ее глаз, холодных и бесстрастных, похожих на глаза черепахи, по тому, как временами подрагивали ее ноги, выдавая слабые признаки жизни и напоминая подергивание какой-нибудь водяной твари, выброшенной волнами на берег, Джойс поняла, что не из-за глухоты или слепоты эта старая женщина не замечала собравшихся, а всего лишь потому, что этот дом, эта комната принадлежали ей. Она была здесь до того, как явились гости, и она будет здесь после их ухода. Дети остались верными бабушке, понимая, что ее-то не посмеют отослать на кухню или в какой-нибудь закуток.

По тому, как эта троица молчаливо заявляла о своих правах, девушке стало ясно, кому принадлежит и все остальное в этой комнате, в их комнате,— и нелепый гарнитур, обитый искусственным бархатом с выдавленными треугольниками и полукружьями, и желтый лакированный стол с розовой шелковой салфеткой и бронзовой вазой с бумажными цветами, и кресла с круглыми отверстиями в подлокотниках, в которые были вставлены пепельницы из цветного стекла, и безвкусно размалеванные фотографии, и ваза с лепным рельефным украшением, и зеленые с рюшем подушки, и торшер, и золоченая гипсовая собачка у двери.

К старухе подошел индиец и что-то сказал раздраженным, но в то же время заискивающим тоном сына, которому хотелось бы куда-нибудь спровадить

мать. Когда мужчина повернул голову, девушка уловила что-то знакомое в этом повороте и узнала человека, чью шею и спину видела на вечеринке, когда пыталась отыскать среди гостей мужа Джессики Мальхерб. Затем индиец подошел к Джойс. Это был коренастый человек с огромной копной блестящих черных волос, делавших его голову несоразмерно большой по сравнению с туловищем.

— Поздравляю,— сказал он.— Моя жена Джессика говорит, что вы настояли на своем желании присоединиться к сегодняшней демонстрации. Вам не страшно?

Она улыбнулась через силу и никак не могла понять, почему это оказалось для нее так трудно.

— Мне жаль, я в тот вечер не познакомилась с вами. Только с вашим кузеном — кажется, так? — мистером Сингхом.

Муж Джессики Мальхерб был на удивление обыкновенным индийцем, но как-никак он был мужем Джессики Мальхерб — этот человек с валиком жира на шее.

— А вы совсем не похожи на мистера Сингха,— добавила она, чувствуя, что сама мысль о таком сравнении оскорбляет ее больше, чем этого полного, дружески настроенного к ней и не старого человека, которому недостает лишь засученной выше локтей рубашки, чтобы стать похожим на процветающего индийского торговца, или неряшливой белой куртки и небритой физиономии, чтобы выглядеть совсем как уличный разносчик фруктов и овощей.

Он присел рядом с ней, за его головой она видела старую индианку. Когда он заговорил, щеголяя своим кембриджским произношением, она вдруг стала ощущать нечто такое, что раньше ускользало от нее. Это тоже было очень странно, ибо, конечно, в комнате ничто не изменилось. А возможно, раньше она и не могла ничего почувствовать, потому что это нечто явилось результатом каких-то неуловимых перемен. Совершенно неожиданно для себя она вдруг отчетливо почувствовала запах ладана: сладковатый и сухой, напоминающий запах горящих листьев. Она невольно начала принюхиваться. Ей показалось, будто запах исходит от бабушки с внуками, от мебели и штор. Старая женщина жгла листья, и дымом пропи-

тался весь дом, все эти безделушки из Бирмингема и Денвера, из Колорадо и американизированной Японии. Потом ей перестало казаться, будто пахнет жжеными листьями. Нет, пахло именно ладаном, и этот запах был сильным и терпким. Запах смерти и цветов. Он всплыл в ее памяти с такой силой, что буквально захватил ее всю, как никогда не могли бы захватить воспоминания слов или образов.

— Вам стало дурно?— вежливо спросил индиец, остановившись на полуслове, так как заметил, что она не слушает его, а ее безмятежное личико вдруг побелело и стало таким отрешенным, словно она вот-вот потеряет сознание.

Джойс порывисто встала и вышла из комнаты. Бегом пробежала через коридор, открыла какую-то дверь, захлопнула ее за собой, но запах продолжал преследовать ее и здесь. Она оказалась в спальне, где стояла широкая кровать, застеленная оранжевым шелковым покрывалом. Она прислонилась спиной к двери, вдыхая запах и дрожа от страха, безумно желая лишь одного — чтобы ее избавили от всего: от этих добрых женщин, которые могли появиться в любую минуту и начать расспрашивать о самочувствии, от необходимости взять себя в руки, чтобы спокойно перенести поездку на машине в локацию, от вида ее спутников, не испытывавших никакого страха от этого марша.

Сами условия ее тепличного существования, которые, как теперь она чувствовала, отгородили ее и от жестоких, и от радостных потрясений реальной жизни, пришли в этот момент к ней на помощь. Испугавшись, она не перестала быть вежливым человеком. В ней воспитывали вежливость так долго, что рутинный стереотип хороших манер, настойчиво глушивший в ней всякое проявление индивидуальности, теперь так же безошибочно сработал на подавление страха.

Было бы скандально ни с того ни с сего взять и просто убежать сейчас из этого дома, вернуться в город.

Эта мысль — правила поведения в обществе хорошо воспитанного ребенка — помогла ей, она снова и снова заявляла о себе, заставляя спокойнее биться гулко стучавшее сердце, заставляя разжиматься креп-

ко сжатые кулаки. Было бы ужасно неприлично убежать сейчас. Где-то в глубине души она с огорчением сознавала, что приличие совершенно не обязывает ее остаться, но тем не менее рефлекс срабатывал. Хорошие манеры жили в ней дольше и были сильнее страха.

Постепенно мысль о собственной персоне перестала угнетать ее. Джойс медленно повернулась к зеркалу в дверце платяного шкафа, поправила пояс, стараясь не смотреть на себя. Затем открыла дверь, прошла по коридору, вернулась в комнату к собравшимся и села на стул, на котором до этого сидела. И только теперь она заметила, что все остальные уже стоят, готовые отправиться в путь.

— Как быть с вашей кофточкой, дорогая? Может, вы ее оставите здесь?— спросила миловидная брюнетка.

Джессика Мальхерб, идя к двери, улыбнулась Джойс и сказала:

— На вашем месте я бы ее оставила.

— Да, конечно, спасибо,— услышала она собственный голос, показавшийся совсем чужим.

На улице они чуть-чуть задержались, пока решали, кто с кем и в какой машине поедет. Джойс очутилась на заднем сиденье машины, в которой рядом с водителем сидела Джессика Мальхерб. Вместе с ней сели худая мужеподобная женщина и коротышка Шабалала, но кто-то энергичным помахиванием руки зазывал его к себе. Он вышел, но тут же вернулся, успев вскочить в машину уже на ходу. Он был единственным, кто, кажется, волновался, сидел прямо, положив руки на колени. Широко улыбнувшись, Шабалала сказал:

— Ну, вот теперь вы действительно едете с нами, мисс Маккой.

Кортеж миновал Фордсбург и стал удаляться от города. Затем они выбрались на одну из основных магистралей, связывающих золотые прииски Уитвотерсрэнда с Йоханнесбургом, проехали мимо бледно-серых и желтых отвалов шахтной породы, мимо уродливо-опрятных домиков для белых рабочих, мимо небольших клочков вельда, где в низинах слабо поблескивала трава, смоченная прошедшим накануне дождем, мимо кирпичного завода, литейного цеха и

небольшой птицефермы. Наконец свернули на проселочную дорогу и пристроились к туземному автобусу, который грузно осел под тяжестью пассажиров. Из выхлопной трубы автобуса шел густой черный дым, парусиновые занавески на окнах раскачивались из стороны в сторону. Подребезжав, автобус нырнул в ворота локации, три легковые машины остановились.

Джессика Мальхерб вышла первой. Потирая пальцы на левой руке, она деловито заговорила с Роем Уилсоном:

— Конечно, никаких заявлений в газеты, пока они сами не попросят.

— Вон машины прессы,— торопливо выпалил Шабалала.— Вон там.

— Похоже, это Брэнд из «Пост».

— Нет, это не может быть Дик Брэнд, его ведь перевели в Блюмфонтейн,— сказала высокая мужеподобная женщина.

— Идите сюда, мисс Маккой, идите, моя девочка,— позвал Шабалала, поправляя галстук и подергивая плечами, на всякий случай, если будут фотографировать.

Девушка послушно вышла вперед. Но фоторепортер протестующе замахал блицем.

— Нет, нет, вы мне нужны в движении.

— Уж лучше сфотографируйте нас здесь, пока мы не вошли в ворота, а то как бы и вам не угодить за решетку,— равнодушно сказала Джессика Мальхерб.— Вы только взгляните на это,— продолжала она, обращаясь к мужеподобной женщине, и приподняла ногу, показывая, как выпачкался в грязи каблук ее белой туфли.

Легерсдорпская локация, к воротам которой они сейчас подходили и о которой Джойс Маккой прежде не имела никакого представления, была весьма схожей с другими подобными поселениями. Высокий из колючей проволоки забор,— существовавший скорее символически, поскольку, за исключением небольшого пролета у ворот, в нем повсюду имелись удобные проходы,— огораживал почти квадратную милю с разместившимся на ней небольшим мрачным поселением, куда приезжали спать африканцы из близ-

лежащего городка. Локацию эту составляли убогие домишки и лачуги, сколоченные из листового железа, лишь около ворот, где находилась контора, стояло несколько вполне приличного вида коттеджей, построенных в виде эксперимента белыми специалистами из строительного управления, но эксперимент так и не получил дальнейшего распространения. В коттеджах жили клерки-африканцы, из числа фаворитов белого управляющего локацией. Лавок здесь почти не было, так как наличие туземных лавок в локации могло бы подорвать торговлю городских магазинов, принадлежащих белым, зато здесь имелось много молельных домов, принадлежащих разным сектам. Некоторые были сооружены из глины и жести, другие, неоготические,— из кирпича.

Итак, они начали свой путь — семь мужчин и женщин. Джессика Мальхерб и Рой Уилсон шли чуть впереди, Джойс оказалась между Шабалалой и лысым белым мужчиной в массивных очках. Первая вспышка блица произвела некоторую сенсацию, но ненадолго. Два-три подростка, игравшие с железными обручами на обочине дороги, замерли в изумлении. Толстая туземка, продававшая апельсины и маисовые лепешки, нарочито громко крикнула что-то прохожему в обтрепанных брюках. У ворот на ящике из-под мыла сидел грузный черный полицейский. Когда участники марша поравнялись с ним, он важно поднес руку к козырьку.

Оцепенение, охватившее Джойс Маккой после нервного срыва, начало уступать место какому-то тихому смятению. Еще ребенком, видя, как несколько членов Армии спасения где-нибудь на углу улицы нестройными голосами распевают гимны, ей частенько хотелось узнать, что бы она почувствовала, окажись в их компании. Теперь ей казалось, будто она это узнала. Маленький Шабалала провел пальцем за воротом рубашки, и с внезапным приливом сердечной теплоты девушка подумала: «Вот и он испытывает то же самое, что и я». Она не могла знать, чем в действительности были заняты его мысли, а думал он сейчас о том, о чем поклялся не думать во время этой акции, а именно, что сегодняшний поход скорее всего будет стоить ему работы. Никто не хотел держать у себя африканцев, «устраивающих беспоряд-

ки». Жена, необычайно гордившаяся его образованностью и умом, узнав о его намерениях, просто молча ушла на кухню, сделав вид, что ей все понятно.

Но в конечном счете Шабалала, точно так же, как и Джойс,— хотя они и не сознавали этого,— остался верен самому себе. Этот забавный коротышка сегодня совершил отчаянно смелый поступок. Едва они миновали ворота, он заговорщически спросил Джойс:

— Ну как, перевалили?

— Простите, как вы сказали?— вежливо переспросила она.

Ватага ободранных ребятишек, с глазами, горящими от цепкой нищеты — а она, по мнению западных представителей, чаще ассоциируется со странами Востока, чем с Южной Африкой,— прыгала и кружилась вокруг белых участников похода, принимая их, очевидно, за членов какого-нибудь комитета, прибывших провести конкурс на самый чистый дом или самого ухоженного младенца.

— Пенни, миссус, пенни, пенни, баас!— пронзительно вопили они.

Шабалала в шутку что-то грозно прорычал на их языке и лишь потом с восхитительной улыбкой, широкой, как ломоть дыни, повторил Джойс:

— Перевалили за цветной барьер, я говорю...

Кроме ребятишек, сопровождавших группу, словно летучие рыбы за кормом, никто не обратил особого внимания на участников марша неповиновения. Африканки с тюками, в которых лежали купленные в городе продукты или взятое в стирку у белых белье, почти не замечали их. Африканцы, проезжавшие мимо на велосипедах, были заняты своими собственными мыслями. Но едва группа поравнялась с административными строениями — они были сооружены из красного кирпича, как и экспериментальные домики, и лечебница у ворот, и являлись единственными европейского типа постройками во всей локации,— к ним подошел средних лет белый мужчина в лоснящемся на локтях и сзади костюме (его слегка ссутулившаяся фигура, казалось, передавала очертания кресла и стола в его конторе) и преградил путь Джессике Мальхерб.

Группа послушно остановилась, но во всем обли-

ке участников марша сквозило спокойное упорство. Белый, оказавшийся управляющим локацией, очевидно, знал Джессику Мальхерб и сейчас испытывал неловкость от того, что ему пришлось столкнуться с ней как официальному, а не частному лицу.

— Видите ли, господа, я обязан предупредить вас о запрещении европейцам входить в Легерсдорпскую локацию,— сказал он.

В левой руке у него, как заметила девушка, были очки, он их покручивал за одну дужку, словно ожидая прибытия группы и нервничая, выскочил из своего кабинета в последний момент.

Джессика Мальхерб улыбнулась, и в этой ее улыбке просквозили нескрываемая снисходительность и откровенное желание позабавиться.

— Добрый день, мистер Дугал,— приветствовала она его.— Да, да, мы, разумеется, понимаем, что ваш долг сделать нам официальное предупреждение. Скажите лучше, как вы думаете, далеко ли нам удастся пройти?

Напряжение тотчас схлынуло с лица управляющего. Он пожал плечами и ответил:

— Они уже ждут вас.

И тут до сознания Джойс Маккой дошло значение этой фразы — она почувствовала всем своим существом, что́ подразумевалось под этим «они ждут вас». Тщательно побритые, похожие одна на другую физиономии клерков-африканцев появились в окнах административных контор. Когда группа поравнялась с лечебницей, оттуда выглянул врач-европеец в белом халате. Две белые медицинские сестры и одна африканка вышли на веранду. Все пациентки-африканки, сидевшие на солнышке возле лечебницы, кормя грудью своих младенцев и болтавшие между собой, молчали, пока группа проходила мимо. Они молчали, и в их взглядах было что-то схожее со взглядом старой индианки, сидевшей в ожидании там, в Фордсбурге.

Они шли дальше вверх по улице, и по обе ее стороны во всех лачугах с самодельными верандами, к которым вели узкие вытоптанные полоски земли, и во всех хижинах с крохотными, в один-два фута, огороженными палисадничками, в которых копошились куры и дозревали тыквы, двери были открыты

настежь. В них стояли мужчины и женщины, окруженные детьми, как в предчувствии бури.

А между тем солнце палило нещадно. Участники процессии продвигались медленно, в полном молчании, наблюдавшие за ними тоже молчали или переговаривались шепотом, склонив голову к собеседнику, но не спуская глаз с демонстрантов. Кто-то захохотал, но это оказался пьяный, худой и сморщенный старик, возвращавшийся из пивнушки. Впереди, на перекрестке стояла черная полицейская машина со вскинутой в небо антенной, будто занеся над этой убогой улицей поблескивающую плеть. Задние дверцы машины открылись, вышли два дюжих полицейских в щеголеватой форме, захлопнули за собой дверцы, затем нарочито медленно, не торопясь, направились к демонстрантам. Поравнявшись, один, будто вспомнив, сказал:

— А, добрый день.

Но второй, прервав его, казенным голосом произнес:

— Вы арестованы за противозаконное вторжение в Легерсдорпскую локацию. Назовите свои фамилии...

Джойс стояла, ожидая своей очереди, сердце ее билось медленно и ровно. Она снова подумала, как тогда, на той вечеринке (сколько же с тех пор прошло времени?): «Ничего особенного я не чувствую. Все в порядке. Я ничего не чувствую».

Но когда полицейский приблизился к ней и она, по буквам назвав свое имя и фамилию, оглянулась вокруг, то увидела лица стоявших поблизости африканцев. Двое мужчин, маленький мальчик и женщина, одетые в разношерстные европейские обноски, болтавшиеся на них как раскинутые на кустах тряпки, во все глаза смотрели на нее. Взгляды их встретились, и она вдруг почувствовала не безразличие, а именно то, что чувствовали они, глядя на нее, эту белую девушку, которую заставили подчиниться — непостижимо для них, привыкших к подчинению,— воле белых людей, тех самых, которые даруют или отнимают жизнь, гноят в тюрьмах или выпускают на волю, дают пищу или морят голодом, как сам господь бог.

ПОДАРОК ДЛЯ ХОРОШЕЙ ДОЧЕРИ

В один из сентябрьских дней в ювелирный магазин зашла женщина. Две продавщицы в черных крепдешиновых платьях изощрялись как только могли, стараясь закрепить на кронштейне огромную тяжелую раму стеклянной витрины. Они изгибались, упершись локтями в животы, но дело все никак не подвигалось. Бросив беглый взгляд на вошедшую, продавщица решила, что та сразу же уйдет. Да и что было делать в роскошном ювелирном магазине пожилой женщине в поношенной бесформенной старой шляпке из итальянской соломки, с безобразной, набитой доверху хозяйственной сумкой, украшенной, будто на благотворительном базаре, вышивкой из шерстяных ниток; женщине, одетой в замызганные стоптанные парусиновые туфли и дешевые толстые розовые чулки, которые перекрутились спиралью у лодыжек? Им были хорошо знакомы такие простушки: немного ошеломленные, близорукие, забредшие к ним по ошибке, перепутав их магазин с аптекой, что через два дома. Эта женщина тоже начнет сейчас глупо озираться вокруг, будто попала в пещеру Аладдина, потом заметит красивые коробки с ножами и вилками — они выглядят так эффектно на бархатном ложе,— увидит изящные часики в футлярах, на атласном шелке, и холодный переливающийся блеск подсвеченного хрусталя, тогда она начнет что-то бормотать про себя и, неуклюже переваливаясь, как утка, покинет магазин. Продавщицы стояли не двигаясь, в ожидании, когда она уйдет.

Но, как ни странно, женщина не уходила. Она даже несколько вызывающе и в то же время заискивающе подошла поближе, потом хмыкнула, как бы подбадривая себя: «Ну, смелее! Разве тебе запрещено сюда входить?»— и поставила хозяйственную сумку на прилавок. Затем поправила шляпку и стала ждать, даже не повернув головы в сторону молоденьких продавщиц.

Те стояли словно вкопанные. Их полуприкрытые глаза с некоторым интересом замерли на хозяйственной сумке, которая казалась древней, как допотопное ископаемое.

Третья продавщица, сидевшая за столом,— она

укладывала на бархатный щиток обручальные кольца,— отодвинула кольца в сторону и раздраженно встала. «Что делать,— подумала она.— Надо же кому-то спросить, чего нужно этой старой карге».

— Да? — сказала она.

Ответ у женщины был готов заранее. Как ребенок, только что выкупавшийся и еще весь полный радостного возбуждения, она, задыхаясь и волнуясь, залепетала:

— Добрый день, мисс, у вас на витрине лежит зеленая сумка, мисс, в углу снизу, ближе к середине... Я хочу купить такую же для дочери, она без конца твердит о зеленой... вот я и подумала, понимаете... Правда, я хочу это сделать к рождеству, но все же...

Ее зрачки, напоминавшие крохотных рыбок, плавающих в бесцветной глубине глаз, чуть прикрытых красноватыми веками, метались из стороны в сторону. Будто побирушка, старающаяся выставить напоказ все свои страшные болячки, она улыбнулась во весь рот и обнажила наполовину выпавшие зубы, чем-то похожие на обломки прибитого к берегу леса.

— Вам нужна зеленая сумка с витрины?— переспросила продавщица, взглянув на нее и тут же потупившись.

— А сколько она стоит?— спросила женщина приглушенным, как на исповеди, голосом, и прищурила один глаз.

На молодую продавщицу ее искательный тон не произвел ни малейшего впечатления.

— Сейчас погляжу,— ответила она и, не желая больше попусту тратить время, вышла из-за прилавка.

Медленно, неторопливым движением она отодвинула шпингалеты, наклонилась и вытащила сумку. Пожилая женщина, беспокойно ворочая языком среди провалов в зубах, устремилась к прилавку. Правой рукой она оперлась о прилавок, а левой, костлявой, с огромными шишками на суставах, с жесткой, сморщенной, будто черепашья, кожей, сделала какой-то странный жест, вяло свесив кисть. Таким же, вероятно, жестом какой-нибудь щеголь времен Людовика XVI брал понюшку табака.

— М-м-м,— произнесла она что-то невнятно, притрагиваясь к сумке.

Раскрывая блестящую молнию и стараясь нашарить внутри ценник, продавщица отворачивалась: женщина сопела носом и у нее изо рта шел тошнотворный запах.

— Четыре пятнадцать,— наконец произнесла продавщица.

— Четыре пятнадцать, четыре пятнадцать,— закивала головой женщина, облизывая нижнюю губу.

— Или девяносто пять шиллингов,— уперев одну руку в бедро, пояснила продавщица.

— А! — сказала женщина и вздернула брови, затененные полями ее шутовской шляпы, давая этим понять, что никаких помех больше не существует.— А зеркальце там есть?

— Есть,— иронически процедила продавщица.

«Тебе это не по карману»,— явно говорила рука на бедре.

— О, я уверена, ей понравится эта сумка,— затараторила женщина, суетливо ощупывая карманы.— Знаете, она так любит зеленый цвет! Все только зеленое. И платья, и все другое. Когда я говорю, что ей это вроде бы не очень идет, она отвечает: «Мам, ты отстала от жизни». Ей всегда хотелось иметь зеленую сумку...

— Тогда вам наверняка надо купить для нее эту сумку, мадам,— сказала продавщица.

Еще минута-две, и эта старая карга уйдет, пробормотав, что подумает... посоветуется с мужем...

— Понимаете, мне кажется, что это хороший подарок дочери на рождество,— сказала женщина.

Продавщица забавлялась, рассматривая нитку желтых бусинок, которые казались большими, как окатыши, на ее костлявой плоской груди.

— Конечно, лучше купить заранее.— Профессиональная сноровка взяла верх в продавщице.— А то, пока будете ждать, мы ее продадим. Дождитесь рождества, тогда и вручите свой подарок.

— Да, но сейчас я не могу ее купить,— ответила женщина.— Видите ли, у меня с собой нет денег.

— Хорошо, мы отложим ее для вас до утра,— сказала продавщица.

Покупательница стояла, поглядывая на нее подо-

бострастно, с хитровато-простодушной улыбкой, как у попрошайки, когда он пытается разжалобить нас своими лохмотьями.

— Понимаете, милая,— сказала женщина тихо и униженно,— я думала, может, вы разрешите мне выплачивать за нее частями.

Всем своим видом покупательница олицетворяла вопрос.

— Это невозможно, мисс Пирс,— тут же вмешались в разговор две остальные продавщицы. Так представитель какой-нибудь великой державы просыпается на конференции как раз вовремя, чтобы взять свое слово и наложить вето на предложение, сделанное тихим, едва слышным голосом, суть которого он толком и не уловил.— Мистер Кано уехал.

— Дело в том, что сейчас нет директора,— объяснила продавщица.

— О, я даже и не надеялась, что мне разрешат взять сумку сейчас,— сказала женщина и улыбнулась молоденьким продавщицам так, словно они оказали ей особую услугу.— Я просто хотела сейчас внести за нее немного, а вы бы отложили ее для меня. Я буду каждую неделю заходить и доплачивать.— Вид у нее был как у нашкодившего мальчишки.

— Понятно,— промолвила мисс Пирс, захваченная врасплох.

— На это требуется разрешение мистера Кано,— сказали две другие.— Без него это невозможно.

— Ладно, ладно, я знаю,— сказала мисс Пирс.— Сколько вы хотели бы сейчас заплатить?

Озадаченная размолвкой между продавщицами, покупательница принялась рыться в хозяйственной сумке и вытащила маленький кошелек.

— Я могла бы внести десять шиллингов.

— И сколько времени вы будете выплачивать всю сумму?

— Ну, до рождества... где-то до пятнадцатого декабря.

— Об этом не может быть и речи, мисс Пирс,— повысив голос, сказала одна из продавщиц.

Мисс Пирс не обратила внимания на ее слова. Покупательница скалила в жалкой улыбке все свои гнилые зубы, похожая на собаку, которая виляет

хвостом даже перед тем, кто пытается забрать у нее лакомую кость.

— Хорошо,— вдруг согласилась мисс Пирс.

Покупательница молча достала со дна своего потертого кошелька десятишиллинговую ассигнацию и так же молча стала ждать, пока ей выпишут квитанцию. Когда квитанция оказалась у нее в кошельке, она положила кошелек в рваную хозяйственную сумку и вдруг, в приступе болтливости, пустилась доверительно рассказывать. При этом она походила на бумажный японский цветок, который расправляется в воде как настоящий.

Рассказывала она только о своей дочери. О том, что та обычно ей говорит и что она обычно ей отвечает.

— О, вы наверняка знаете мою доченьку,— говорила она, не допуская даже и мысли, что продавщица может ее не знать.— Понимаете, милая, она работает кассиршей в «Гранд Лайсеум». Такая светловолосая, с очень красивой фигурой.

Говорила она странно: перед каждым «д» чуть задерживалась, но тут же справлялась с собой и продолжала.

— Да,— тихо промолвила мисс Пирс. Она и вправду часто ходила в этот кинотеатр, но никогда не покупала себе билет сама и потому ни разу не видела кассиршу.— Да, кажется, я ее видела...

— Всегда одевается только в зеленое. И разговаривает так спокойно,— продолжала женщина.— Конечно же, вы ее знаете. У нее очень хорошая работа. Девушка она умная, толковая. И, должна вам сказать, хорошая дочь, относится ко мне уважительно. Не как другие. Вот почему я так рада, что купила ей эту сумку. Она давно мечтала о зеленой. Я заметила ее, когда мы проходили мимо и остановились посмотреть на витрину. А когда я спросила у нее, она ответила: «Нет, ничего там нет», лишь посмотрела на меня. Но я-то знала, что ищу. Это уж всегда так, где-нибудь на витрине окажется и зеленая сумка...

Едва женщина, неуклюже ступая на сбившихся каблуках старых-престарых парусиновых туфель, вышла из магазина, обе продавщицы кинулись к мисс Пирс.

— Только не говорите, что мы были согласны с вами. Вы ведь знаете, мистер Кано...

— Какая чудна́я женщина,— проворчала вторая.— Вы обратили внимание, как она одета! И по-моему, она выпивает.

— Почему вы обе бездельничаете? Почему перекладываете всю работу на меня?— вдруг вспылила мисс Пирс.

Через две недели покупательница пришла снова. Заметно было, что ей не терпится отдать десятишиллинговую ассигнацию, пока та не ушла на что-нибудь другое. Она попросила снова показать ей сумку и повторила мисс Пирс весь свой рассказ о дочери, о предпочитаемом ею цвете, о ее разумности. Дабы поскорее от нее избавиться, продавщица слукавила, сказала, что при последнем посещении «Гранд Лайсеум» она обратила внимание на светловолосую кассиршу. Женщина чуть не лишилась дара речи от переполнившей ее гордости: она, казалось, впала в какое-то блаженное забытье, облокотилась на прилавок и еле слышно проговорила:

— Да, хотелось бы мне увидеть ее лицо в тот день, когда я вручу ей подарок. Хотелось бы увидеть... Тогда бы я...

С величайшей тщательностью убрав вторую квитанцию, она медленно направилась, будто опускаясь с небес, к двери.

— Смешная какая-то!— проговорила мисс Пирс, надписывая на свертке: «Осталось заплатить три фунта пятнадцать шиллингов».

Когда покупательница зашла в третий раз, своей говорливостью она привела всех в смущение. Она упросила мисс Пирс взять у нее сигарету из портсигара с двумя желтыми эмалевыми попугайчиками на крышке. Запирался этот портсигар каким-то очень хитроумным способом. Женщина долго возилась, прежде чем сумела его открыть. Она была в той же обтрепанной шляпке из итальянской соломки, но выглядела еще более странной, чем прежде. Лицо натянутое, одеревеневшее, на губах — розовато-лиловая помада. Она заплатила только пять шиллингов, без конца извиняясь.

— Видит бог, в начале месяца я заплачу сразу много,— громко говорила она, поднимая вверх правую руку.— Видит бог...— И вдруг она улыбнулась мягко и добро:— Для моей доченьки... моей доченьки...

Бедняжка мисс Пирс в ответ тоже улыбнулась, хотя и находилась в полнейшем замешательстве. Но женщина вдруг повернулась и ушла.

В третий раз она пришла утром, и молоденькая мисс Пирс подумала, что женщина гораздо старше, чем казалась. Она шла, пошатываясь, потрепанная хозяйственная сумка была явно слишком тяжела для нее, красные глаза резко выделялись на бледном до голубизны лице. Вероятно, она плакала. Мисс Пирс подумала, что ей приходится делать самую тяжелую работу в доме. От нее немного попахивало денатуратом — должно быть, она мыла окна. Четыре фунта и пятнадцать шиллингов! Так ведь для нее это, пожалуй, целое состояние! И мисс Пирс задумалась: достойна ли выкрашенная перекисью блондинка — кассирша в «Гранд Лайсеум» — такой жертвы. Задолженность, во всяком случае, уменьшилась еще на пятнадцать шиллингов.

На этом выплата закончилась.

Неделя проходила за неделей, а женщина не появлялась. Мисс Пирс убрала сумку подальше от всевидящего ока мистера Кано. «В чем дело?— спросил бы он.— Сколько это еще будет продолжаться? Выложите сумку для продажи. И верните женщине деньги». Поэтому зеленая сумка перекочевала за кипу тисненых кожаных шкатулок для письменных принадлежностей.

По мере приближения рождества праздничный ажиотаж в городе нарастал с каждым днем, и вскоре три продавщицы, толкая за прилавком друг друга локтями, еле успевали ублажать, улыбаясь, уговаривая, советуя, робких, решительных или высокомерных покупателей. У мисс Пирс не оставалось даже времени подумать, придет ли женщина за зеленой сумкой; продавщицы успевали только справляться с то и дело возникавшими раздорами среди десятков одновременно требовавших ответа покупателей; не осталось ни одной самой плохонькой вещицы, которую тут же не схватил бы кто-нибудь из простояв-

ших почти битый час в очереди за черепаховой пудреницей.

Но в последнюю субботу перед рождеством около половины пятого мисс Пирс вынуждена была отвлечься от работы.

— Явилась ваша покупательница,— толкнув ее локтем, сказала одна из молоденьких продавщиц.

— Что?— переспросила мисс Пирс, уклоняясь от требовательных взоров покупателей.

— Зеленая сумка,— бросила другая продавщица, очаровательно улыбнувшись, и скрылась из виду.

Уставшая от сутолоки мисс Пирс с трудом пробралась в другой конец магазина. Нескончаемый поток всевозможных вопросов и требований не убывающей весь день толпы приглушил в мисс Пирс все чувства, и она никак не могла сообразить, о чем речь. Но, увидя возле двери женщину в потрепанной соломенной шляпке, она, конечно, сразу же вспомнила о спрятанной за шкатулками для письменных принадлежностей сумку, за которую следовало еще получить два фунта пятнадцать шиллингов. Мгновенно изобразив на лице заученную улыбку, мисс Пирс подошла к ней.

— В...вот,— сказала женщина, протягивая один фунт и безучастно глядя на продавщицу.— Надеюсь, вы еще не п... продали мою с... сумку... Я ведь заплатила за нее, и у вас н...нет никакого п...права отбирать ее у бе...бедной женщины.

Сбивчивое нытье ясно слышалось среди царившего в магазине гула. От нее шел такой же резкий запах, как от курильниц.

Мисс Пирс в изумлении глядела на нее.

Женщина уронила свою ветхую хозяйственную сумку на пол, оглянулась и уставилась на нее, как некое диковинное существо. Она попыталась поднять сумку, но не смогла. И вдруг взглянула на мисс Пирс и захихикала, словно нашалившийся ребенок.

Мисс Пирс стояла, не в силах шевельнуться.

— Так по...почему же вы заставляете ме...меня ждать? По...почему не даете мне су...сумку? — спросила женщина, пытаясь держаться с достоинством.

К полям ее шляпки большой английской булавкой был приколот красный мак — такие цветы раздают в

дни сбора пожертвований на собраниях благотворительных организаций.

Мисс Пирс дрожала, как попавший в капкан заяц.

— Вы меня не б...бойтесь,— с хитрой улыбкой проговорила женщина.— Простите...— Она закивала головой.— Простите...

Мисс Пирс сгорала от стыда.

— Я сейчас принесу... То есть, я посмотрю...— пробормотала она.

— Вам нечего бо...бояться бе...бедной с...старой женщины. Мне нужна э...эта сумка.— Покупательница замолчала и долго собиралась с мыслями.— Зе...зеленая сумка, которую я купила для м...моей доченьки. Вы ведь знаете мою дочь?— Она схватила Пирс за руку и улыбнулась, прикрыв глаза.— Ну, конечно, вы знаете мою дочь.— В...вот деньги...

— Но этого мало,— громко, будто разговаривала с глухой, произнесла мисс Пирс.— Мало. Вам нужно заплатить за сумку два фунта и пятнадцать шиллингов.— Она показала два пальца.— Два фунта и пятнадцать шиллингов.

— Как так?— с глупым видом спросила женщина. Лицо у нее стало жалким и угрюмым.— Вы просто не хотите... Не хотите отдать ее мне.

— Но вы ведь не заплатили за нее, понимаете?— с несчастным видом сказала мисс Пирс. В толпе она видела мистера Кано, одна бровь у него вопрошающе ползла вверх.

— А сколько она стоит?— тихо осведомилась женщина, часто заморгав и вплотную приблизившись к мисс Пирс.

— Четыре пятнадцать. Помните?

— Неужели?— Женщина хихикнула.— Неужели?

— Вам нужно доплатить еще фунт и пятнадцать шиллингов.

Женщина опустилась на колени и начала шарить в сбившейся подкладке своей хозяйственной сумки. Наконец она поднялась на ноги. Видимо, в глубине ее души что-то упорно сопротивлялось разлившемуся алкогольному морю. Страшно было представить, что под этой деревянной маской таится нечто неистребимо живое.

— Я хочу купить сумку для дочери...— сказала она.— Я не шучу!

Она стала ощупью пробираться к выходу. Лицо ее было затенено мятыми полями шляпки. Остальные покупатели наблюдали за ней с высоты собственного величия.

Через несколько минут в магазин гневно ворвалась девица с неестественно бледным белым лицом и жидкими, тусклыми, как у выросшего в трущобах ребенка, волосами. Она остановилась, привстав на носки. Позади нее, с тем же неподвижным взглядом остекленевших глаз, стояла пожилая покупательница. Девица осмотрелась, увидела мисс Пирс за прилавком и медленно пошла к ней, метнув на женщину в мятой шляпке полный презрения взгляд, от которого та сникла, словно от удара хлыстом.

— В чем дело?— выпалила девица.— Сколько она вам задолжала?

— Видите ли, она уже уплатила некоторую сумму,— отважилась объяснить мисс Пирс.

Обе они чем-то напоминали врачей, дискутирующих над распластанным телом больного.

— Скажите сколько, и я доплачу,— резко перебила ее девица.

Под бледной тонкой кожей у нее на шее, как пойманная птица, трепетала жилка.

— Не беспокойтесь,— неуверенно произнесла мисс Пирс, стараясь не глядеть на пожилую женщину.— Доплатить осталось не так уж много. И совсем не обязательно ей брать сумку сейчас.

От воспоминания о какой-то недавней бурной сцене на глаза бледной девицы навернулись горячие слезы.

— Скажите, сколько нужно денег,— зло, неистово прошептала девица и сглотнула слезы.— Она ведь не может заплатить,— добавила она, с отвращением глянув на старуху.

— Цена сумки четыре фунта пятнадцать шиллингов. За ней осталось два пятнадцать.

— Четыре фунта и пятнадцать шиллингов за сумку!— воскликнула с горькой усмешкой девица, и ее бесцветные глаза опять наполнились слезами.

Она обернулась и посмотрела на свою мать; рука ее, точно свинцовая, скользнула вдоль бока, будто она хотела ударить, но сдержалась.

— Что будет в следующий раз? То какой-то хлам

приволокла. То вот эта сумка. Да кому она нужна? Зачем вы навязываете ей всякое барахло? Она же не отвечает за свои поступки. Ей давно пора в приют. Нет у меня больше сил выносить ее выходки.

Старуха взглядывала на дочь из-под опущенных век.

Все еще дрожа, девица вытащила два фунта и пятнадцать шиллингов серебром и вручила их мисс Пирс жестом во всем отчаявшегося человека. Мисс Пирс передала ей пакет с зеленой сумкой. Какое-то мгновенье она глядела на сверток с выражением крайнего отвращения. Вид у нее был такой, будто ей хотелось швырнуть его как можно дальше. Но все-таки она взяла сверток и направилась к двери.

— Идем,— каким-то странным загробным голосом приказала она.

Пожилая женщина, покачиваясь, вышла за ней на улицу.

ДЭН ДЖЕКОБСОН

Родился в 1929 году в Йоханнесбурге. После окончания университета работал репортером, учителем. Опубликовал несколько романов, книгу путевых очерков о западном побережье Америки, том критических статей и три сборника рассказов. Лауреат двух литературных премий.

На русский язык переведены роман Д. Джекобсона «Сила любви» (М., «Художественная литература», 1972) и ряд рассказов. В настоящее время живет в Лондоне.

НИЩИЕ

Улица была пустынной — ни машин, ни пешеходов. Неожиданно в слепящих лучах солнца, бивших откуда-то сзади, возникли две тонкие фигурки. Казалось, будто яркий свет и резкие тени, слившись воедино, воплотились в двух маленьких африканцев — мальчика и девочку — с огромными блестящими глазами на круглых черных лицах.

— Stukkie brood[1],— раздался жалобный голос мальчика.

Кусочек хлеба! Белые школьники так и называли африканских ребятишек — «Stukkie brood», потому что именно так те просят милостыню.

— Stukkie brood,— повторила девочка. На ней было грязное, некогда белое платье, такое короткое, что едва прикрывало бедра. Ни чулок, ни ботинок, ни кофточки, ни панамки. Ей, очевидно, было лет десять. Мальчик, одетый в рваную зеленую рубашку и серые, слишком большие для него шорты, выглядел года на два старше. Они с Майклом были, наверно, ровесниками, но африканец был намного ниже его. Он, как и девочка, не имел ни чулок, ни ботинок. Руки и ноги у этих ребят были грязными и тонкими, как спички, а на запястьях и лодыжках резко выступали суставы, и кожа в этих местах казалась особенно грубой.

— У меня нет хлеба,— сказал Майкл. Он даже остановился, удивленный неожиданным появлением этих двух попрошаек. Вероятно, дети скрывались за одним из деревьев, посаженных вдоль тротуара.— Я не ношу с собой из школы хлеб.

Дети не шевельнулись. Майкл медленно переложил портфель из одной руки в другую и сделал шаг вперед. Дети молча посторонились, уступая ему дорогу. Проходя мимо, он чувствовал на себе их пристальные взгляды, а когда, отдалившись от них на несколько шагов, он оглянулся, то увидел, что они все так же стоят и напряженно смотрят ему вслед. Мальчик крепко держал за руку девочку. И тут что-то перевернулось в душе Майкла. Его смутила их зависимость друг от друга и та покорность и безропотность, с какой они приняли его отказ. Майкл снова оглядел их, грязных, оборванных, и понял, как, должно быть, они голодны. Да, он даст им хлеба, ведь его дом всего в трех кварталах отсюда.

— У меня нет с собой хлеба, но если вы пойдете со мной, я позабочусь, чтоб вам дали поесть. Вы меня поняли?

Они снова ничего не ответили, но, конечно же, все поняли.

---

[1] Кусочек хлеба (*африкаанс*).

Трое ребят двинулись в путь. Африканцы держались немного поодаль от белого мальчика, безмолвные, как их стелющиеся на желтом песке тени.

Ходят ли они в школу, спросил Майкл. Мальчик отрицательно мотнул головой. Они брат и сестра? Мальчик кивнул.

Вскоре они подошли к дому Майкла. Он вошел на кухню и попросил Дору дать ему хлеба с джемом для двух ребят, ожидавших у ворот.

— Я не собираюсь кормить голодранцев всего города,— запротестовала кухарка. Но Майкл прикрикнул на нее:

— У нас ведь много хлеба, почему же не дать им кусочек?

Он был возмущен тем, что Дора, которая принадлежала к той же расе, что и те двое, отказывается им помочь.

Дора недовольно положила хлеб на тарелку и направилась к воротам, но Майкл остановил ее и сказал примирительно:

— Дай мне, Дора, я сам.

С тарелкой в руках он вышел за калитку.

— «Stukkie brood»!— позвал он.— Вот вам ваш Stukkie brood.

Дети с жадностью взглянули на хлеб и быстро схватили с тарелки тоненькие ломтики, которые Дора намазала абрикосовым джемом. Дети крепко держали ломтики обеими руками, боясь их нечаянно уронить. Рот девочки приоткрылся, она, не мигая, смотрела на Майкла.

— Что вы должны сказать?

— Спасибо, баас,— прозвучали в унисон чистые, высокие голоса.

— Вот так-то лучше, а теперь можете есть.

Ему хотелось увидеть, как они будут есть, разделить их радость утоления голода, но дети молча начали пятиться назад. Сделав несколько шагов, они вдруг повернулись и что было сил припустились бежать. Платье девочки трепетало, издали оно казалось совсем белоснежным на ее черном теле. Они домчались до угла, на секунду остановились и, оглянувшись, быстро свернули за угол.

Через несколько дней, возвращаясь из школы, Майкл снова встретил их на том же месте. Они

стояли посреди тротуара, и он заметил их еще издали. Дети, конечно, поджидали его. Майкл заговорил первым:

— Ну что, опять кусочек хлеба?

— Да, баас,— разом ответили дети и уверенно последовали за ним, держась, однако, в некотором отдалении.

— Откуда вы знали, что опять встретите меня здесь?

— Мы знаем, что баас всегда возвращается по этой дороге из школы.

— А как вы могли знать, что я снова собираюсь дать вам хлеба?— спросил улыбнувшись Майкл.

Дети промолчали. Мальчик даже не улыбнулся в ответ. Теперь, когда Майкл снова встретил их, они показались ему такими же, как сотни, тысячи других черных оборванцев. Все они похожи друг на друга, как две капли воды, от макушки до грубых, облепленных грязью ступней.

— Эти «Stukkie brood» снова ждут за воротами,— бросил Майкл Доре, входя в дом.— Дай им чего-нибудь, и они уйдут.

Дора опять заворчала, но послушалась Майкла. На сей раз Майкл не вышел к ним сам, он торопился заняться новой моделью автомобиля. Впрочем, он отметил про себя, что несколько минут спустя Дора вернулась на кухню с пустой тарелкой. Вскоре Майкл увлекся своим делом и напрочь забыл о двух оборванцах. Он долго возился с автомобилем и не заметил, как наступил вечер. Он так и не закончил свою работу: нужна была какая-то проволочка. Майкл решил поискать ее в сарае и, взяв свой фонарик, вышел из дому.

Фонарик всегда придавал Майклу уверенность. Он представлял себя полицейским, отправившимся в ежевечерний обход, поэтому смело шагнул за ворота и тут внезапно увидел их — двух оборванцев, стоявших в темноте.

— Что вы здесь делаете?— удивился Майкл.

— Мы ждали бааса, чтобы сказать спасибо,— произнес мальчик, высоко подняв голову, как бы призывая этим Майкла молчать.

— Что?..

Майкл шагнул к ним, но они не сдвинулись с мес-

та — только на миг отшатнулись. Была зима, днем солнце ярко и весело освещало улицы, но к вечеру становилось нестерпимо холодно. По ночам железные кровли покрывал иней и лед сковывал пруды в пригородных виллах белых поселенцев.

Майкл чувствовал, как мороз пощипывает его уши и руки, а эти двое африканцев, босые и полураздетые, простояли на улице несколько часов, чтобы только поблагодарить за кусочек хлеба.

— Ради этого не стоило ждать,— смущенно произнес Майкл.

В темноте резко выделялось белое платье девочки, тогда как зеленая рубашка ее брата совершенно растворилась в темноте. И Майкл невольно подумал, как слаба и беззащитна эта девочка.

— На, возьми,— неожиданно сказал он, протянув ей фонарик.— Посмотри, как он здорово светит.

Она не решалась взять фонарик. Но что он мог предложить ей еще?

— Бери, бери, ведь, правда же, он хороший?

Майкл погасил и снова зажег фонарик, осветив растерянные лица ребят, с бегающими из стороны в сторону глазами. Затем он направил луч вверх, и тот утонул в бесконечной глубине неба.

— Возьми. Если он вам не понадобится, вы сможете его продать.

Девочка протянула руку и взяла фонарик. Затем молча, как и в прошлый раз, дети убежали. Но не успели они скрыться за углом, как на улице, словно по мановению волшебника, вспыхнули ярким светом ночные фонари. Дети остановились, оглянулись назад и свернули за угол. В последний миг в руках мальчика вспыхнул тонкий луч. Майкл подумал, что они забыли поблагодарить его за подарок, хотя незадолго перед тем простояли несколько часов на холоде, чтобы сказать спасибо за хлеб. Очевидно, его великодушие парализовало их. Мысль о собственной щедрости скрадывала горечь от чувства потери фонарика.

Майкл рос единственным ребенком в семье. У него не было ни братьев, ни сестер. Отец и мать с утра до ночи пропадали на работе. В школе он почти ни с кем не дружил, но не чувствовал себя одиноким. Во-первых, он привык быть один, а во-вторых, он был

рад, что никто не мешает ему предаваться своим бесконечным фантазиям. Майкл часами играл в игры, которые придумывал сам. Война, разведка, мореплавание, научные открытия, преступления, шпионаж — его интересовало все. Одним словом, мальчик жил не в реальном, а в созданном его воображением мире. И теперь эти двое жалких попрошаек, с их бедностью, слабостью и беззащитностью, придали его фантазиям новое направление. Его чувства окрасились состраданием, жалостью и желанием помочь этим детям.

Порой Майкл воображал, как спасает черного мальчика от верной гибели и в награду слышит от него слова благодарности на ломаном английском языке. Время от времени он спасал и девочку, и она просила у него прощения за то, что доставила ему столько хлопот. Случалось, что он опаздывал спасти того или другого, хотя и очень старался, и тогда перед его глазами вставали трогательные картины прощания.

В действительности Майкл и не пытался играть с этими детьми. Они были слишком грязными, слишком оборванными, чужими и чересчур навязчивыми.

Их навязчивость заставила в конце концов Дору рассказать обо всем матери Майкла. И та, исполняя свой материнский долг, потребовала, чтобы Майкл не водился с ними и, конечно же, не дарил им никаких ценностей.

— Водиться с этими?— Майклу стало даже смешно от такой нелепой мысли. Кроме хлеба, который они постоянно клянчили у него, он отдал им фонарик, несколько поломанных игрушек, одну или две старых фуфайки и пару поношенных брезентовых туфель. Стоило ли жалеть о таких пустяках? Матери Майкла тоже не было жаль ни изношенных туфель, ни старых игрушек, ни хлеба. Единственное, чего она хотела, это чтобы ее сын не общался с африканцами.

Однако она окончательно успокоилась, получив заверение от Доры и от самого Майкла, что он не только не играет с ними, но никогда не зовет их даже на задний двор.

Дети появлялись примерно раз в неделю, встречая Майкла по дороге из школы или поджидая его у задней калитки дома.

Весенние ветры уже почти изгнали холодную зиму, а эти двое продолжали приходить. Их изъявления благодарности за подарки не стали ни теплее, ни многословней. Майклу удалось выпытать у них их имена. Мальчика звали Франс, девочку Энни. Еще он узнал, что родители их умерли, а сами они живут в резервате Грин-Пойнт.

За все время их знакомства они ни разу не прикоснулись друг к другу, за исключением тех коротких моментов, когда Майкл передавал им какой-нибудь очередной подарок. Однако иногда Майклу хотелось, чтобы дети теплей благодарили его. Ну что им стоит, думал он, взять его за руку и с благодарностью пожать ее. Или упасть на колени и заплакать, ну хоть бы один только раз. Он испытывал удовлетворение, представляя, как, вернувшись в грязный вонючий резерват, эти оборванцы рассказывают о нем своим друзьям и как те, не веря своим ушам, слушают их сказки о добром маленьком баасе, таком щедром и великодушном.

Однажды Майкл вынес им особенно дорогую для него вещь — авторучку и карандаши в прекрасном футляре, подарок к последнему дню рождения. Вообще-то он не собирался показывать им свой подарок, а тем более отдавать его. Ему просто хотелось, чтобы еще кто-то разделил с ним его радость.

Однако, заметив, как жадно Франс и Энни устремили взгляды на открытый футляр, он сразу понял свою ошибку.

— Это не для вас!— сказал он резко.

Дети зачарованно смотрели то на Майкла, то на коробочку.

— Вы можете только посмотреть.

Крепко держа в руках открытую коробочку, Майкл поднес ее поближе к африканцам. Ручка и яркие карандаши сверкали на темном бархате футляра. Наконец Франс поднял голову.

— Какая красота,— прошептал он. Его рука сама собой потянулась к коробке.

— Нет,— отрезал Майкл, прижав футляр к себе.

— Баас...

— Нет!

Майкл невольно отшатнулся от их умоляющих глаз и протянутых рук.

— Это мне, баас? Пожалуйста.

— И мне тоже, баас,— вторила Энни.

— Нет, нет, это не для вас.

Майкл чуть не рассмеялся, до того нелепым показалось ему желание этих попрошаек завладеть его сокровищем. Он уже сожалел, что вынес из дому коробку, и в нем поднялась злость на них за то, что они осмелились просить ее. Никогда еще не отваживались они просить что-нибудь, кроме хлеба.

— Пожалуйста, баас. Она такая красивая! — Голос протяжно прозвучал и замер на последнем слове.

— Кра-сивая,— словно эхо подхватила Энни.

— Нет, я не дам. Я вообще вам больше никогда ничего не дам, если вы еще будете клянчить. Слышите?

Они отвели взгляд, руки их отдернулись сами собой, головы опустились.

Поняв, что справился с ними, Майкл смягчился.

— Ладно, я велю Доре принести вам хлеба.

Две минуты спустя Дора вошла в его комнату. Хлеб на тарелке лежал нетронутым.

— Оборванцы ушли!

Майкл знал, как Дора ненавидит этих детей, и сейчас он уловил злорадство в ее голосе. Не поверив Доре, он ринулся за калитку. Улица была пуста. Дети ушли. Выходит, он сам прогнал их. Однако это ничуть не испортило ему настроения. Напротив, он даже испытал некоторое облегчение.

Когда спустя несколько дней они снова появились, Майкл не почувствовал к ним ничего, кроме презрения. Явиться после всего случившегося! Нет, теперь-то уж они у него в руках.

— Ага, вы вернулись?—приветствовал их Майкл.— Проголодались небось и соскучились по своему Stukkie brood? Сегодня вы будете ждать? Сегодня вы никуда не убежите?

— Да, баас,— сказали они одновременно еле слышно. Майкл вынес им хлеб. Но когда руки жадно протянулись за хлебом, Майкл быстро спрятал тарелку за спину. Он рассмеялся, заметив недоумение на их лицах. Но потом все же сжалился.

— Спасибо, баас.

— Спасибо, баас.

На сей раз они съели хлеб в присутствии Майкла. Глядя на них, он немного смягчился.

— Хорошо, можете прийти через неделю, я вам опять дам хлеба.

— Спасибо, баас.

— Спасибо, баас.

Однако они явились не через неделю, а раньше. Майкл дал им хлеба и велел поскорей уходить. Они ушли, но в другой раз явились всего через два дня, опять не выдержав установленного недельного срока.

— Stukkie brood, баас!

— Почему вы проголодались так быстро?— спросил Майкл, но хлеб все же дал.

Теперь, когда эти оборванцы появлялись в воображаемых играх Майкла, он уже не спасал и не исцелял их, не дарил им в порыве великодушия автомобили и даже целые королевства. Теперь он командовал ими или давал опасные поручения, безжалостно расстреливал за трусость и малодушие. А так как ненависть и неприязнь легче было перенести из воображаемых игр в действительность, чем былую доброжелательность, Майкл вскоре начал по-настоящему третировать попрошаек.

Он вынуждал их часами простаивать за калиткой или прогонял, заставляя приходить в тот день, когда заведомо знал, что его не будет дома. Иногда Майкл врал, что в доме нет хлеба. И если теперь он и давал им что-нибудь, так только хлеб. Никаких старых игрушек, никакой одежды. Шли недели, презрение сменилось нетерпимостью и раздражением, которые перерастали в ярость. Больше всего его бесило, что дети оказались такими глупыми и не сумели понять, как он к ним переменился, и, вместо того чтобы стараться реже попадаться на глаза, они, как нарочно, стали приходить чаще.

Дети появлялись чуть не каждый день, несмотря на то, что он часто заставлял их петь, танцевать, кувыркаться, часами простаивать у ворот. Они подчинялись всем его прихотям, и только один приказ не желали исполнять — приходить один раз в неделю в установленный день. Они подкарауливали Майкла, спрятавшись в тени деревьев на главной дороге, когда он возвращался из школы, или поджидали его у задней калитки дома, стоя босыми ногами на песке. Они

по-прежнему были молчаливы, но теперь в их молчании чувствовалось непреклонное упорство.

Майкл пробовал ходить домой другой дорогой, но их не так-то легко было провести. Все равно у самой калитки он натыкался на них. И с какого бы хода он ни входил в дом, с главного или через калитку, он не мог обойти их скорбных, одиноких, безмолвных фигур.

Наконец Майкл сказал им, чтобы они убирались и больше не смели появляться. Он давно собирался так поступить, но ему было как-то стыдно, или, вернее, он боялся потерять чувство собственного достоинства. Со дня на день он откладывал это решение, позволяя им приходить то через неделю, то через две. Но однажды все же решился.

— Все,— сказал Майкл,— конец! Больше никакого хлеба! Проваливайте отсюда! И если вы еще хоть раз покажетесь, я заставлю садовника вытолкать вас в шею.

Тогда они стали приходить ежедневно. Правда, теперь они больше не стояли у задней калитки, а садились на песок поодаль от узкой тропинки и не спускали с нее глаз. Дети не приближались к Майклу, когда он проходил мимо, но ему некуда было спрятаться от их укоризненных взглядов.

Он кричал, топал ногами, иногда прогонял их, однако пустить в ход кулаки не решался. Как-то он послал садовника прогнать попрошаек, но садовник, который до сих пор поддакивал Доре, вернулся злой, что-то неразборчиво ворча себе под нос. Посмотрев на дорожку, Майкл увидел, что дети сидят на прежнем месте.

Майкл пытался делать вид, будто не замечает их. О, как он их ненавидел! Более того, он начал бояться маленьких африканцев. Но Майкл и сам не осознавал, до какой степени он их ненавидит и боится.

Однажды, простудившись, он заболел и пролежал несколько дней в бреду. Все это время двое маленьких оборванцев ни на минуту не покидали воспаленного воображения мальчика. Он то отстреливался от них автоматными очередями, то убегал по тропинке, усыпанной таким толстым слоем песка, что ноги вязли в нем, и он никак не мог их вытащить. Как-то Майклу приснилось, что он истязает полураздетую

девочку. Диким воплем о помощи оглашал пустынную улицу ее брат. Тогда Майкл стукнул его что было сил тяжелым железным прутом по голове и сам ужаснулся совершенному. Широко раскрытые глаза африканца смотрели на него в упор не мигая...

Майкл проснулся, удивляясь внезапно наступившей тишине. Видимо, он начал выздоравливать. Он не мог понять, сколько времени проспал. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как он видел эти страшные сны, и в то же время он чувствовал, будто они только-только его покинули. Майкл сбросил с себя одеяло, давившее на него своей тяжестью. В доме стояла гробовая тишина. Он встал и прошел на кухню взглянуть на часы. Было около полудня. Дора и садовник Ян, как обычно, спали после завтрака в своих каморках во дворе. Солнечные лучи, не жалея сил, ярко освещали все вокруг. Майкл вернулся в спальню, надел халат и сунул ноги в шлепанцы, ощутив их приятную прохладу. Он бесшумно прошел через кухню, миновал веранду с задней стороны дома и спустился во двор. Воздух словно раскаленными щипцами схватил и обжег его шею. Солнце было таким ярким, что Майкл мог смотреть только на свою тень, распластанную перед ним на земле.

Майкл открыл заднюю калитку. Как он и предполагал, эти двое сидели на прежнем месте, поджидая его. Не желая выходить на улицу в халате и шлепанцах, Майкл прикрыл одной рукой глаза от солнца, другой поманил их к себе. Они поднялись дружно, но молча и стали пересекать улицу. Казалось, они шли целую вечность, но вот наконец приблизились к Майклу.

Дети стояли, крепко схватившись за руки. Майкл всматривался в их черные лица, как будто впервые увидел их. Они не отрываясь смотрели на Майкла.

— Кого вы здесь ждете?

— Тебя,— сказал Франс.

— Тебя,— повторила Энни.

Майкл перевел взгляд с одного на другого и вдруг ясно вспомнил, что он делал с ними во сне. Их глаза были черными, бездонно черными. И смотря в них, он отчетливо осознал то, что уже смутно понял давно:

их влекли к нему не надежды, не симпатия и даже не укор, их притягивала к нему ненависть. Они испытывали к Майклу те же самые чувства, что и он к ним. То, что он проделывал с ними в своих снах, дети проделывали с ним в своих. Яркий солнечный свет, болезненное напряжение последних дней, их глаза и его собственный страх — все сплелось в один комок и вылилось в истерический крик, повисший в недвижном воздухе над пустынной тропинкой. Майкл чувствовал, как слезы безостановочно текут по его щекам, как в этих слезах готово выплеснуться его сердце. И если в своих снах он всегда наперед знал, какие пытки им уготовит, то сейчас он так же твердо знал, как ему следует поступить.

Майкл поманил их к себе. Дети приблизились. Майкл протянул к ним свои руки, ощутил под пальцами жесткие упругие волосы, на которые так часто смотрел с близкой, но такой далекой дистанции. Он почувствовал, какой гладкой была на их лицах кожа, какими хрупкими и беззащитными были их плечи и руки. Он взял их за руки и повел через калитку, через двор, через веранду и кухню в свой дом, в свою комнату, где они еще никогда не бывали.

Дети с удивлением смотрели на стены, увешанные картинами, на игрушки, расставленные в низком шкафчике, на белые измятые простыни и сбитое одеяло на его кровати.

Впервые за все время их губы тронула слабая печальная улыбка. И Майкл знал: сейчас он должен дать им что-то поважнее игрушки, или старой рубахи, или куска хлеба, и он понимал, что это будет очень трудно. Но оказалось, что это совсем не трудно — ведь ничего другого он просто не мог им сейчас дать.

Он повернулся к Энни, взял ее голову в свои руки и, нагнувшись, поцеловал в губы, всем своим существом ощущая запах ее темной кожи, биение сердца и слабый трепет ее губ. Потом он так же нежно поцеловал Франса.

— Что бы вы хотели теперь?— спросил Майкл.

Но Франс лишь отрицательно покачал головой, не дав Майклу в последний раз проявить свое превосходство. Наконец Франс потянул за руку сестренку и попятился к двери. Затем он повернулся и быстро пошел через кухню к выходу. Дойдя до дверей кухни,

он на секунду остановился, повернулся к Майклу и, подняв руку, помахал на прощание. Энни во всем подражала брату. Майкл не последовал за ними. Он лишь услышал, как скрипнула и затем хлопнула задняя калитка.

Майкла снова потянуло в кровать. И едва он коснулся подушки, как чувство усталости вдруг сменилось горьким сознанием того, что он уже пролежал в этой постели много дней и, видимо, никогда больше не встанет.

Майкл пролежал в постели еще много недель. Болезнь его осложнилась, но уже ни разу ему не снились картины насилия. Его сны стали спокойными, светлыми и безлюдными. Такой же безлюдной и одинокой оказалась тропинка за задней калиткой, куда он вышел, едва ему разрешили встать, чтобы посмотреть, ждут ли его дети.

Он никогда больше их не видел, хотя искал на всех улицах и дорогах своего города. Ему попадались десятки, сотни похожих ребят, но тех двоих, которых так сильно жаждал найти, он так никогда и не встретил.

ЯЩИК

Мы с братом много лет разводили голубей. В конце заднего двора стояла наша голубятня, и мы были членами Общества молодых любителей голубей города Линдхерста. Мы обычно отправляли наших голубей на юг в Уинтертон или Дорс-Ривер, а бывало, и дальше, в глубь равнины по железнодорожной ветке к Мирредал и Платкопс. Случалось, что все птицы возвращались домой, а иногда лишь некоторые из них. На соревнованиях Общества, помнится, мы вошли в число призеров лишь однажды, но все равно тщательно ухаживали за голубями, наблюдали, как они находят себе пару, как выводят птенцов, как летают, отмечали характерные для каждого из них особенности.

Когда наше увлечение достигло высшей точки, мы сумели заразить им даже Яна Лау, нашего слугу-африканца. Он, бывало, смеялся над нашей привязанностью к птицам, но в конце концов и сам заинтересо-

вался ими и с удовольствием наблюдал за их полетами.

— Вот эта непременно вернется домой,— говорил он, указывая на голубку Ясноглазку с голубой каймой на крыльях,— а этот наверняка заблудится.

Голубь, на которого указывал Ян, сидел с сонным видом, равнодушно перебирая клювом перышки. Ян нередко ошибался в своих предсказаниях, слишком полагаясь на размеры птицы, но часто бывал и прав. Для него большой голубь всегда был хорошим. Если он ошибался, то мы, конечно, подсмеивались над ним.

— Вот увидите, в следующий раз будет так, как я сказал,— улыбаясь, отвечал он нам.

У Яна была гладкая желтоватая кожа и небольшой нос, который он морщил совсем по-мальчишечьи, когда смеялся. Но во всем остальном, как в своих привычках, так и во внешности, этот парень казался старше своих лет. Он уже начал полнеть, так как работа по дому была не слишком обременительной, и мой отец нередко говорил о слугах:

— У себя дома им и не снилась еда, которую они получают у нас.

Чем больше Ян полнел, тем самоуверенней становился. Его ничем нельзя было поколебать. И если Ян говорил, что птица домой не вернется, а она все же возвращалась, его это ничуть не смущало. «Значит, в другой раз обязательно заблудится»,— стоял он на своем. Примерно так же вел себя Ян и в тех случаях, когда его просили заклеить проколотую велосипедную камеру. Он этого не выполнял, но и не думал оправдываться или извиняться. Он просто самоуверенно улыбался и предлагал нам топать в школу пешком. За работу он принимался только после приказания отца. Тогда на крыльце позади дома он снимал камеру, приносил клей, таз с водой и начинал заделывать прокол. Работая, он без умолку болтал — рассказывал нам всякие истории о зубастом чудовище, хватавшем тех, кто один уходит в вельд, о том, как однажды во время танцев прямо на его глазах закололи кинжалом человека, о деревушке Гонг-гонг и алмазных копях, где он родился, и о том, как его пытались арестовать за якобы незаконную скупку алмазов, когда ему было всего шестнадцать лет. Рассказчиком он был не блестящим, его самого эти

истории мало интересовали. Камера скользила в его руках, когда он протягивал ее в тазу, под водой он крепко сжимал ее, и на поверхность вдруг струйкой всплывали крохотные пузырьки. «Вот она, дыра! Сейчас мы ее заклеим». Говорил он на странной смеси английского с африкаанс, окрашенной теми резкими высокими нотками, которые свойственны интонации цветных Кейптауна.

Куда больше, чем собственные рассказы, его интересовали всевозможные слухи и сплетни, в особенности если они касались нас, трех его молодых хозяев: мастера[1] Дэнди, мастера Хитча и мастера Йошвы — так, по крайней мере, звучали наши имена в его устах. Охотней всего он разглагольствовал о нашем будущем. К нашей реальной повседневной жизни он не проявлял интереса, ибо она, как мне кажется, была за пределами его понимания. Успехи или неудачи в школе, соревнования по регби, праздничные маскарады — до всего этого ему было мало дела. Но зато о нашем будущем он мог говорить часами. С той же самой уверенностью, с какой предрекал возвращение голубей, он строил планы нашей будущей карьеры. Мастеру Дэнди, например, предстоит заняться политикой, всем ясно, как крепко он любит себя. Мастер Йошва будет ухаживать за девушками слишком усердно, чтобы думать о делах. Мастер Хитч, напротив, преуспеет в делах и станет самым богатым человеком в Линдхерсте. Глаза Яна жмурились, а лицо блестело от ярких лучей солнца, он сидел на корточках, и сквозь дыру в штанах просвечивал кусочек на удивление нежной коричневой кожи, зубы ослепительно блестели, нос морщился. Он улыбался нам с заднего крыльца дома.

— Да, да, мастер Йошва, вы будете ухаживать за девушками. Я уже и теперь вижу, как они вам нравятся.

Мы частенько спорили до хрипоты относительно его предсказаний.

Он знал несколько песен и, работая, любил напевать. Иногда мы сами просили его спеть. Одна из песен была его собственной вариацией популярной в то время мелодии «Я сижу на вершине мира». Еще

[1] Мастер — молодой господин, сын хозяина (*африкаанс*).

была одна очень красивая песня на африкаанс, слова которой, насколько я помню, были такими: «Есть на свете ровная долина, там собирают арбузы, красные, как кровь, и сладкие, как сахар. Они похожи на запретный плод».

Работал Ян в общем прилежно. Впрочем, дел у него было не слишком много. Он что-то делал в саду, но заниматься садоводством в Линдхерсте было почти безнадежной затеей. В нашем же саду росла лишь колючая трава «кикию», да было несколько клумб с петуниями. Он стелил в доме кровати, натирал полы, чистил ботинки, убирал ванную комнату. Пищу готовила Дора, его тетка. После полудня они уходили к себе и все жаркое время дня спали, почти до половины четвертого, когда мы возвращались из школы и шумно требовали сандвичей и молока.

Вообще-то отношения между нами и слугами были довольно безразличными, по крайней мере с нашей стороны. В большинстве случаев, если у нас находились занятия поинтереснее, мы их вовсе не замечали. И поэтому, когда я увидел однажды, как Ян возится с ящиком из-под масла, которые мы обычно использовали в качестве гнезд для новых пар голубей, я не придал этому никакого значения. Помню, он занимался этим ящиком целый день, что-то прибивал, напевая, но я так и не подошел к нему и не спросил, чем он так увлечен. «Наверное,— подумал я,— мастерит что-нибудь для своей комнаты, куда мы избегали заходить». Там стояла дешевая мебель, железная кровать, к стене был приколот яркий цветной календарь, и вся она была пропитана запахом Яна, или, как мы просто считали, запахом кафра.

В тот вечер, когда я возвратился после игры в крикет на поляне через дорогу от дома и в ушах у меня все еще звучали шум и крики ребят, а глаза слипались от усталости, потому что мы напрягали зрение, чтобы еще хоть раз попасть по мячу, неожиданно вырывавшемуся из темноты и несущемуся к бите, Ян ждал меня на крыльце позади дома.

— Послушайте, мастер Дэнди, вы должны обязательно пойти со мной,— сказал он и кивком поманил во двор.

— А в чем дело, Ян?

Но он вел себя загадочно и молча продолжал идти

в глубь заднего двора. Я, теряя терпение, следовал за ним.

— Посмотрите, мастер, что я сделал для голубей.

Ян протянул мне ящик. В темноте я не мог ничего разглядеть, и нам пришлось вернуться к крыльцу. Там, при свете, проникавшем через открытую дверь кухни, я увидел его сооружение. Мое нетерпение сменилось недоумением. Ящик стал непригодным для голубей. Несомненно, он много потрудился над ним: впереди была приделана небольшая приступка, затем следовал маленький отсек и вход в другой отсек, разделенный горизонтально на два этажа, нижний, и верхний. Вторую половину ящика занимал один большой отсек с полочкой по стенкам. Все было выполнено отлично, но ящик стал совершенно бесполезным, потому что не было места для подраставших птенцов, к тому же голуби вряд ли стали бы использовать все эти перегороженные отсеки. Мне стало ясно, что Ян трудился напрасно, но говорить ему об этом мне не хотелось.

— Очень мило, Ян,— сказал я и еще раз осмотрел ящик.

Улыбка волшебника, гордого своим творением, была написана на лице Яна.

— Мастер Дэнди, наверно, и не знал, что я могу делать такие красивые вещи?

— Да, не знал.

— Я показывал мастеру Йошве, и он сказал, что я все очень ловко сделал.

И он с жаром стал объяснять мне устройство ящика, рукой показывая, как голуби могут пройти через дверцу и отдохнуть здесь. Рука его замирала, будто отдыхая. А если голубю захочется вылететь, то он сможет сделать это вот так. И рука его вылетала из ящика.

— Очень хорошо, Ян. Это прекрасный ящик.

Мне хотелось есть, и я поспешил в дом.

На следующий день была суббота, не надо было идти в школу. Рано утром я подошел к клетке с голубями, чтобы посмотреть, не вылупился ли птенец из яйца, на котором беспокойно сидела Ясноглазка. Я выпустил голубей на утреннюю прогулку, и они закружили над голубятней, плавно махая крыльями.

Они летали низко, хотя день был ясный и небо было чистым, все предвещало жару, и в воздухе чувствовались лишь слабые признаки суховея из глубины выжженной степи. Я уже давно собирался смастерить гнездо для новой пары голубей и направился в дровяной сарай посмотреть, нет ли там, среди угля, строительных материалов и разного хлама, подходящего ящика, но ничего не нашел. Ящик Яна, тот самый, над которым он трудился, стоял на крыльце, где он мне показывал его накануне вечером. Мне не хотелось трогать его, хотя я и понимал, что это все равно была нелепая, никому не нужная вещь. Я выдрал перегородки, полки и все остальное, приделал крышку, как на всех ящиках, где были устроены гнезда, и отнес его в голубятню. После того как птицы вернулись и я загнал их на место, я посадил пару голубей в их новый, простой дом. Остаток дня прошел как и все другие субботние дни: мы бесцельно носились по улицам, играли на поляне за домом, где на камнях то и дело появлялись юркие ящерицы.

Вечером Ян спросил меня, куда делся ящик.

— Я отнес его в голубятню.

— Значит, он в голубятне? Пойду посмотрю.

Очень скоро он вернулся обратно.

— Я не нашел его, мастер Дэнди.

— Говорю тебе, он там. Я посадил в него голубей.

— Ах, тот, закрытый... Но это не мой ящик, мастер Дэнди.

— Твой. Только я вытащил из него все дощечки, которые ты туда насовал. Они непригодны для голубей.

Он так и остался стоять с открытым ртом. И в первый раз с начала нашего разговора я почувствовал, что допустил какую-то оплошность.

— Они непригодны для голубей,— повторил я.

— Как это...— начал было он, но вдруг резко повернулся и ушел.

Снова наступили сумерки, и снова мы были на заднем дворе. Ян направился в голубятню, и я услышал, как он вошел внутрь. Голуби захлопали крыльями, растревоженно закричали. Меня заинтересовало, что же он собирается там делать, и я бегом бросился в конец двора. Ян вышел из голубятни, держа в руках свой ящик.

— Что ты натворил?— набросился я на него.— Ведь я посадил туда пару.

— Что я натворил?— переспросил он.— А что вы натворили?— Он протянул мне ящик.— Взгляните только на мой ящик.

Он придвинул ящик поближе ко мне.

— Взгляните только на мой ящик,— повторил он и вдруг заплакал.

Первым моим чувством было удивление, никогда раньше я не видел, чтобы взрослые плакали. Я просто смотрел, как странно морщилось его лицо, нос собрался в складочки, как это бывало, когда он смеялся, а слезы медленно текли по щекам. Он стоял не двигаясь, лишь иногда всхлипывая. Стоял и плакал, держа в руках свой ящик.

Мне ничего не оставалось делать, и я сказал:

— Извини меня.

Но это не помогло. И хотя я сожалел о случившемся, искренне сожалел, мое удивление было намного сильнее раскаяния. Я не мог понять, почему он горюет так сильно, меня поразило, что можно так расстроиться из-за какой-то никчемной поделки. Думаю, что мое отношение к этому случаю объясняется довольно просто: я не знал, что они способны на такие чувства. Они — это все те цветные и черные, которых я видел ежедневно, принимая как должное и их рабское положение, и их лохмотья, и все особенности их существования. Мне они казались странными, даже таинственными людьми. Одним я симпатизировал, других боялся, но они оставались за каким-то непреодолимым барьером, даже в тех случаях, когда мы вместе играли или слушали их рассказы. Этот барьер возникал потому, что они просто не способны чувствовать. Правда, некоторые эмоции были им свойственны. Я сам видел, как они сердились, смеялись или покорно молчали, когда их ругали белые. Но все это были какие-то ненастоящие эмоции, не такие, как, например, у меня. Это были переживания черных, резко отличавшиеся от моих. И вот теперь Ян переступил этот барьер. Он плакал так, как мог бы плакать и я. Между нами не было никакой разницы. Передо мной был живой человек, и он плакал.

— Не плачь, Ян, ты сделаешь другой ящик,— утешал я его.

Но я не мог дотронуться до него, не мог обнять его. Он по-прежнему оставался черным.

— Ну, Ян, ты сделаешь другой ящик,— крикнул я громче, понимая, что, не обняв его, я вновь совершил предательство.

Он пошел прочь от меня, унося с собой ящик. Я пошел за ним следом, звал его, но он не откликался. Он вошел в свою комнату и захлопнул дверь. Я постучал, но он не ответил. Я перестал стучать и отправился домой.

Конечно, вскоре мы с Яном снова восстановили дружбу, но мое отношение к нему изменилось, стало другим. Мы оба что-то потеряли, а возможно, и приобрели. Мне кажется, что у него в душе затаились остатки обиды и гнева. Я же впервые стал ощущать в его присутствии смущение и неуверенность, поняв, что многого не знаю о нем и о других черных, что во всех них есть нечто такое, что прежде было сокрыто от меня.

Однако вскоре Ян оставил работу у нас и пошел в армию. Началась война, он вступил в Кейптаунский туземный корпус, и его отправили из Линдхерста. Однажды он все же заглянул к нам. Как же он возмужал! Ему шла военная форма, и он очень гордился ею. Совершенно случайно мой старший брат, который тоже служил в армии, приехал в это время в отпуск домой. Ян был этим очень обрадован.

— Вот, мы теперь оба служим у Яна Смэтса[1],— сказал он, и все мы весело засмеялись.

Ян выглядел постаревшим.

В общем-то на нашу долю не выпали те нередкие печальные и неприятные переживания, которые возникают, когда бывший слуга часто навещает своих хозяев, а дети растут, пропасть между ними и слугой все ширится, и приходится притворно улыбаться или предаваться воспоминаниям, которые никому не доставляют удовольствие.

Какими бы бездумными и жестокими ни были поступки в детстве, они, по крайней мере, свободны от чувства неловкости, вызываемого различием в цве-

---

[1] Ян Христиан Смэтс (1870—1950)—политический деятель Южно-Африканской Республики. Участвовал в англо-бурской войне на стороне буров. После образования ЮАР (1910) занимал ряд министерских постов, был премьер-министром ЮАР.

те кожи. А оно, это чувство, становится не просто завесой, сквозь которую рассматриваются поступки людей, но и путами на всем теле, без которых человеку кажется, что он обнажен и пристыжен.

Но как я уже сказал, на нашу долю эти переживания не выпали, потому что Ян был убит под Эль-Адемом, недалеко от Тобрука в сражении против немцев в Западной пустыне. Мы узнали об этом от Доры. Она по-прежнему заходит к нам, хотя уже давно у нас не работает. Она почти совсем ослепла от катаракты, и мы освобождаемся от чувства жалости и вины, откупаясь при каждом ее посещении то пятью шиллингами, то старым одеялом, то кофточкой моей сестры, то фунтом сахара.

ДЖЕК КОУП

Видный романист, новеллист, поэт, популяризатор африканского фольклора. Его произведения проникнуты духом борьбы против расизма.

Родился в 1913 году в провинции Наталь (ЮАР). Работал журналистом в Дурбане, в Лондоне, откуда в 1939 году вернулся в ЮАР. Был секретарем Южно-Африканской ассоциации деятелей искусств, а в последние годы — редактором литературного журнала «Контраст». Живет в Кейптауне.

Произведения Дж. Коупа известны во многих странах мира. Наиболее значительный его исторический роман «Прекрасный дом» (1955) трижды издавался в СССР. В Советском Союзе печатались также роман Дж. Коупа «Золотая иволга» (1958; русский перевод — М., «Художественная литература», 1970) и сборник рассказов «Прирученный бык» (1960; русский перевод — М., Издательство восточной литературы, 1963). Большой популярностью пользуется сборник рассказов Дж. Коупа «Человек, который сомневался» (1967), а также романы «Заклинатель дождя» (1971) и «Ученик Зенда» (1972).

ДОРОГА НА СЕВЕСТРОМ

Он брел долго, с самого рассвета, еле передвигая ноги. День уже клонился к вечеру, хотя солнце, словно расплавленная масса металла, все еще ярко пы-

лало в раскаленном небе. Горы со всех сторон, невысокие, но крутые, островерхие, были как стены из черного железа и сланца, они дрожали в знойном мареве, но кое-где уже подернулись сизой предвечерней дымкой.

Старик поставил корзинку, в которой тащил кота Гома, и открыл крышку, чтобы выпустить его.

Кот не пошевелился, а лишь уставился на хозяина обиженными желтыми глазами. Эбрем достал из кармана маленький кусочек сушеного мяса и протянул коту, и Гом мгновенно выхватил его.

— Ого, так ты, пожалуй, и палец отхватишь.

Кот грациозно выпрыгнул из корзинки и, замурлыкав, устроился под кустом, чтобы полакомиться угощеньем.

Это было красивое животное рыжевато-коричневого цвета с длинными кисточками на кончиках ушей и пушистым хвостом. В жилах его текла кровь диких предков.

Эбрем снова посадил кота в корзинку, выпрямился и почувствовал, как закружилась голова и все поплыло перед глазами. Он нетвердой рукой провел по лицу. Ему привиделась ферма хозяина, вернее, призрак ее, вскоре превратившийся в мерцающую дымку. Все кажется ближе, чем есть на самом деле. Горы, скалистые и неприступные, по мере приближения к ним отодвигаются. За ними тянутся голубые отроги других гор, а еще дальше — нечеткие, расплывающиеся контуры еще каких-то вершин. Таков и твой путь к смерти — длинная дорога, неведомо где кончающаяся.

Время от времени взор старика вдруг прояснялся настолько, что все вокруг него приобретало яркость и четкость: еле заметный след на пыльной земле, бесцветный песчаный паук или дрозд, внимательно следящий за путником из-за камней. Вот перед ним два небольших холма, они увенчаны красноватыми скалистыми вершинами и похожи издали на часовых, охраняющих равнину. Холмы эти он знал как свои пять пальцев, но и они вскоре стали расплываться и таять. Эбрем был стар, ему перевалило за восемьдесят, лицо его давно уже приобрело желтовато-коричневый оттенок и каменную неподвижность. В жесткой бороде еще сохранились черные волосы, у него был ко-

роткий прямой нос, унаследованный, видимо, от какого-то белого предка, а глаза, черные и застенчивые, поблескивали, как у молодого. Он держался прямо, не горбясь, только походка была уже медленной и усталой.

Когда он приблизился к двум холмам, навстречу ему, вертясь вьюном и подпрыгивая, словно гонимый ветром, побежал маленький мальчик. Это был Коот — его правнук. Он был такого же цвета, как и все вокруг — пыль, скалы, кустарник. На нем был старый, в два раза больше его самого пиджак, который развевался, как крылья летучей мыши. Длинные, всклокоченные волосы мальчика были густо покрыты пылью, он мчался навстречу старику, широко раскинув в стороны руки и приплясывая худыми босыми ногами от безотчетной радости, что просто живет на этом свете.

Коот носил ту же фамилию, что и старик,— Зваан. Его родители умерли, и он жил у ма Мари в одном из бараков для работников фермы. Среди работников окрестных ферм и поселков были и другие Звааны, но никто из них не притязал на родство с Эбремом и Коотом и не интересовался ими, а разница в возрасте у них была так велика, что и между ними родственные узы были весьма слабы.

Коот взял в руки корзинку и, заглядывая внутрь через прутья, весело спросил:

— Это кто, рысь?

— Нет, кот Гом. Осторожно, он царапается.

— А что он ест?

— То же, что и я,— козье молоко и прочее. Иногда он ловит птиц или змей. Но кошкам нельзя позволять добывать себе пропитание только охотой, они от этого дичают и скоро умирают. Одичание губит их.

От постоянного молчания голос Эбрема звучал хрипло, иногда срываясь на свистящие, скрежещущие нотки. Эбрем жил один на Севестроме — отдаленном пастбище главной фермы, и месяцами ему не с кем было словом перекинуться, пока не пройдет по крутым и узким тропам двадцать две мили, чтобы добраться до фермы. Почти тридцать лет проработал Эбрем пастухом на этом самом Севестроме и жил один-одинешенек в маленькой, сложенной из камня

и крытой соломой хижине. Его жена давно умерла, и последние тридцать лет он управлялся без посторонней помощи, а теперь жизнь его подошла к концу. Он стал слишком стар, чтобы жить.

— А для чего ты его принес? — спросил Коот.

— Для того и принес.

— Для чего для того, Гроот Опа [1]?

Эбрем остановился и посмотрел на ребенка, лицо которого вдруг предстало перед ним с поразительной четкостью: в уголках рта и глаз прятались веселый задор, лукавство и ум.

Коот откинул со лба грязную прядь волос и улыбнулся.

— Эх, Гроот Опа, ты, кажется, малость спятил. Забываешь, что сказал, а чего не говорил.

— Хм. Может, я и спятил.

— Так зачем ты принес Гома?

— Ах, да. Я принес его потому, что все, баста. Грооту Опе пришел конец. Теперь понятно?

Зеленоватые глаза мальчугана затуманились, он моргнул и шлепнул рукой по корзине:

— Если тебе кот уже не нужен, можно, я возьму его себе?

— Ты возьмешь его, когда я умру.

— Умру, умру! Разве ты скоро умрешь? — И у мальчика брызнули слезы. Он бросил корзинку и рывком обхватил колено Эбрема.

— Не умирай, не умирай, Гроот Опа! Я убегу к тебе жить. Меня тут без конца бьют. Все время, все время, каждый день.

— Встань, малыш, пойдем!

— Если ты умрешь, мне не нужен никакой кот,

— Я еще не умираю, пока нет, малыш. Я напугал тебя, да? Гроот Опа просто устал и поэтому сказал, что с Севестромом покончено, только и всего. Гроот Опа больше никогда не вернется в Севестром. Ну встань, подними корзинку.

Они продолжали путь вместе. Мальчик без умолку болтал, смеялся, пел, так что голова у старика шла кругом. Время от времени ребенок ставил на землю корзинку, хватал камень и запускал в какую-нибудь птицу или ящерицу. Он вертелся волчком, полы его

[1] Прадедушка *(африкаанс)*.

пиджака развевались, и в косых лучах заходящего солнца он казался клочком бумаги, подхваченным смерчем. Для Эбрема ребенок был единственным близким существом, но и это он уже помнил смутно.

Коот загнал овечье стадо на ночь в недоступный для шакалов крааль[1] и теперь радовался, как дикий козленок, тому, что возвращается домой вместе с прадедушкой и котом Гомом. На ферме его действительно часто били. Он был воришкой, лгуном и проказником, и не выдавалось и одного дня, когда бы его кто-нибудь не поколотил — то сам хозяин фермы мистер Схалк Давел, то управляющий Хендрик Штольц больно стегали его ремнем по спине. Но чем сильней его наказывали, тем хуже он себя вел. Он тащил все, что плохо лежит, нужное и ненужное. Однажды, когда строилась дамба, он стянул динамит и попытался взорвать его, к счастью, безуспешно. Мистер Давел жестоко избил его. Коот никогда не воровал только у ма Мари, приходившейся ему дальней родственницей. Ма Мари частенько обнаруживала у себя на кухне то яйца, то консервированное мясо, то смятую кофточку, и тогда она, дрожа от страха, грозила Кооту, что отошлет его в пустынный Севестром, к прадеду.

— Можно, я буду жить с тобой, Гроот Опа? — неожиданно спросил мальчик.

Эбрем как-то неопределенно покачал головой и продолжал тяжело плестись по пыльной дороге.

Наконец они добрались до фермы. Уже наступил тот короткий период между закатом и сумерками, когда весь карру[2] как будто трепещет в огненно-красных лучах вечернего солнца и небо во всю ширь расцвечивается непрерывно меняющимися красками.

Коот носился вокруг, его лицо пылало в пунцовых отсветах заката, и на нем отражался такой неистовый восторг, словно ферму, усадьбу, амбар с люцерной, навесы для шерсти объяло пламя пожара. Он ринулся к ма Мари показывать кота, потом, оставив его в доме, выскочил и стремглав побежал в лавку, где работники фермы покупали продукты. Фонарь, раскачиваясь на балке, освещал управляющего Штольца и его помощников в то время, как они

---

[1] Крааль — загон для скота.
[2] Карру — каменистое плато.

взвешивали муку, фасоль, сахар и записывали сумму в долговую книгу.

Сам мистер Давел, человек лет сорока, смуглый, загорелый, с копной черных волос на голове, сидел за покрытым бумагой столом и наблюдал. Он перебрасывался шутками с покупателями и громко смеялся, закидывая назад голову и показывая крепкие зубы.

Почти каждый работник фермы, пастух, служанка и даже дети были по уши в долгу у него и всю жизнь тщетно старались вырваться из этой ловушки. Мало кто не числился в должниках у фермера. Разве что отдельные чернокожие, которые, не считаясь с законами, бродили, подобно теням, где-то на самом дальнем краю полупустыни, не имея ничего, кроме железной коробки за спиной да непомерной силищи в руках.

Эбрем подождал, пока последний покупатель получит хлеб, муку и соль, и тогда направился в лавку, низко склонив голову.

— А, это ты, Эбрем. Что привело тебя сюда раньше времени? — спокойно спросил мистер Давел.

— Нет, баас, это мое время, и оно наконец пришло.

— Что ты хочешь сказать, старик?

— Я отжил свое. Я... я ушел из Севестрома навсегда и вернулся домой умирать.

— Глядите-ка!

Фермер громко расхохотался, а Штольц взглянул на старика с суровой улыбкой.

— Что это тебе вдруг пришла фантазия умирать, и кто, между прочим, позволил тебе бросить овец? Что теперь с ними будет?

— С овцами? О, с ними ничего не будет. Ограда крепкая. Козы приведут их на ночь в крааль, а завтра пошлите другого пастуха.

— Другого пастуха? Нет, голубчик, ошибаешься. Ты сам вернешься туда.

— Но, баас, я слишком стар. Я отработал на вас, на вашего отца и вашего деда семьдесят лет. У меня больше не осталось сил.

— Хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, как ты намерен вернуть мне свой долг?

— Долг? Баас, но я ничего... ничего не должен.

— Как? Ты ведь еще ни цента не заплатил за похороны жены и за доктора, он дважды ездил к ней из Кромкамма.

— Жены? — Старик огляделся вокруг ошеломленный.— Но она ведь умерла больше... больше тридцати лет назад.

— Ну и что? Ведь это все же была твоя жена, Анна. Не ври, Эбрем. Нам все это влетело в четырнадцать фунтов. У меня все записано вот здесь, в этой долговой книге.

— Четырнадцать фунтов?

Мистер Давел рассмеялся, и, подойдя к старому пастуху, дружески похлопал его по плечу, и почувствовал, как в нос ударил кисловатый запах овчины.

— Так-то, старина, придется тебе отработать. Завтра я отвезу тебя к перевалу, и ты как раз успеешь загнать овец в крааль. Тебе еще рановато уходить на пенсию, да и вилла на морском берегу еще не готова для тебя, Эбрем.

Фермер громко рассмеялся, а мрачный Штольц выдавил из себя смешок. Они вытолкали Эбрема из лавки, закрыли ее, и мистер Давел, помахивая в полутьме керосиновой лампой, пересек двор, под его размеренными шагами похрустывал гравий.

Поздно вечером Эбрем подошел к двери кухни и попросил слуг позвать хозяина. Он долго ждал, примостившись в уголке у печки, пока не вошел мистер Давел в сопровождении двух белокурых дочерей в пижамах и с ленточками в волосах. За ужином фермер выпил, и теперь его лицо пылало.

— Вот мой долг, баас, четырнадцать фунтов.

Эбрем протянул маленькую пачку смятых бледно-зеленых банкнот Фермер еще больше покраснел, он явно смутился. На самом деле такого долга за Эбремом не числилось, и какое-то мгновение фермер не решался притронуться к деньгам, потом взял их, но продолжал держать в руке.

— Откуда они у тебя?

— Это мои деньги. Я их скопил.

— А как прикажешь поступить с двадцатью овцами, которых ты недосчитался два года назад? А-а! Ты даже вскочил! Ты заплатил мне за них? Я ведь знаю, ты продал их!

Фермер уже кричал, все больше и больше распа-

ляясь, а старый пастух безмолвно стоял перед ним, не решаясь поднять полные гнева глаза. Фермер в ярости повернулся к дочерям.

— А вы что здесь рты разинули? Марш отсюда!

Девочки пулей выскочили из кухни. Слуги неслышно прошмыгнули через заднюю дверь.

— Итак, ты должен мне еще шестьдесят фунтов за тех овец. И не спорь. Все эти годы я держал тебя и платил больше, чем ты заслуживаешь. Забирай свои деньги назад и отправляйся работать, пока я сам не решу, что тебе пора кончать. Понял? Завтра тебе надо быть на месте.

— Воистину неправедные сраму не имут...— тихо пробормотал старик.

— Что ты там сказал?

Но Эбрем уже повернулся и вышел во двор под усыпанное звездами небо. Далеко впереди сверкало море электрических огней. Воздух посвежел, выпала роса. Старик вынул из кармана рубашки кисет, висевший на бечевке у него на шее, и тщательно спрятал в него те самые четырнадцать фунтов, на которые надеялся купить себе покой и свободу.

Мистер Давел поднялся на рассвете, загрузил в «джип» пропитанные лекарствами брикеты соли для овец с Севестрома, прихватил черного батрака по кличке Длинный Пит, а сзади посадил Эбрема с его котом Гомом, упрятанным снова в корзинку.

Едва «джип» загрохотал по неровной дороге, выскочил Коот и с пронзительным воплем бросился вслед за машиной. Полы его старого пиджака трепетали, словно крылья у чибиса. Эбрем не видел и не слышал Коота. Старик потерял счет времени, пока они тряслись восемнадцать миль по ухабистой дороге и пока наконец «джип» не добрался до перевала, где Длинный Пит быстро разгрузил его. Фермер торопился назад.

Еще четыре мили до хижины и загона им пришлось карабкаться по узкой каменистой тропинке. Длинный Пит шел впереди с тяжелым грузом на широченных плечах, а старик плелся сзади, еле таща корзинку с котом. Временами кот поднимал зловещий вой, словно чуя, что его путешествие подходит к концу. Длинный Пит сбросил ношу у полуразвалившейся хижины пастуха и, вернувшись назад к

тропинке, не увидел старика. Наконец до его ушей донеслось мяуканье, и, ринувшись вниз, Пит обнаружил, что Эбрем упал в расселину между камней и лежит там, словно брошенный мешок. Шапка слетела у него с головы, и солнечные блики сверкали на сухом коричневом черепе с еще сохранившимися кое-где колечками волос.

— Что случилось, отец? — тихо проговорил, склонившись над стариком, Длинный Пит, и тот пошевелился, моргая темными потухшими глазами.

— Ничего, просто я очень устал, очень устал,— чуть слышно пролепетал он.

Пит легко взвалил старика на плечи, поднял корзинку и зашагал к хижине. Согнувшееся от старости дерево отбрасывало небольшое пятно тени. Здесь Длинный Пит бережно опустил пастуха на землю, прислонив его спиной к стволу. Шагах в ста от хижины на фоне раскаленного неба ярко поблескивали неподвижные металлические лопасти ветряной мельницы. Несколько овец и коз стояли под чахлыми кустами, тяжело дыша и склонив головы к корыту с водой.

Пит пошел к ветряку, чтобы набрать из желоба воды. Он поднес к губам старика ведро. И хотя вода была теплой и солоноватой, она все-таки оживила его. Старик вспомнил про кота и открыл корзинку. Кот лениво вылез, потянулся, зевнул и заскреб когтями о шероховатую жесткую кору дерева.

— Это не дело, дед, ты слишком стар, чтобы работать,— сказал Длинный Пит на резком, отрывистом африкаанс.

— Да, я слишком стар,— согласился пастух,— но баас ведь никогда не отпустит, никогда. Он злее своего отца и деда. Как уж те были жестоки, а этот оказался похлеще.

— Неужели весь мир принадлежит ему одному?

Эбрем кивнул, он давно уверовал в это, а черный великан громко рассмеялся.

— Баас говорит, что он всегда и во всем прав и справедлив — только он один.

— О-а! Вот как!

— Его послушать, так все остальные несправедливы.

— Ты его овечка, а мы бараны.— Длинный Пит

шлепнул себя по ногам и взорвался новым приступом смеха.— Но подожди, однажды и он найдет свою смерть на скотобойне.

Старый пастух в испуге поднял глаза, страх сжал его сердце.

Старик понимал, что бояться ему нечего, но ему вдруг почудилось, будто он спит у себя в хижине, а кто-то подкрался и сопит у трещины в стене.

— Зачем ты так говоришь? — хрипло спросил Эбрем. Но Длинный Пит продолжал смеяться.

Вскоре Пит опять отправился к перевалу, где фермер свалил свой груз, за новой партией соли для овец. Эбрем же сидел под деревом, время от времени впадая в дремоту. Весь день напролет Длинный Пит сновал туда-сюда, и штабеля брикетов соли все росли и росли у задней стены пастушьей хижины. Он был неутомим и, казалось, мог перетащить на своих плечах любую тяжесть с другого конца земли. Удаляясь по тропинке, он казался маленьким и черным, как уголек, а приближаясь, постепенно вырастал чуть ли не до размера ветряной мельницы и, шагая с высоко поднятой головой, как бы нес кусок неба на своих необъятных плечах. Старик не чувствовал жары. Он знал, что ему пора загнать и подоить коз, но он слишком устал. Длинный Пит сварил кофе, и они поели хлеба с луком и сушеной рыбы. Это немного подкрепило старика, он встал, осмотрел загон для овец, свою хижину, положил коту еды в железную миску.

Но когда под вечер Длинный Пит отправился в обратный путь на ферму, оставив старого пастуха одного, тот ощутил такую опустошенность, будто солнце покинуло землю раньше времени. Никогда не бывало с ним ничего подобного, но сейчас он не мог перенести одиночества и провожал тоскливым взглядом удалявшегося Пита до тех пор, пока перед глазами осталась лишь одна голая, раскинувшаяся у подножия гор долина.

Что-то тупо долбило мозг, и постепенно оно оформилось в воспоминание: вот малыш Коот с нежным лицом и сверкающими зеленоватыми глазами без устали вертится, крутится и приплясывает; этот ребенок, его плоть и кровь, так и остался для него загадкой.

Эбрем достал деньги и спрятал их в разных углах хижины. Руки его слегка дрожали и едва удерживали треснувший кофейник, куда он положил несколько золотых соверенов, полученных еще шестьдесят лет назад, во времена англо-бурской войны, когда он работал возчиком для английских войск.

Нары с матрасом, набитым бессмертником, стояли на прежнем месте. Старик понял, что ему никогда больше не придется спать на них, и отвернулся. Сухие брикеты овечьего навоза, приготовленные для топлива, громоздились пирамидой у двери, но старик и не подумал развести огонь. Он вышел из хижины, расстелил одеяло под деревом, сел, прислонившись спиной к стволу, и стал смотреть на закат солнца. Гом свернулся у его ног и принялся умываться, ловко облизывая лапку и поскребывая ею за ушами. Близлежащие холмы пылали то розовым, то ярко-красным, словно раскаленные кристаллы, а голубая линия гор над ними, казалось, уходила в бесконечность. Эбрем растянулся на спине, положил голову на корни старого дерева, руки скрестил на груди. Строгий и величественный, закинув вверх прямой нос и редкую бородку, смотрел он на последние всплески заката, потом веки его сомкнулись.

Ночью кот, подняв дыбом шерсть на спине и хвосте, одним прыжком вскочил на дерево и оттуда —на крышу хижины.

Три недели спустя удравший с фермы Коот прибежал в Севестром, в поисках убежища у своего прадедушки. Все его худенькое тело болело после очередных побоев, которые на этот раз достались ему и от мистера Давела, и от управляющего Штольца. Они били его по очереди. Он вовсе не хотел поджечь амбар с люцерной. Но кто-то помимо его воли, какой-то дьявол, как сказала ма Мари, проник ему в сердце, и он просто не смог с ним совладать. Не иначе как дьявол заставил его чиркнуть спичкой и поджечь сухое хрусткое сено. Это было неописуемое, ужасающе прекрасное зрелище — столб пламени взметнулся вверх, ярко осветив ночь. Казалось, они вышибли из него душу, и он действительно был полумертв, когда

его нашли лежащим плашмя у плотины с залитым слезами лицом.

Он как сейчас помнил все это и изредка всхлипывал, пока, пошатываясь на своих худеньких ножках, брел в Севестром.

Он добрался до хижины только к вечеру, но его острые молодые глаза еще издали заметили старика, спящего под деревом. Сначала он испугался и спрятался за валуном, но наконец собрался с духом и решился подойти поближе. Он опустил голову, съежился и поплелся, взбивая пыль на дорожке Он боялся, что старик заметит дьявола в его сердце. Подойдя ближе, он вдруг услышал зловещий вой кота и, подняв голову, увидел, как тот вскочил на дерево и тут же перепрыгнул с него на крышу хижины. Мальчик понял: случилось несчастье, и сердце его болезненно затрепетало.

— Гроот Опа!— позвал он, но старик не шевельнулся.

Мальчик медленно прокрался вперед. Да, так и есть. Гроот Опа мертв. Он умер уже давно и все лежал под деревом, скрестив на груди руки, закрыв глаза, в естественной позе, будто спал, высушенный солнцем, овеянный ветрами родного карру.

Коот даже не остановился. Он бросился прочь со всех ног. И так как во всем мире не было другого человека, которому он мог бы рассказать о случившемся, он помчался обратно на ферму к мистеру Схалку Давелу.

Тут же Штольц был послан в Кромкамму и вскоре вернулся с доктором Стейном — местным хирургом, и сержантом Мейером — начальником полицейского участка. Мистер Давел сел вместе с ними в «джип», и они выехали к перевалу, находившемуся на расстоянии восемнадцати миль от главной фермы.

Поскольку Коот обнаружил мертвого старика первым и приходился ему родственником, они разрешили и мальчику примоститься в «джипе» на полу у ног доктора. Доктор Стейн был болезненный молодой человек с тихим, мягким голосом и печальными глазами. «Джип» бросало из стороны в сторону, пока они бесконечно долго тряслись по камням и песку, а Коот, свернувшись на полу, как маленький звереныш, спал.

— Неужели вся эта земля ваша? — спросил доктор Стейн, глядя сзади в затылок фермера

— Да, здесь все мое,— подтвердил мистер Давел.

— Боже, что за местность!

— Согласен, выглядит она не очень красиво, но зато здесь отличная земля.

— Отличная земля? — с сомнением переспросил доктор.

— Для овец она великолепна. Чтобы содержать одну овцу, требуется всего десять моргенов земли, и если у тебя ее много, то все в порядке. Да и рабочая сила тоже обходится дешево.

Последние четыре мили им пришлось спускаться по скалистому склону горы пешком и продираться через колючий кустарник в долине.

Подойдя к хижине прадеда, Коот почувствовал панический страх и спрятался за спину доктора, иногда выглядывая, чтобы рассмотреть, лежит ли еще старик на прежнем месте.

— Смотрите!— пронзительно вскрикнул он. И все увидели: кот, ощетинившись так, что увеличился в размере почти вдвое, вскарабкался на дерево и оттуда перепрыгнул на крышу.

Когда доктор стал осматривать тело пастуха, Коот вышел из-за угла хижины. Сержант стоял рядом, уперев руки в бока, а мистер Давел уставился на ветряк, медленно вращавший крыльями на слабом жарком ветерке.

— Ну вот,— сказал доктор,— конечно, никакого насилия не было. Смерть была легкой. Взгляните на его лицо. Он умер по меньшей мере две-три недели назад, а выглядит так, будто его не коснулись ни смерть, ни тление.

Полицейский вошел в хижину, и Коот бросился прочь от двери. Ребенку хотелось взять кота себе. Ведь Гроот Опа обещал его ему. Корзина лежала на прежнем месте, рядом с деревом, и он с радостью унес бы Гома домой к ма Мари, если бы они позволили.

Полицейский нашел в кофейнике деньги — английские золотые соверены с профилем королевы Виктории на одной стороне и святым Георгием, убивающим дракона,— на другой. В расщелине стены он нашел и табачный кисет со старыми помятыми банкнотами,

Пока трое белых обыскивали хижину, Коот забрался на дерево, а с него на крышу, и стал ползать за котом, пока тот не разрешил ему себя погладить.

Они отыскали в разных местах еще семьдесят восемь фунтов, кроме тех золотых соверенов.

— Старик теперь может купить себе целое поместье,— засмеялся сержант Мейер.

Он сложил деньги, записал сумму в журнал и дал подписаться двум свидетелям.

— Кому достанутся эти деньги?

Коот слез с дерева. Ему удалось засунуть кота в корзинку, и сердце его ликовало. Он стоял на коленях рядом с корзинкой, что-то ласково нашептывал коту, благоговейно разглядывая через прутья его горящие глаза. Подошел полицейский, и мальчик вскочил.

— Можно мне взять кота, баас? — взмолился он.— Гроот Опа обещал мне Гома. Честное слово, это хороший кот.

Сержант Мейер расспросил ребенка о его семье. Мальчик отвечал еле слышно, где надо привирая и облизывая вспухшие, потрескавшиеся губы.

— Он может считаться ближайшим родственником старика,— сказал сержант, обернувшись к фермеру.— Кто-нибудь еще есть в живых?

— Насколько я знаю, нет.

— Тогда он сможет получить деньги, если не объявятся другие претенденты.

— Наверняка объявятся,— засмеялся мистер Давел.— Едва прослышат о деньгах, набегут со всех сторон. Но старик задолжал в первую очередь мне. Он остался мне должен четырнадцать фунтов за похороны жены, и еще шестьдесят — за тридцать пропавших овец, да и расходы по этим похоронам тоже лягут на меня, не говоря уже о том, что придется гонять туда-сюда машину.

— Понятно,— сказал сержант, уставившись на фермера в упор прищуренными голубыми глазами.— Ведь амбар ваш сжег этот чертенок?

— Именно он.

— Вы можете претендовать на имущество Эбрема Зваана, если представите нужные доказательства. Меня это уже не касается, мистер Давел. Доказательства потребуются судье.

— У меня есть все необходимые доказательства. Я предъявлю свои претензии Он задолжал мне более восьмидесяти фунтов

Сержант Мейер пожал плечами и обменялся взглядом с доктором.

— Парня выпороли?

— Да, он свое получил.

— А как быть с котом?

Коот с ужасом ждал ответа, но хозяин промолчал. Потом они заговорили о деньгах, которые пастух нажил за семьдесят лет своего каторжного труда, и полицейский сказал, пожав плечами:

— Какая была ему от них польза?

Молча они отправились в долгий обратный путь к перевалу, где оставили «джип».

Длинный Пит и другие придут сюда позже с гробом, чтобы забрать высохшее тело, но сейчас мысли Коота были заняты лишь одним — ему позволили взять с собой кота, и это было пределом его мечтаний. Он плелся, пошатываясь, за тремя взрослыми мужчинами, со своей корзинкой, которая с каждым шагом становилась все тяжелее, и его руки, и все тело ныло от боли.

Во время обратного пути на ферму он снова сидел в «джипе» на полу, у ног доктора, крепко прижимая к себе корзинку.

Когда кот вдруг начинал завывать, Коот шепотом, настойчиво старался успокоить его. Гом был его первой настоящей собственностью.

Коот так и уснул, уронив голову на корзинку, и ему приснился пожар со всем его ужасом, волшебством и безумием. Вот он стоит у дамбы, а Гом с крыши хижины прыгает прямо в огонь. Его шерсть и рыжий хвост вспыхивают ярким пламенем.

Доктор видел, как из закрытых глаз мальчика полились слезы и покатились по тонкому носу.

Потом доктор взглянул на крепкую, задубленную шею мистера Давела, на суровые горы, на иссиня-стальное небо и вспомнил слова: «Здесь все мое!»

АЛЕКС ЛА ГУМА

Родился в 1925 году в Кейптауне. Активный борец против апартеида. Неоднократно подвергался тюремному заключению по обвинению в государственной измене. В 1966 году покинул Южную Африку, в настоящее время живет на Кубе. В ЮАР все произведения писателя запрещены.

Книги Ла Гумы — «Скитания в ночи» (1962; русский перевод — М., «Прогресс», 1964), «И нитка, втрое скрученная» (1964, русский перевод — М., «Художественная литература», 1973), «В конце сезона туманов» (1972; русский перевод — М., «Художественная литература», 1973) неоднократно печатались в СССР и изданы отдельным томом (М., «Прогресс», 1975).

В 1970 году Ла Гума был удостоен международной литературной премии «Лотос», учрежденной Ассоциацией писателей Азии и Африки. Принимает деятельное участие во Всемирном движении сторонников мира.

КОФЕ В ДОРОГУ

Они миновали кукурузные поля и теперь ехали по дороге через обширную полупустынную низменность, испещренную рыжеватыми проплешинами и впадинами. Впереди, на юге, земля была усеяна низкорослым колючим кустарником и походила на огромный неподметенный ковер. А далеко справа при еле заметном утреннем ветерке нехотя вращались металлические крылья водяной помпы, будто ее только что разбудили и заставили выполнять изнурительную работу — выкачивать воду из тощей земли.

Машина мчалась на большой скорости по асфальту: шины взвизгивали на поворотах.

— Хочу еще сандвич,— пропищала Зейда откуда-то сзади, из-за тюков и чемоданов.

Ей было шесть лет, и ее уже порядком изнурило долгое путешествие, интерес к окружающему давно прошел, и сейчас она лениво привалилась к спинке, не обращая внимания на выжженные солнцем овраги да чахлые низкорослые деревца.

— Сандвичи в жестянке. Ты ведь и сама можешь взять,— сказала женщина за рулем, не отрывая глаз от дороги.— А ты хочешь еще, Рей?

— Нет, я уже сыт,— отозвался сидящий рядом с ней мальчик, пристально рассматривая через стекло заграждения из колючей проволоки.

— Еще далеко до Кейптауна, мамуля? — спросила Зейда, жуя сандвич.

— Приедем завтра к вечеру.

— А папа будет нас встречать?

— Конечно.

— Вон овцы,— проговорил Рей.

За окном пронеслась ферма — однообразные, как костяшки домино, строения, рассыпанные по выжженному коричневому склону.

Мать вела машину всю ночь и очень устала. Глаза ее покраснели от пыли и песка. Они останавливались на короткий отдых лишь один раз — прошлой ночью, приткнув машину прямо на окраине какого-то городишка, где нельзя было переночевать, потому что там все отели предназначались только для белых. И вообще во всех городах, которые они проехали, жили только белые, остальные, за исключением домашней прислуги, ютились в жалких трущобах за городской чертой. Кроме того, в этих краях у них не было ни одного знакомого.

Сразу после полуночи она снова пустилась в путь: дети безмятежно спали, а она вела машину всю оставшуюся часть ночи и на заре почувствовала себя совершенно измотанной и злой, однако изо всех сил крепилась, чтобы дети не заметили ее состояния.

У нее страшно болела голова, и, когда Зейда спросила: «Можно мне съесть еще пирожок, мамуля?» — она раздраженно воскликнула:

— О боже! Ты же прекрасно знаешь, где они, возьми и ешь!

Пейзаж раскручивался словно на киноленте, пущенной в обратную сторону,— красно-коричневый, желто-красный, розовый — повсюду редкий кустарник и валуны.

К востоку взору открылась огромная обнаженная скала, неожиданно выросшая из пересохшей земли, подобно гигантскому лиловато-пурпурному слоеному торту, неравномерно залитому сверху шоколадным

кремом. Машина промчалась по участку дороги, покрытому гравием, и красная пыль заклубилась за ней, словно дымовая завеса разгорающегося пожара.

Какая-то птица с длинным хвостом устремилась вслед за машиной, не отставая от нее и плавно скользя над кустарником вдоль дороги.

— Смотри, какая смешная птичка, мамуля! — вскричал Рей, прижимаясь носом к запыленному стеклу.

Мать не обращала внимания на восторг сына стараясь немного расслабиться, при этом она механически нажимала на педали.

Она думала, что было бы, пожалуй, лучше поехать поездом, но Билли писал, что ему очень нужна машина, так как без нее трудно поспеть во все концы. «Возможно, в Кейптауне дела пойдут лучше»,— думала она. Голова ее по-прежнему раскалывалась от боли, и ею владело одно-единственное желание — закончить это осточертевшее путешествие как можно скорее.

— Мне хочется кофе,— сказал Рей и протянул руку за термосом, лежавшим в сетке под щитком

Мальчик уже не нуждался в мелкой опеке и мог вполне позаботиться о себе сам.

— Дай мне тоже кофе,— раздался голос маленькой Зейды из-за саквояжей.

— Не будь жадиной,— сказал Рей,— только и слышно: дай, дай, дай.

— Ничего я не жадина, просто хочу немножко кофе,— обиделась Зейда.

— Ты уже пила утром.

— А я хочу еще.

— Жадина, жадина!

— Дети,— сказала мать устало,— перестаньте ссориться.

— Он первый начал,— надулась Зейда.

— Прекрати немедленно! — вспылила мать.

Рей отвинтил крышку термоса, вынул пробку и заглянул внутрь.

— Мам, там пусто,— разочарованно сказал он,— нет ни капли.

— Очень жаль,— промолвила мать.

— Я хочу пить,— захныкала Зейда,— я хочу кофе.

— Ладно, ладно,— сказала мать устало,— но тебе

придется немножко потерпеть, купим кофе где-нибудь по дороге. Подожди чуть-чуть, хорошо?

Солнце повисло медным пятном на плоском голубом небе, и вся долина желто коричневая, сухая, как гигантский поджаренный ломоть хлеба, дрожала в жарком мареве.

Мать вела машину из последних сил, ее мысли мешались, и в висках стучало.

Под ее глазами, за темными защитными очками, легли красные круги, смуглое красивое индийское лицо осунулось, нервы были напряжены, как слишком натянутые струны арфы, готовые лопнуть от малейшего прикосновения.

Миля за милей отскакивала прочь под рев и шум двигателя: позади оставались плоская, выжженная равнина, пыльного цвета холмы, пересохшие глинистые овраги и низкие горные кряжи.

Хижина пастуха, словно заблудшая душа, одиноко приткнулась у опаленного солнцем подножья горы. Временами навстречу им с резким свистом, обдавая жарким потоком воздуха, проносилась на север машина. Слепящий свет солнца колыхался и дрожал, словно вокруг кипел воздух.

— Хочу кофе,— капризно повторила Зейда,— мы сегодня совсем не пили кофе.

— Мы купим кофе,— сказала мать,— как только увидим какое-нибудь кафе, а пока помолчи, съешь еще сандвич.

— Не хочу сандвич, хочу кофе.

Они проехали мимо лощинки, где сгрудилась кучка полуразвалившихся, напоминавших поломанные кубики лачуг, и стайка голых грязно-коричневых ребятишек, выскочив из крытого загона для овец, ринулась к обочине дороги, крича и махая руками. Рей, смеясь, помахал им в ответ, и они скрылись из глаз. На мгновение промелькнула надраенная ветрами металлическая опора водяной помпы и тоже исчезла.

Трое черных мужчин с трудом тащились гуськом вдоль дороги, глядя вперед, в неведомое будущее. Невзирая на жару, они завернулись в старые грязные одеяла, а на головы нахлобучили рваные фетровые шляпы. Путники не помахали пассажирам, когда машина промчалась мимо, а продолжали все так же упорно шагать.

Машина, сбавив скорость перед подвешенным на стальных тросах мостом, прогромыхала над пересохшей, усеянной камнями речушкой. Несколько овец со свалявшейся от грязи шерстью пощипывали порыжевшую траву между валунами. За ними присматривал похожий на пугало пастух.

Они проехали мимо локации для цветных, потом — мимо локации для черных; глиняные и дощатые лачуги были разбросаны по коричневому склону, как выцветшие игральные кости. Между лачугами двигались маленькие человечки и крошечные, как муравьи, собаки.

На другом склоне белой галькой было выложено название городка. Машина промчалась мимо товарных навесов у запасных железнодорожных путей — рядом в загонах сгрудились овцы,— затем проскочила через переезд и снова вырвалась на шоссе. Навстречу им попался какой-то цветной на велосипеде, потом они медленно проехали мимо мутно-коричневой пристанционной гостиницы и выстроившихся в ряд магазинчиков. За выгоревшим забором перед другим отелем, построенным в голландском колониальном стиле, сидели за столиками и пили около десятка белых с раскрасневшимися, обветренными лицами. На стоянке перед продовольственной лавкой, вдоль гравийной, покрытой пылью дороги приткнулись машины: грязные легковушки, видавшие виды пикапы и автофургоны. Старый мулат мел тротуар перед лавкой тростниковым веником со звуком, похожим на шипение газа, рывками вырывающегося из трубы.

Два белых парня, розовощеких, светловолосых, одетых в рубашки и шорты цвета хаки, уставились на проехавшую мимо темную женщину в опрятном новом автомобиле, с поблескивающими из-под тонкого слоя дорожной пыли металлическими деталями. Машина, не останавливаясь, проследовала по красному гравию улицы, оставив после себя небольшое пыльное облачко.

— Как называется этот город, мамуля? — спросил мальчик.

— Не знаю,— ответила мать устало, но радуясь, что наконец-то можно притормозить.— Просто какой-то городок.

— А что делает тот дядя? — спросила Зейда, прильнув к окну.

— Где? Какой дядя? — обернулся Рей.

— Он уже ушел,— сказала девочка,— ты очень долго собирался. А теперь мы купим кофе, мамуля?

— Думаю, да,— ответила мать.— Только ведите себя хорошо. Может быть, вы хотите чего-нибудь похолоднее?

— Нет,— сказал мальчик,— после холодного еще больше хочется пить.

— Я хочу много кофе и много сахару,— затараторила Зейда.

— Хорошо,— остановила ее мать,— а сейчас перестань так много болтать.

Впереди, в конце пустыря, виднелось кафе. Перед ним на тротуаре, под затененными окнами стояли столики и стулья из гнутых металлических трубок. Фасад украшали старая реклама кока-колы и красочно расписанное меню. Полосатый тент защищал от солнца столы. В стене кафе, обращенной к пустырю, было небольшое окошко, через которое обслуживались неевропейцы. Несколько цветных и африканцев в грязной поношенной одежде толпились перед окошком, стараясь заглянуть внутрь. Они соприкасались головами, на их лицах застыло ожидание.

Женщина подъехала к кафе и остановила машину прямо перед входом. Изнутри неслись звуки радио, жалюзи сияли чистотой.

— Дай мне термос,— сказала женщина и, взяв термос у сына, нажала на ручку дверцы.— Ну, дети, посидите спокойно, я скоро.

Она открыла дверцу, выбралась из машины, постояла с минуту на тротуаре, чувствуя, как приятно расслабляются мышцы ног. Потом потянулась, испытывая почти блаженное наслаждение, но голова все еще сильно болела, и это омрачало настроение. Мимолетная радость прошла, в мозгу опять застучало, все тело вновь сжалось, как туго закрученная пружина. Она расправила складки на своем элегантном желтовато-коричневом костюме, но жакет оставила расстегнутым. С термосом в руках она пересекла тротуар и, лавируя между пластиково-металлической мебелью, вошла внутрь.

В кафе было прохладно, в витринах под стеклом

стояли консервные банки и пакеты, словно экспонаты в футуристическом музее. Откуда-то из-за стойки шел запах жареного картофеля и доносилось шипенье масла. На полке жужжал электрический вентилятор, а у задней стены приткнулись два поблескивающих никелем бака — один с чаем, другой с кофе.

Единственным посетителем кафе был маленький белый мальчик с выгоревшими волосами, лицом, напоминавшим спелое яблоко, и сопливым носом. На нем была застиранная ситцевая рубашка, шорты цвета хаки, а его грязные босые ноги, покрытые потрескавшимися мозолями, были желтовато-белого цвета. Облизывая липкими розовыми губами леденец на палочке, он разглядывал яркие обложки старых журналов, выставленных на проволочном стенде.

За стеклянной стойкой с тремя сосудами для сока сидела дородная женщина в зеленом платье и, не обращая ни малейшего внимания на заглядывающих в окошко африканцев, просматривала небольшую пачку счетов. Она сидела, широкоплечая, толстая, с раскрасневшимся лицом, словно его только что обдали сильной струей песка. У нее были тяжелые некрасивые щеки, бугристые скулы, горбатый нос, возвышающийся между тусклыми серыми глазами, рот-щель, как у ящерицы, холодный и злой, с сухими потрескавшимися губами.

Она подняла голову, что-то пробормотала, но, увидев темнокожую женщину, на секунду опешила, серые лужицы ее глаз, казалось, вот-вот выплеснутся через край, а тонкие губы, готовясь извергнуть брань, извивались, как два червяка.

— Будьте любезны, не нальете ли вы мне в этот термос кофе? — сказала вошедшая женщина.

Барменшу вдруг прорвало, и она закричала так, будто кто-то противно проскрежетал железом по камню:

— Ко-о-фе? О господи Иисусе! Проклятая кули вперлась сюда! — Глаза с ненавистью скользили по красивому лицу индианки, ее модным темным очкам, элегантному желто-коричневому городского покроя костюму.— Кули, кафры и готтентоты ждут во дворе,— заорала она.— Ты что, не знаешь, тварь несчастная, а еще, поди, говоришь по-английски!

Молодая женщина взглянула на барменшу расши-

рившимися глазами, вздрогнула, и вдруг внутри у нее что-то сорвалось, будто соскочила с предохранителя до упора закрученная пружина, и, выкрикнув с отвращением: «Белая шваль, сама ты кули», она, не помня себя, запустила термосом в белую женщину.

Термос описал в воздухе дугу и, прежде чем барменша успела отклониться, ударил ее в лоб и, отскочив, вдребезги разбил стеклянную витрину.

Женщина за стойкой завизжала, вскинула руку к кровоточащей ране над бровью и пошатнулась. Мальчик выронил леденец и с криком выскочил на улицу. Черные лица, заглядывающие в окошко, окаменели в испуге. Индианка повернулась и в ярости выбежала из кафе. С искаженным от гнева лицом она пересекла тротуар и резко открыла дверцу машины.

Африканцы, за минуту до этого заглядывавшие в кафе через окошко, сгрудились у края дороги и наблюдали, как женщина садится в автомобиль и заводит мотор. Она резко рванула машину, руки так сильно сжали руль, что сквозь коричневую кожу проступили желтые костяшки. Наконец она немного пришла в себя, расслабилась, сбросила скорость и опять почувствовала смертельную усталость. Она уже выехала за город, а дети все еще молча неотрывно глядели на нее, понимая, что произошла какая-то неприятность. Наконец Рей отважился спросить:

— Значит, кофе не будет? А где же наш термос?

— Да, кофе нет,— сухо отозвалась мать.— Боюсь, нам вообще придется обойтись без него.

— Хочу кофе,— захныкала Зейда.

— Будь умницей и, пожалуйста, перестань капризничать.

— Ты потеряла термос? — поинтересовался Рей.

— Помолчите, помолчите,— приказала мать, и дети больше не обронили ни слова.

Они миновали окраину, пыльную заправочную станцию, перед которой, как часовые на посту, выстроились красивые бензоколонки со шлангами, проехали мимо какого-то человека с огромной вязанкой хвороста на голове и, наконец, оставили позади себя последние строения этого маленького городка: кучку побеленных хибарок, копошившихся во дворах кур, покосившийся навес для стрижки овец со штабелями

грязных тюков шерсти. Свесившись через забор, их провожал взглядом какой-то мужчина.

Дорога снова вгрызлась в выгоревшую желто-красно-коричневую землю, последние зеленые деревца отступали назад все дальше и дальше. Лучи солнца, словно полуденные привидения, покачивались и плясали по однообразной равнине, а шины колес чуть слышно шуршали по черному раскаленному асфальту. Впереди мчались другие автомобили, но женщина и не пыталась их догонять.

— А папа будет нас катать на машине? — прервал молчание Рей.

— Конечно,— уверенно сказала Зейда.— Мне эта машина нравится больше, чем дяди Айка.

— Зато он нас часто катал,— ответил Рей и вдруг встрепенулся:— А вон опять эта смешная птичка!

— Мамуля, а потом у нас будет кофе? — не выдержала Зейда.

— Возможно, дорогая, успокойся. Посмотрим,— сказала мать.

По обе стороны дороги по-прежнему мелькал высохший, пыльный ландшафт.

Передние машины стали замедлять ход, и мать тоже ослабила нажим на педаль акселератора.

— Посмотрите на эту гору,— вскричал Рей,— как она похожа на человеческое лицо!

— Это что, настоящее лицо? — спросила Зейда, вглядываясь.

— Вот глупая,— сказал Рей.— Как же гора может быть настоящим лицом? Так только кажется.

Передняя машина пошла совсем медленно: индианка, высунувшись в окно, увидела, что на шоссе образовалась пробка. Дорогу загородил небольшой полицейский «лендровер» с толстой проволочной решеткой на окнах и прожекторе. Прямо напротив него, поперек дороги, стоял другой запыленный автомобиль. Между ними оставалось пространство, достаточное для проезда лишь одной машины. Прислонившись к крылу этого автомобиля, стоял полицейский в рубашке, брюках и фуражке цвета хаки с автоматом системы «стен» наперевес. Еще один блюститель порядка сидел за рулем, а третий полицейский стоял в проезде и после внимательного осмотра водителей пропускал машины вперед.

Шедший впереди автомобиль остановился. Констебль взглянул на водителя, отступил назад и махнул рукой. Машина рванулась вперед и помчалась.

Констебль повернулся к следующей машине, поднял руку, и сидящая за рулем женщина почувствовала, как у нее внезапно забилось сердце. Она затормозила и стала ждать, с тревогой наблюдая, как приближается к ней фигура в хаки.

У полицейского было молодое, покрытое, как у всех здесь, красным загаром лицо, надежно защищенное от солнца блестящим козырьком фуражки. На губах его играла едва заметная улыбка, но глаза смотрели бесстрастно, как два осколка гранита.

На поясе у него висела кобура с пистолетом. Подойдя к машине, он обернулся к товарищам и крикнул:

— Похоже, она!

Полицейский с автоматом выпрямился, но не двинулся с места. Первый полицейский, все еще продолжая улыбаться, сказал:

— Тебя-то мы и поджидаем, а тебе, наверное, и не пришло в голову, что они позвонят?

Дети сидели как мертвые, испуганно вытаращив глаза.

— Что все это значит? — спросила мать, высовываясь из машины.

— А то ты не знаешь, что это значит! — оборвал ее полицейский и, смерив с ног до головы взглядом, кивнул:— Итак, красотка в коричневом костюме и темных очках, ты арестована.

— Я спрашиваю вас, что все это значит? — повторила женщина.

В голосе ее не было возмущения, лишь одна тревога за детей.

— Скоро узнаешь,— холодно отрезал констебль.— Ты ведь наверняка из этих бунтовщиков, что вечно чинят беспорядки. В общем, хватит болтать.— Полицейский уставился на нее своими ледяными глазами.— Разворачивайся да не вздумай выкинуть какой-нибудь трюк, слышишь?

Голос полицейского звучал властно и угрожающе.

— Куда вы нас забираете? Мне нужно отвезти детей в Кейптаун!

— Меня это не касается,— прервал ее конс-

тебль,— ты натворила тут дел и теперь должна за все расплатиться.

Он оглянулся и подал знак полицейской машине. Водитель включил мотор, сдал назад и развернулся.

— Следуй за ней,— приказал констебль,— мы едем назад.

Женщина молча развернула свою машину и поставила ее позади полицейской.

— Ну, а теперь еще раз повторяю, не вздумай шутить,— пригрозил констебль.

Женщина в упор взглянула на него, и глаза ее тоже сверкнули холодным блеском. Полицейский прошел назад, забрался в «лендровер». Передняя машина стала набирать скорость, женщина тронулась за ней, вторая машина двинулась следом.

— Куда мы едем, мамуля? — спросила Зейда.

— Сидите смирно,— ответила мать, следуя за полицейской машиной.

И опять помчалась перед глазами, но теперь уже в обратном направлении, красно-коричневая пыльная равнина: плоское голубое небо плясало и раскачивалось над ними, а сзади под ослепительно-желтым сиянием солнца простиралась покрытая колючим кустарником земля.

— Как хочется немножко кофе...— вздохнула маленькая Зейда.

КУДА ДЕРЖИШЬ ПУТЬ, ПАРЕНЬ?

Из музыкальных магазинов, расположенных в пассаже, все еще доносилась музыка. Разноголосица звуков сливалась в такую какофонию, что невозможно было отличить одну мелодию от другой. Хозяева — евреи, индийцы и греки — стояли в дверях своих лавок, зазывая последних покупателей. Лотки, заваленные овощами и фруктами, тоже еще не были убраны с тротуаров. Размахивая бумажными пакетами, лоточники в белых куртках наперебой расхваливали свой товар и охотно снижали цены в надежде, что успеют продать еще что-нибудь. На остановке толпы людей штурмовали автобус. Молодые гуляки группками стояли под балконами, у дверей домов, перед

витринами магазинов, покуривая, смеясь и то и дело задирая прохожих.

А над всей этой кутерьмой весело плясали, перемигиваясь, неоновые рекламы: «Кока-кола», «Распродажа сегодня и завтра», «Ювелирные изделия», «Модная одежда», «Мы оба умрем с голоду, если вы не перекусите у нас!», «Большой пикник в райской долине», «Роскошные автомобили», «Чай», «Кофе», «Табак», «А вы уже попробовали наши молочные коктейли?», «Бильярдный клуб», «Ваши желания — закон для нас», «Салон мод».

Майкл Адонис лениво плыл по тротуару в людском потоке, подобном бесконечной разматывающейся ленте.

Из музыкального киоска неслось пронзительно и громко: «Когда-нибудь ты вспомнишь обо мне, мой милый...» Эта песня перебралась сюда через Атлантический океан в виде тонких дисков, и теперь динамики над входом разносили новинку по всей округе.

Майкл загляделся на пеструю витрину: гитары, банджо, мандолины, детали проигрывателей, струны, пюпитры, электрические утюги, штепсели, пластмассовые куклы из Японии, литографии, изображающие ангелов и Христа в терновом венце, из-под которого на розовый лоб стекали алые капли крови, похожие на следы губной помады.

В дверях магазинчика вырос толстяк с лоснящимися гладкими щеками.

— Желаете что-нибудь купить, сэр?

— Нет,— сказал Майкл и резко отшвырнул недокуренную сигарету.

Двое подростков в рваных рубашках, с залепленными грязью ногами, ринулись к окурку, отталкивая друг друга.

— Привет, Майкл! — раздалось позади.

Майкл обернулся и увидел около себя истощенного парня.

— Привет, Джо!

Джо был невысокого роста, а стар он или молод — определить по его лицу, покрытому плотной коркой грязи, было так же невозможно, как рассмотреть под грудой хлама какую-нибудь ценную вещь в лавке старьевщика. У него были карие собачьи глаза. От Джо разило потом, несвежей одеждой и мор-

скими водорослями. Брюки Джо давно обтрепались. Лохматые края огромных дыр на коленях стянуты булавками и бечевкой. Как выглядели эти брюки в первозданном виде, угадать невозможно, настолько они заношены и заляпаны грязью. На плечах Джо болтался старый-престарый плащ, доходящий ему почти до пят. Вырванные рукава болтаются на нитке, свисающий лапшой перед прихвачен булавкой, из-под этих лохмотьев виднелась грязная жилетка; ботинки были изношены до последнего предела.

Никому не было известно, откуда Джо приходил и куда вновь исчезал. О нем вообще никто ничего не знал. Просто в один прекрасный день он вдруг появлялся в этом районе, как таракан, выползший из щели. Большую часть времени Джо проводил в бухте, подбирая рыбу, выброшенную рыбаками. А иногда бродил по берегу, разыскивая мидии. У него была какая-то необъяснимая страсть ко всему, что связано с морем.

— Ну как дела, Джо? — спросил Майкл.

— Порядок, Майкл.

— Чем занимался сегодня?

— Да так, околачивался возле доков. Днем пришвартовался «Йорк Касл».

— Да?

— Ты любишь мидии, Майкл? Я принесу тебе немножко.

— Ладно, Джо, принеси.

— А вчера я нашел на берегу здоровенную морскую звезду. Правда, она была неживая и здорово воняла.

— Ты правильно сделал, Джо, что не притащил ее сюда, в город. Парни из муниципалитета намылили бы тебе шею.

— Я слышал, на берег теперь будут пускать только белых.

— Да, я читал об этом в газетах. Вот сволочи!

— Похоже, скоро вообще никуда не пойдешь.

— Похоже на то,— согласился Майкл.

Они поднялись по улице к «Королеве Виктории».

— Хочешь выпить, Джо? — спросил Майкл, зная, что Джо не пьет.

— Нет, Майкл, спасибо.

— Ну, тогда пока.

— Пока, Майкл.

— А ты ел сегодня?

— Как тебе сказать... Еще нет,— признался Джо, застенчиво улыбнувшись и переминаясь с ноги на ногу.

— Ну ладно, Джо. Вот тебе шиллинг. Купи себе чего-нибудь. Пакетик рыбы, например, с жареной картошкой.

— Спасибо, Майкл.

— Что ж, будь здоров, Джо.

— До встречи, Майкл.

— Не забудь про мидии, ты обещал,— напомнил Майкл, хотя и знал, что Джо все равно забудет.

— Принесу, принесу,— ответил Джо и поднял руку в прощальном привете. Казалось, он понял, что Майкл не поверил его обещанию, поэтому как можно убедительнее добавил:— Я не забуду, Майкл. Вот увидишь, не забуду.

Джо побрел вверх по улице, и рваный плащ волочился за его спиной по растрескавшемуся асфальту, словно побывавшее в жестоком бою, порубленное саблями и простреленное пулями боевое знамя.

Майкл Адонис, свернув за угол, зашагал к бару и тут увидел, что к нему направляются двое полицейских; они шли в своих формах цвета хаки и приплюснутых фуражках, с блестящими пряжками на портупеях и тяжелыми пистолетами в кобуре на поясе. Лица их были бесстрастны и угрюмы, будто вырубленные из розоватого льда, а глаза поблескивали, как осколки голубого кварца. Полицейские шли плечом к плечу, медленно и неуклонно прокладывая курс в потоке людей, словно два эсминца в океане. Они приближались неотвратимо, и Майкл, желая избежать встречи, попытался перейти на другую сторону, но полицейские привычным и искусным маневром преградили ему дорогу.

— Куда держишь путь, парень?

Вопрос прозвучал сухо и резко, как щелчок стальной пружины. У спросившего были жесткие, тонкие, потрескавшиеся губы и редкий белый пушок над ними, широкие, розово-белые скулы, густые рыжие брови и белесые ресницы. На тяжелом подбородке зрел прыщ, красным пятном выделяясь на бледной коже.

— Куда держишь путь, парень?

— Домой,— ответил Майкл, глядя на пряжку его ремня.

По опыту известно, что лучше уставиться на какую-нибудь деталь полицейской формы — пуговицу на кармане, пряжку или блестящую полосу коричневого ремня, чем смотреть в глаза, ибо это неизбежно будет воспринято как оскорбление. Только отчаянному смельчаку или круглому болвану пришло бы в голову смотреть прямо в лицо блюстителю порядка, тем самым как бы бросая вызов или ставя под сомнение законность его действий.

На лице второго полицейского, засунувшего большие пальцы за пояс, играла слабая, ничего не выражающая улыбка. Впрочем, это нельзя было даже назвать улыбкой — просто легкое движение губ. Руки его на фоне ремня казались неестественно белыми и широкими, и на этой белизне рельефно выделялись набухшие бледно-голубые вены. Короткие рыжие волоски покрывали запястья. На толстых пальцах поблескивали розовые ухоженные ногти.

— Где у тебя дагга?[1] — рявкнул он зло и угрожающе.

— Я не курю даггу.

— А ну-ка выворачивай карманы! — приказал первый полицейский.— Да поживее.

Майкл, не поднимая глаз, начал медленно опорожнять карманы. «Проклятые буры, проклятые буры!»— свербило в мозгу. Прохожие останавливались, чтобы взглянуть на эту сцену, но, наткнувшись на холодные, ледяные взгляды, спешили дальше. Майкл вынул и показал початую пачку сигарет, остаток получки, грязный носовой платок, кусочек завалявшейся в кармане, в соре и крошках, жевательной резинки.

— Где украл деньги? — Вопрос прозвучал убийственно серьезно, без тени юмора и резанул по нервам, словно пилой.

— Я не украл их, баас. (Проклятый бур!)

— Ладно, проваливай отсюда, только не вздумай еще раз попасться нам на глаза!

— Да. (Проклятый бур!)

— «Да» — а дальше? Ты с кем разговариваешь?

— Да, баас. (Ах ты, проклятый, подлый бур, со

---

[1] Дагга — индийский гашиш.

своим поганым пистолетом и мерзкими рыжими волосами!)

Полицейский отпихнул Майкла локтем в сторону, дабы он не мешал им, блюстителям порядка, шагать дальше.

Майкл Адонис молча рассовал свое добро по карманам. В глубине его души в который раз вспыхнуло знакомое чувство ярости, гнева и обиды, перемешанное с болью и страданием.

РОБИНСОН МАТСЕЛЕ

Прогрессивный писатель, посвятивший свое творчество защите угнетенных народов Южной Африки.

В настоящее время живет в эмиграции в Швеции.

Рассказ «Костюм для концерта» включался в ряд южноафриканских антологий и неоднократно печатался в СССР.

КОСТЮМ ДЛЯ КОНЦЕРТА

Я собирался на певческий конкурс. Всем мальчикам и девочкам нашей округи велено было явиться в своей самой нарядной одежде. Разумеется, не в какой-то там сверхшикарной, а просто в приличной. Где ее взять — это уж наше дело. Больше всего я ненавидел галстук, но именно на нем настаивал мой отец, полагая его непременной принадлежностью выходного костюма. Я же всегда задыхался, чувствуя у себя на шее эту змею. Мать бранила меня за то, что я не похож на других нормальных детей, которые, отправляясь в церковь или на такой вот конкурс, надевают красивые куртки и повязывают галстуки.

Для обитателей нашей трущобы ухитриться одеть своих сыновей в приличный костюм с галстуком — дело чести. Ибо, по их мнению, ничто так не влияет на оценку комиссии, как внешний вид. А голос и манера

исполнения кажутся им, по-видимому, чем-то второстепенным. Мы же, ребята, промеж себя считали, что это такая же ерунда, как выдумка белых, будто у африканцев приятная улыбка потому, что их зубы кажутся особенно белыми в контрасте с черной кожей. Жюри конкурса состояло из одних белых, и нас уверяли, что все они большие знатоки музыки.

— Постарайся сегодня спеть получше,— наставляла меня мать, пока я старательно мыл посуду.

— Но, мама, ты же знаешь, как я пою дома,— ответил я.

— Знаю, но сегодня особенный день. Ты слышал, что Рра-Дикеледи [1] собирается тебе купить костюм и галстук?

— Ну и что, разве в новом костюме у меня станет лучше голос? Дело ведь не в этом,— пытался я возразить ей.

— Не дерзи! — оборвала мать.— Ох уж эти нынешние дети, совсем не умеют себя вести! Разговаривают со старшими безо всякого почтения...

Был субботний день. В соседнем дворе громко жаловались петухи и куры — видно, проголодались. Сонто, наш сосед, вышел из своей лачуги с миской и принялся разбрасывать зерно. Скликая кур, он смешно подражал их кудахтанью. Они ринулись к нему, налетая друг на друга.

Мать, подбоченясь, стояла в дверях, в длинном ярко-коричневом платье из набивной ткани, оно хлопало ее по ногам, когда она махала проходящим соседкам. Она смотрела на тучи, которые все утро скапливались на небе и готовы были разразиться грозой. От земли шел резкий запах влажной пыли. Я изо всех сил тер кастрюлю мокрым песком — она становилась заметно чище.

Сонто продолжал квохтать, потом на минуту остановился, повернулся в мою сторону.

— Надеюсь, на этот раз победишь ты,— продребезжал он старческим голосом.

Я с нетерпением ждал отца. Ведь в субботу он мог и задержаться — встретить по пути друзей, по-

---

[1] Рра-Дикеледи (букв. «отец слез») — обращение к отцу или к матери (Мма-Дикеледи). Так называют родителей в соответствии с именем первого ребенка.

болтать о том о сем, а то и заглянуть к кому-нибудь в гости, чтобы пропустить глоток-другой домашнего пива.

Был он видным мужчиной — высоким, статным. И мы гордились им, хотя и побаивались,— рука у него была тяжелая. Если я баловался и мать грозилась пожаловаться отцу, я знал, что он меня так выпорет, что у меня не останется даже сил молить о пощаде. Отец был строг. И еще он был смел. Однажды он защитил нас от пьяных хулиганов, которые ломились к нам в дом. Избил их кнутом до полусмерти. В то же время он был добр и весел. Он часто рассказывал мне захватывающие истории из своей жизни. Как-то, возвращаясь ночью с работы, отец проезжал на велосипеде через кладбище. Вдруг перед ним как из-под земли вырос странного вида незнакомец и попросил разменять деньги. У отца не было с собой мелочи, и тогда незнакомец — видно, это был не человек, а дух — сказал: «Очень жаль, очень... Те деньги, которые я много лет тому назад взял с собой в могилу, теперь уже не годятся и надо бы их поменять».

И привидение растаяло в темноте...

На другом конце поселка слышались голоса, лай собак, шум и крики играющих детей. За стеной нашей хибары из рифленого железа раздался скрежещущий звук, будто провели металлом по металлу.

Это отец прислонил свой велосипед к стене. Мама готовила ужин.

— Поторопись, сынок,— крикнул отец,— не то закроется магазин.

— Какой же костюм мы купим? — спросил я.

— А вот посмотрим!— ответил он весело.— Мы скоро вернемся, времени осталось совсем мало,— сказал он матери и, сняв пиджак, вышел со мной из дому.

На Барбер-стрит было полным-полно ребят, моих сверстников. Одни играли в хоп-скотч, самоотверженно поддавая плоский камень босыми ногами; другие в бейсбол, не соблюдая никаких правил; «футболисты» гоняли теннисный мяч. У витрины магазина сидели несколько подростков постарше. Они без конца перешептывались и время от времени разражались

громким хохотом, не забывая зорко следить за дорогой В любой момент могла налететь квела-квела («залезай-ка») — полицейская машина, чтобы проверить пропуска или ворваться в какой-нибудь дом, хозяина которого заподозрили в незаконной торговле спиртным.

Владелец магазина, индиец Абдула, сидел у входа на корточках, зажав полы своего балахона между колен. На голове у него красовалась феска. Он, как всегда, непрерывно жевал свою красную жвачку, сплевывая оранжевую слюну, и громко приветствовал входящих и выходящих покупателей.

— Заходи, мама, заходи, папа!— кричал он.

На стене магазина висело объявление: «Купите один костюм — два получите в придачу». Обычно в придачу предлагали костюмы, сшитые из скверной ткани, а то и вовсе фабричный брак.

Вдруг я почувствовал, как рука отца крепче сжала мою руку Я взглянул на него и увидел, как мгновенно преобразилось его лицо — стало мрачным и напряженным, а глаза тревожно забегали по сторонам. Мы были уже совсем близко от магазина.

Я знал, что мой отец — самый честный человек на свете. Он никогда не посмел бы взять чужое. Он был справедлив и бесстрашен. Несколько раз я невольно подслушал, как его друзья, не то в шутку, не то всерьез, выговаривали ему за чрезмерную щепетильность по отношению к белым. Те ведь никогда не заплатят по справедливости, чтобы можно было прокормить семью. И все-таки он ни разу не позарился ни на какую безделицу, чтобы пополнить свои доходы.

Отец неизменно отвечал друзьям, что воровство — штука скверная, что оно от дьявола, и тому, кто ворует, не миновать ада. Меня же он предостерегал: «Будешь обманывать или воровать, гореть тебе на вечном огне. А черт большой длинной вилкой будет переворачивать тех, кто грешил на земле».

Я слушал отца, обмирая от страха — ведь мне было всего десять лет. Я любил и безмерно уважал отца.

Иной раз мать посылала меня с угощением к отцу и его друзьям. Усевшись в тени дерева, я любил слушать их долгие беседы. Мне нравилось, как иск-

ренне и уважительно разговаривают они друг с другом. Отец несколько раз повторял, что копит деньги мне на костюм к предстоящему конкурсу. Понадобилось почти восемь месяцев, чтобы собрать нужную сумму.

Отец сжимал мою руку все сильней и сильней, так что мне стало больно. Я попытался высвободиться, но он даже не заметил этого. Я почувствовал, как вспотела его ладонь, на лбу тоже выступили капельки пота. Что с ним? Спросить я боялся

— Заходи, мама, заходи, папа! — услышал я как будто издалека голос Абдулы.

— Ееееееу, ли-ли-ли-ли, ееу! — донесся откуда-то визгливый женский выкрик.

Видимо, женщина посылала добрые пожелания молодоженам. Потом звук ее голоса начал слабеть и совсем затих. Должно быть, она, как того требует обычай, начала танцевать перед молодой парой, входившей в новый дом.

Отец ускорил шаг. Но тут между нами и магазином внезапно затормозила полицейская машина, и из нее выскочили два белых полицейских. От одного вида их черной формы с медными пуговицами и блестящими значками у меня по спине побежали мурашки.

— Эй, кафр, пропуск,— приказал полицейский.

Отец стал шарить по карманам. Полицейский нетерпеливо ткнул его дубинкой в ребро.

— Побыстрей, чего тянешь!— заорал он, мигом теряя терпение.

— Я живу вон там, баас,— сказал отец, показывая в сторону нашего дома, до которого не было и двух минут ходьбы.— Я могу послать за ним мальчика.

— Заткнись, ленивый кафр, не ври! Где украл деньги? — заорал второй полицейский, уже успев вывернуть карманы отца.

Каким беспомощным и жалким казался отец перед этими людьми.

— Я не украл их, баас.

— Врешь! Ни один кафр не может заработать столько денег.

— Я скопил их, баас, чтобы купить сыну костюм для...

Его слова заглушил взрыв смеха.

— Нет, ты слышал что-либо подобное, Герт? — сказал один из них с издевкой.— Он собирался купить костюм для своего черномазого! Он, наверно, из тех наглецов, которые воображают, будто они не хуже белых! Ему, видишь ли, подай костюм, да еще с галстуком!

Одним духом я добежал до дому и кинулся к матери — пусть побыстрее даст мне пропуск, чтобы успеть отнести его отцу. Она стала искать его в пиджаке, висевшем на гвозде. Потревоженные тараканы ринулись из-под пиджака в разные стороны. Вот он, пропуск! Я помчался обратно. Но там уже никого не было. Что делать? Куда бежать?.. Где искать?.. Звать на помощь?.. Но кого? Мне хотелось хоть что-нибудь сделать.

Я вспомнил, как изменилось от страха лицо отца, как холодный пот проступил у него на лбу... И понуро поплелся домой.

Девять месяцев спустя мы с матерью сидели у его постели. Мать плакала, а я не отрываясь смотрел на него. Лицо отца стало пепельно-серым, глаза потускнели. Со лба скатывались капли холодного пота. Отец задыхался, губы его дрожали. Он пытался что-то сказать, но из его горла вырывались лишь какие-то бессвязные звуки. Вдруг его стал душить кашель, такой сильный, что задрожали рифленые стены нашей лачуги.

— Хочешь воды? — спросила мать, перестав на минуту всхлипывать.

Молчание.

Потом он тяжело вздохнул и снова что-то проговорил. Мы ничего не поняли.

— Рра-Дикеледи,— позвала его мама.

Снова молчание.

Отец был прикрыт одеялом по грудь, плечи оставались обнаженными. Пот поблескивал у него на лбу, словно капельки росы на лепестках цветов. Глаза блуждали по стенам нашей хибары. И вдруг я отчетливо услышал:

— Т-ты... п-п-пел?

— Да, папа.

Я собрался было рассказать ему о конкурсе, но мать остановила меня.

— Трудно... было... на ферме... Работа... каторга... Голодали...

Мать заплакала громче. Гнетущая тоска повисла в комнате. Я в отчаянии кусал ногти. Он не отрываясь смотрел на стену, где рядом с его пиджаком висел на гвозде мой костюм.

Я никак не мог отвязаться от нелепой мысли: лежит ли еще пропуск у него в кармане и собрались ли снова тараканы под пиджаком...

— Папа, я принес тогда тебе пропуск, но тебя уже увезли,— сказал я робко.

Я подвел отца. Не выручил из беды, не спас. Сознание вины по сей день терзает меня, как кошмар.

Мать послала меня за водой. Колонка находилась на другом конце квартала. Здесь брали воду все жители близлежащих улиц. Женщины с огромными ведрами вытянулись в длинную цепочку. Наконец подошла и моя очередь.

Когда я вернулся домой, мать стояла в изголовье кровати, отчаянно ломая руки. Отец лежал неподвижно, глаза его остановились. В комнате стояла мертвая тишина. Он больше не кашлял. Губы его приоткрылись.

С улицы через окно долетал пронзительный голос Абдулы, зазывавшего покупателей: «Заходи, мама, заходи, папа! Купи костюм — получишь два в придачу!» Я уверен, что он до сих пор жует свою красную жвачку.

На похоронах мать все время держала меня за руку. Она сжимала мою ладонь, но не так сильно, как отец тогда. Она то и дело вытирала слезы. Я же не чувствовал ничего. Пустота... Я смотрел, как опускают в яму гроб, и думал, остались ли еще капли холодного пота на лбу отца.

На мне был новый, очень красивый костюм. Мма-Дикеледи спросила, почему я стою, опустив голову. На что это я смотрю?

— На мой концертный костюм,— ответил я.

АРТУР МЕЙМАНЕ

Родился в 1932 году в семье настоятеля англиканской церкви. Литературную деятельность начал как журналист. Был репортером, спортивным комментатором, заместителем редактора, вел политические рубрики. Опубликовал большое число рассказов о жизни коренного африканского населения ЮАР. По причине расовой дискриминации вынужден был покинуть родину; в настоящее время живет в Лондоне.

ГОЛОДНЫЙ МАЛЬЧИК

В тот декабрьский знойный полдень воздух, казалось, застыл и недвижно повис над раскаленным Йоханнесбургом, лишь из-за ржавого рифленого забора плыл монотонный надоедливый шум: неслись несмолкаемые гудки автомобилей да резко взвизгивали тормоза. Водители с трудом лавировали в густой толпе, состоящей в основном из чернокожих. Перед пивной на другой стороне улицы образовалась настоящая толчея.

Мальчик переминался с ноги на ногу. От железного забора, на который он оперся, веяло жаром, особенно сильно обжигало локти, так как рукава в этом месте совсем прохудились.

— Послушай, Санни, дай хоть маленький кусочек!

Голос мальчика звучал просительно, но во взгляде его не было мольбы — он давно уже разучился просить глазами.

— Еще чего! Поди добудь сам,— отвечал Санни равнодушно и невнятно, ибо рот его был набит мясом:— Что же теперь прикажешь — воровать и для тебя?

Сидевшие чуть поодаль два других черных подростка, примерно одного с ними возраста, хихикнули. Один из них обгладывал желтый кукурузный поча-

ток, другой расправлялся с большой сладкой картофелиной.

Мальчик тоскливо глянул поверх их грязных голов на пыльную, выжженную солнцем футбольную площадку, но глаза его против воли опять уставились на Санни. И чем дольше он смотрел на ритмично двигавшиеся челюсти своего приятеля, тем нестерпимее становилась голодная боль в желудке.

Со вчерашнего вечера маковой росинки не было у него во рту. Ему за весь день не удалось ничего стащить ни у одного из лоточников, разносивших засиженное мухами мясо, кукурузные початки и прочую снедь для завсегдатаев пивного бара.

Тут уж, видать, сработал закон подлости — чем ты голодней, тем неохотней валит к тебе удача. И где это видано — чтобы приятели жадничали? А ведь, если разобраться, им повезло лишь потому, что именно он отвлекал на себя внимание уличных торговцев.

— Ну, Санни!..

— Нет.

— Ты же всегда давал.

— А сегодня не дам.

— Знал бы ты, как живот подводит.

— У меня тоже.

Глаза, отвыкшие молить, увлажнились.

— Ты ведь мне друг, Санни?

— Но не когда я сам подыхаю с голода.

«Бой» — так они звали его, ибо никому не пришло в голову узнать его настоящее имя, да он и сам почти позабыл его,— машинально нащупал в кармане бутылку. Эфир!

Побрызгать, что ли, на рукав рубашки да вдохнуть поглубже, тогда, возможно, все горести позабудутся?

Нет, он слишком голоден, может быть, потом, когда удастся поесть... Желудок так свело, что ему стало невмоготу стоять, даже опершись на забор.

У него закружилась голова, а в ушах раздался тонкий, пронзительный свист. Перед глазами, как в фильме, поплыли какие-то видения.

— Будьте вы все прокляты! Будьте прокляты мать и отец! Будьте прокляты муж моей матери и жена отца!

Дружки с интересом смотрели на него. А голос тринадцатилетнего паренька бушевал, извергая все когда-либо слышанные проклятия.

Понадобилось почти пять лет, чтобы довести его до такого состояния.

Все началось с первого галлона самодельного пива, который принесла домой мать. Вернее, с того момента, когда она его выпила.

Это было одно из тех зелий, которое варили в трущобных предместьях Йоханнесбурга и зарывали в ямы, чтобы спрятать от полиции и дать быстрее перебродить.

Галлон этот мать принесла тогда с единственной целью — выпить и забыться в похмелье.

Поначалу, когда она была еще крепкой, алкоголь не действовал на нее так быстро. Со временем же, с каждой очередной попойкой в конце недели, длившейся ночь напролет, требовалось все меньше и меньше спиртного, чтобы свалить ее с ног, а ей все чаще хотелось напиться, особенно когда она, едва держась на ногах, вваливалась в свою грязную закопченную лачугу, примостившуюся под насыпью железнодорожного пути на Орландо, и отец избивал ее. В конце концов мать дошла до того, что стала ввязываться в драки с отцом. Они почем зря колотили друг друга, круша при этом последнюю, чудом уцелевшую мебель, в пьяном угаре сворачивая с петель покосившуюся дверь, и наконец сваливались у порога в вонючую лужу. Драки, ругань, скандалы, все на глазах у соседей. Прохожие перешагивали через их грязные, сцепившиеся, полуголые тела. Побоища продолжались до тех пор, пока кто-нибудь не разнимал их или пока, истощив все свои силы, они уже не могли шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Наступала ночь, а вместе с ней и бурное пьяное примирение, сопровождаемое резким скрипом ржавых кроватных пружин, невнятным бормотанием, вздохами и тяжелым сопеньем.

Затем наступала тишина. Тяжелый сон. Черная пустота.

Когда начинались драки, ребенок забивался

в угол и долго безутешно рыдал, но он больше не прислушивался с любопытством к невнятному бормотанию, вздохам и прерывистому дыханию родителей.

Вскоре отец где-то стал пропадать по ночам. Едва он переступал порог, как на него обрушивались потоки несусветной брани и проклятий.

Потом к матери зачастили мужчины. Вначале они старались являться попозже, когда мать уже знала наверняка, что отец не придет ночевать. Но теперь отец пропадал по целым неделям, и мужчины, осмелев, стали заявляться пораньше.

Особенно один из них — с всклокоченной бородой и безобразными шрамами на лице — больше прочих проявлял нетерпение. Выпьет и тут же лезет с объятьями.

— Подожди малость,— пыталась удержать его мать,— дай сперва уснуть парню.

Однако, как правило, мать сдавалась на уговоры раньше, чем сын успевал закрыть глаза.

Мерцающего пламени свечи было вполне достаточно, чтобы все видеть.

Он долго плакал от обиды, пока сон не сморил его. С тех пор он никогда больше не пролил ни слезинки.

Однажды после двухнедельного отсутствия отец нежданно-негаданно нагрянул домой. У матери уже десять дней как жил очередной завсегдатай, и отец застал его прямо в кровати.

Вот это была драка! Все трое оказались абсолютно трезвыми. Кончилось тем, что отец, с разбитыми в кровь губами и фонарем под глазом, как слепой, собрал свои нехитрые пожитки и ушел.

— Никогда не опущусь до того, чтобы жить с потаскухой,— заявил он соседям, а мать прокричала ему вслед, что никогда не будет жить с этим проклятым изменщиком.

Наутро мать потребовала от сына, чтобы он называл сожителя папой. Сын отказался. Она впервые избила его, но он не заплакал, и это больше всего взбесило мать.

Она стала бить его почти каждый день, пока он наконец не решил убежать и разыскать отца.

Он слышал — судачили между собой соседки у

колонки,— что его отец живет с другой женщиной где-то в Джордж-Гоче.

— Где этот Джордж-Гоч? — спросил он у старших ребят.

— Поедешь в город, там пересядешь на другой поезд и сойдешь прямо в Джордж-Гоче, на другом конце города.

Санни — живший по соседству паренек — вызвался проводить его. Санни подрабатывал продажей конфет в поездах и слыл большим знатоком железной дороги. Он помог ему добраться до маленькой станции Джордж-Гоч и оставил одного на платформе, по обе стороны от которой с грохотом проносились составы.

— А где здесь локация Джордж-Гоч? — спросил он какого-то человека.

— Топай через мост, бой, потом перейдешь улицу наискосок. Только в оба гляди — там машин до черта. Ну, а потом прямиком по дороге и увидишь локацию. Входи прямо в ворота.

Он довольно легко разыскал локацию Джордж-Гоч.

— Где мой отец?

— Кто твой отец?

— Иоханнес.

— А как фамилия?

— Я не знаю.

— Откуда же ты пришел?

— Из Орландо.

— Бедняга!

Он слонялся по узеньким улочкам, застроенным домами — спичечными коробками с однообразно унылыми грязными фасадами. Казалось, эти дома ежатся и тщетно пытаются спрятать свою постыдную наготу за фруктовыми деревцами, натыканными в палисадниках размером с почтовую марку.

Здесь немудрено было заблудиться. Дома, улочки и даже деревья — все на один манер.

— Тетенька, подайте кусочек хлеба!

— Пошел прочь!

— Пожалуйста, тетенька, подайте кусочек хлеба!

— Ты чей, мальчик?

— Пожалуйста, ну прошу вас, тетенька, подайте хоть маленький кусочек хлеба!

— На и убирайся отсюда!

— Тетенька, подайте, пожалуйста, умоляю вас, кусочек мяса!

— Тебе придется за него поработать, бой.

— Я готов, тетенька. Я постараюсь.

— Заходи.

Огромные вонючие чаны.

— А ну-ка вымой их все, бой, да побыстрее. Они должны быть готовы к вечеру. Будем варить в них пиво.

Интересно, неужто она будет варить ту самую дрянь, что пила мать?

Когда солнце село, он уже стоял в воротах локации. Сотни мужчин и женщин прошли мимо. Отца среди них не было. Он снова вернулся к огромной грязной женщине с ее вонючими чанами.

— Если я опять поработаю у вас, тетя, вы покормите меня и разрешите поспать?

— Ладно.

В субботу и воскресенье он получил передышку, так как было уже вдоволь наварено этого пойла. Он облазил все пивные, все закоулки, молча всматриваясь в каждого человека.

Он увидел отца лишь неделю спустя, и не где-нибудь, а в том самом заведении, где работал. Не будь так темно на заднем дворе, он углядел бы его раньше. Мужчины пили, орали и подтрунивали друг над другом.

Ему пришлось сильно потянуть отца за рукав, прежде чем тот обернулся. Отец уставился на него тупым, бессмысленным взором.

— Тебе чего, малец?

— Ты не узнаешь меня, папа?

Долгий пристальный взгляд из-под припухлых век. Изо рта, как из бочки, несет перегаром.

— Ты что, мой сын?

— Да, папа.— Он заискивающе хихикнул.— Я тебя ищу... Уж так давно ищу!

— Молодец, малыш!— Рука обвила шею и сжалась так сильно, что мальчику стало нечем дышать.— Посмотри на этого парня, Кумало. Мой сын. Давно его не видел. Протопал весь путь из Орландо, чтобы найти меня. Молодец, стервеныш. Знает, что мать от-

петая шлюха, готова любого пустить в кровать, кто поднесет ей выпить.

Он рыгнул, а мальчик незаметно зажал себе рукой рот и нос.

— Так и быть, возьму тебя домой, к себе домой! Слышишь? И не бойся, приведу тебя к новой матери. Чýдная женщина, увидишь свою маленькую сестренку.

Новая мать! Хватит с него новых отцов и матерей! От тревожного предчувствия гулко забилось сердце, будто кто-то холодной рукой грубо схватил его и потряс.

«Возможно, она и не захочет, чтобы я называл ее мамой, а может быть, я полюблю ее и сам стану так называть?»

Он помог отцу с трудом преодолеть несколько улиц. Их тени то удлинялись, то уменьшались до черных клякс, пока они тащились от одного фонаря к другому. Длинные тени, короче, короче, кляксы.

Наконец они добрели до места. Миновали какие-то ворота, завернули в глубину двора. Обитая жестью лачуга приткнулась у самой ограды. Тяжелый удар в низенькую дверь.

— Кто там?

— Я.

Молчание. Лязг ключа в замке. Скрип дверных петель. Сноп света вырвался из дверного проема, и стала видна крошечная комнатушка, загроможденная мебелью: двухспальный матрац на кирпичах, шкаф с разбитым зеркалом, большой круглый стол, шесть стульев, кушетка и печка. В комнате было жарко и душно. Кричащий ребенок прижался к бедру матери.

— Опять нализался? А кто этот грязный оборвыш?

— Оборвыш?.. Грязный? Ах, да! Мой сын. Приплелся аж из Орландо, захотел быть с отцом.

— Ты хочешь сказать... Он пришел сюда жить?

— Конечно! Он же мой сын, а что, разве нет?

Мальчик прожил там три месяца. Потом ушел. Никто не заставлял его называть ту женщину мамой. Он сам стал так ее звать.

— Ну, ты доволен, малыш? Тебе нравится в новой семье отца? А как твоя новая мать? Правда ведь славная женщина? Не чета той стерве в Орландо.

— Не смей так обзывать мою маму!

— О, так вот как ты стал говорить со своим отцом?

— А ты как стал говорить о моей матери?

— Ха!

Здесь никто им особенно не интересовался. Дважды в день ему давали поесть, и ему отвели место на диване поспать — вот и все. Он жаждал большего. Он мечтал иметь родной дом, не угол, где можно поспать и поесть.

— Поднести вам сумку, миссис?

— Мальчик, не клянчи. Ты разве не знаешь, здесь это запрещено?

— Я не клянчу. Хочу честно заработать.

— Ах, ты еще пререкаешься? Полиция!..

Он убежал, скрылся в плотной толпе субботнего рынка.

Запах свежеподжаренного мяса висел в неподвижном горячем воздухе, заглушая все прочие запахи. Он еще больше возбуждал голод, вызывал головокружение.

Густой, влажный смрад прокислого пива, витавший над красной стеной из рифленого железа, гнал его прочь, но острый, солоноватый дух дымившегося на угольях мяса властно притягивал к себе.

«Сколько часов я уже здесь стою? Неужели так никто и не догадается дать мне хоть малюсенький кусочек мяса? Горло-то как сводит, как сосет под ложечкой!»

— Эй, ты, иди-ка сюда!

Он оглянулся. Окликнувший его мальчик был так же худ и голоден, как и он. Его голова казалась непропорционально большой на тоненькой шее. Глубоко запавшие глаза смотрели с лихорадочным блеском.

— Ну, что тебе?

— Хочешь есть?

— Да.

— Идем со мной.

Они пересекли улицу и направились по железнодорожным путям вдоль ржавой железной стены.

Ватага мальчишек примостилась на корточках на солнцепеке. Все курили.

— Откуда пришел?
— Из Орландо и Джордж-Гоча.
— Голодный? Будешь с нами воровать жратву?
— Да... Жратву?
— Э, да он трусит! Смотрите, вот слюнтяй!
— Боишься?
— Да... нет!
— На-ка вот. Затянись.
От грязной скомканной тряпки пахло эфиром.
— Возьми в рот и поглубже вдохни.
Пары эфира обожгли пересохшую гортань, скрутили кишки. Он закашлялся, упал на колени, его выворачивало всего наизнанку, но с губ потянулась лишь тонкая струйка пенящейся слюны, колыхаясь на ветру, как поверженное знамя.
— Ха, ха, ха! Вот сосунок!
— Нет, братва, он доказал, что действительно проголодался. Самое время раздобывать завтрак. Ты посиди здесь, Бой, а мы мигом туда и назад — со жратвой!
Он лег ничком, прижавшись животом к нагретой солнцем кочке. Ему казалось, будто его пустой желудок прирос к позвоночнику. Его опять стало тошнить, он сплюнул.
Из пивного бара послышались крики, ругань и хриплый гогот. Новые дружки присели перед ним на корточки.
— На, ешь!
— Где же вы раздобыли?
— Украли.
— А нас не схватят здесь?
— Да что ты! Их силой не оторвешь от столов.
Подростки воровали везде: в лавках, у лоточников, в кафе, на рынке. Везде, где была пища. Время от времени, когда их штаны превращались в сплошную рвань и лохмотья мешали им быстро бегать, они воровали и одежду.
— А где твои отец и мать, Санни?
— Не знаю. Па арестовали и отправили работать на ферму.
— А мать?
— Не знаю.
— Когда же она пропала? Год... два назад, когда?
— Не знаю.

Бой открыл глаза. Санни уже доел мясо и теперь блаженно растянулся в скудной тени забора, сквозь дыры которого клочками врывалось солнце. Бой опять перевел взгляд на сверкающее футбольное поле. Спортивное поле для чернокожих. Поле для голодных чернокожих детей. С улицы позади него доносился смех и громкий говор. Должно быть, уже около двух часов. Люди снова возвращались на работу, полупьяные и лишь наполовину сытые.

Санни похрапывал. Довольная улыбка расплылась на его тощем немытом лице. Грязный, слегка вздувшийся живот ритмично двигался в такт дыханию, вверх-вниз, то обнажаясь через замызганные лохмотья, некогда бывшие рубашкой, то вновь скрываясь.

Двое других ребят тоже спали, точнее, впали в полузабытье. Несколько затяжек табаку и пары эфира крепко окутали их, словно толстым одеялом.

Болезненная спазма свела пустой желудок. Бой судорожно глотнул и обессиленно присел на бугорок. Никогда еще не чувствовал он такой слабости от голода. Он вытянулся на земле и закрыл глаза. Возможно, если поспать, то потом, когда проснешься, почувствуешь себя лучше. Пустой желудок до тошноты стал давить на позвоночник. Он перевернулся, но кочка, казалось, впилась через живот в спину. Он лег на бок, желудок повис где-то внутри, причиняя нестерпимую боль.

Он пытался лечь и так, и этак, но ничто не помогало. Наконец он сел, в изнеможении привалясь к накаленной стене.

Голова кружилась, в ушах противно жужжало.

«Что-то нужно делать, что-то нужно...— твердил он себе в то время, как его слезящиеся глаза равнодушно взирали на спящих дружков.— Проклятые жадины! Свиньи! Оставили меня подыхать с голоду, а сами дрыхнут как ни в чем не бывало. Гореть бы им в аду!»

А впрочем?..

Его бросило в дрожь, он даже покрылся холодной испариной от внезапно промелькнувшей мысли.

«А впрямь, почему бы мне не подпалить их, особенно Санни? Он заслужил это больше других — как-

никак считался моим лучшим другом. Поджарю-ка я его, как то мясо».

Бой лихорадочно нащупал в кармане бутылку с эфиром, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание.

Ослабевшим пальцам оказалось не под силу справиться с пробкой, пришлось пустить в ход зубы.

«То-то струхнет Санни, он ведь часто твердил, как боится попасть в ад».

Бой склонился над спящим дружком и тщательно обрызгал эфиром его одежду, стараясь, чтобы ни одна капля не попала на видневшееся из-под лохмотьев голое тело.

«Подпалю-ка немножко. Будет ему наука»,— уговаривал себя Бой.

Потом он отыскал в кармане рубашки замусоленную спичку и обломок спичечного коробка, сгреб в кучу несколько грязных бумажек, чиркнул спичкой и, прикрыв пламя ладонью, поджег бумагу.

Затем схватил горящие бумажки и швырнул их на живот своему другу.

Секунду-две бумага спокойно горела, и вдруг мощное оранжевое пламя взвилось высоко вверх.

Санни, отчаянно вопя, вскочил на ноги. С криками ужаса вскочили и два других подростка. И не успел Бой опомниться, как Санни бросился бежать вниз по улице. Он был похож на гигантский факел, Бой молча помчался за ним.

Наконец какой-то прохожий изловчился и схватил Санни на переполненной улице. Тут же сцапали и Боя, едва он подбежал.

В комнате с высоким красивым потолком стояла прохлада и тишина. Все ходили на цыпочках и разговаривали шепотом. В этой комнате присутствовали только белые и лишь несколько черных. Белая женщина встала.

— Ваша честь,— начала она,— служащие отдела опеки обследовали условия жизни этого ребенка. Правда, довольно поверхностно. Мы побывали в Орландо, где жила его мать. Она оттуда уехала, и никто не знает куда. Не удалось также найти и его отца.

— Это позор! Как могут иметь место подобные случаи в цивилизованной стране?

— И тем не менее они имеют место, ваша честь. Мною подготовлено к слушанию еще несколько подобных дел. Все они довольно постыдны.

Она закусила нижнюю губку и, видимо, подавила в себе желание прочесть лекцию этому новому судье о том, что происходит в цивилизованной стране.

— Каково ваше предложение?

— Направить его в колонию Виерда, ваша честь.

Жесткий сухой скрип пера по бумаге, затем судья повернулся к переводчику.

— Переведите этому мальчику, что мы направляем его в исправительно-трудовую колонию. Скажите также, что, будь он немного постарше, ему бы не избежать тюрьмы. Его проступок чуть не стоил жизни другому подростку. Переведите, что в Виерде его научат читать и писать, дадут специальность, чтобы, выйдя оттуда, он смог в будущем стать достойным гражданином своей страны.

Переводчик повернулся к перепуганному, сбитому с толку Бою, направил отсутствующий взор поверх его головы и забубнил на языке подсудимого, как это делал всегда во время суда над подобными подростками, отчасти повторяя то, что сказал судья, а большей частью излагая свои собственные мысли:

— У тебя нет ни отца, ни матери, мой мальчик. У тебя нет ничего, кроме собственной жизни, и тебе придется самому решать, как эту жизнь прожить. Есть два пути, на которые ты можешь ступить: путь честный, но трудный, и путь легкий, но бесчестный. Выбор зависит только от тебя самого... И пусть поможет тебе бог, ибо тебе предстоит очень трудный выбор.

Переводчик кончил говорить и уставился безучастным взором на скамью. Полицейский вывел мальчика в комнату, где уже сидело несколько таких же ребят, как и он.

— Вот еще один хулиган для колонии,— небрежно бросил полицейский дежурному и снова направился в зал заседаний.

УИЛЬЯМ (БЛОК) МОДИСАНЕ

Писатель и актер. Родился в 1923 году в пригороде Йоханнесбурга — Софиатауне. Сотрудничал в журналах «Драм» и «Голден сити пост». Играл в пьесе Ж. Жене «Черные», снимался в фильме «Вернись, Африка». У себя на родине приобрел широкую популярность своим автобиографическим романом «Прокляни меня в истории».

В 1959 году после сноса Софиатауна покинул ЮАР и переехал жить в Англию. В основном пишет для радио и литературных журналов, выступает с лекциями об африканской музыке и литературе.

МОЙ ОТЕЦ ДЖОЗЕФ

Мой отец Джозеф всегда был для меня символом власти, неприступности и правосудия. Он нисходил до меня, лишь чтобы учинить расправу ремнем или внушить нерушимые законы нравственности. Этот двухметровый гигант возвышался, словно недосягаемая башня, над страной моего детства, воплощал в себе единственную реальную силу, которой я боялся, и был для меня непререкаемым авторитетом. Наверное, мне следовало бы любить его за это.

Однажды вечером он привез на тачке грубо сколоченную клетку с семью голубями, а потом на повозке — собаку мне в подарок. Он вырвал у меня обещание хорошо с ними обращаться, особенно подчеркнув, сколь велика моя ответственность: животные всегда должны быть ухожены, накормлены и ограждены от опасности.

Я был страшно взволнован. Вместе с отцом мы соорудили конуру для Ровера (так мы назвали собаку) и новую двухъярусную клетку, верх которой предназначался для голубей, а низ — для кур, разводить которых очень хотелось ма Вилли, моей матери Совместная работа сблизила нас с отцом, и, пока она продолжалась, он был вроде моим другом, к которому я мог даже притронуться, делая, правда, вид, что

это прикосновение случайно. Когда же с постройкой было покончено, он снова стал для меня недосягаем. Я готовил пищу для собаки и голубей и терпел наказания, если нарушал точно составленный распорядок.

Мне было больно, что отец вновь отдалился от меня, я чувствовал себя закрепощенным своими питомцами, так как уход за ними отнимал у меня все свободное время. Приятели свистом зазывали меня принять участие в их играх, но у меня была масса обязанностей по дому. Я должен был натаскать воды из колонки, находившейся в пятидесяти метрах от дома, и наполнить два сорокалитровых бака, вымыть посуду, приготовить еду для собаки, присмотреть за младшей сестренкой. Все это не позволяло мне вырваться на улицу к друзьям и задерживало дома почти до захода солнца. А с наступлением темноты мне не разрешалось уходить со двора.

Случалось, я, рискуя получить порку, все-таки удирал из дому и возвращался лишь за час до захода солнца. Тут я лихорадочно начинал разводить огонь в жаровне, таскать воду, готовить для собаки пищу, мыть посуду и обычно часам к семи кое-как управлялся с делами. Мне, естественно, почти не хватало времени на школьные задания, да и сил уже не оставалось. Так оно все и шло, пока однажды днем отец не вернулся с работы раньше обычного. Я в тот раз играл на Гуд-стрит и вдруг заметил грозную фигуру отца с кнутом в руке. Я тут же дал деру и через ближайший двор, через заборы, ринулся домой напрямик через Голд-стрит и дальше по Виктория-роуд. Я предпочитал получить порку дома.

Быстро погрузив на ручную тележку три огромных ведра, я поспешил к колонке за водой, по пути придумывая оправдания, которые смогли бы смягчить гнев отца. Когда я вернулся с первой порцией воды, отец сидел у постели заболевшей ма Вилли, а моя сестра Сузан лихорадочно пыталась развести огонь в жаровне.

— Спасибо, Сузан, я все сделаю сам,— сказал я.— Он очень злой?

Но малышка Сузан была слишком перепугана, чтобы ответить. Она лишь прикусила нижнюю губу и молча кивнула. Я развел огонь и снова бросился за водой. Вернувшись, я разжег примус, вскипятил воду

для чая, отнес чай родителям. Отец молчал. Я нагрел еще воды, вымыл посуду. Сузан пила чай и одновременно вытирала тарелки. Пока готовился ужин, я загнал кур в сарай. Ровер скулил в ожидании еды.

Я постучал в дверь.

— Отец, я уже почти все сделал,— сказал я со всей смиренностью, на которую был способен.— Я подожду на кухне.

Он пришел минут десять спустя, запер дверь и выпорол меня кнутом, да так, что я надолго запомнил. Я вытерпел наказание без единого крика, только сильно плакал. А когда все кончилось, я вытер глаза и пошел в спальню убирать чайные чашки.

— Может, маме хочется еще чаю?

Она молча покачала головой. Я вопросительно взглянул на отца.

— Нет,— отрезал он.

Я направился к двери.

— Он неплохой мальчик,— услышал я голос ма Вилли, закрывая за собой дверь.

Эта фраза надолго врезалась мне в память, не давая покоя. Мне хотелось быть достойным ее, добиться, чтобы вместо «неплохой» обо мне сказали «хороший». Когда мои друзья начинали хулиганить, я старался отойти от них подальше и заняться поручениями отца. Я избегал драк на улице, всеми поступками силясь доказать, что я «хороший мальчик». Но однажды днем во время зимних каникул я подрался с дядей Луи, первым силачом на Голд-стрит.

Мы играли в «стеклянные глазки», и я выиграл у него все красивые разноцветные шарики. Тогда Луи вдруг потребовал, чтобы я вернул их, а у меня таких красивых никогда не бывало. Но с этим задирой Луи шутки были плохи. Я собрал шарики в мешочек и вручил их ему. Однако едва он взялся за мешочек, как я вырвал его и со всех ног кинулся домой, он мчался за мной по пятам. Метрах в пяти от калитки он все же настиг меня, ударил, и я плашмя растянулся на земле. Когда я поднялся, то увидел, что ма Вилли смотрит на меня. Этого унижения я перенести не мог. Ринувшись на дядю Луи, я стал дубасить его кулаками. Он так опешил от неожиданности, что стал драться неуклюже, и, когда нас наконец разняли, мой выигрыш остался у меня.

Когда отцу рассказали о случившемся, глаза его сверкнули гордостью. С этого дня началось наше сближение. Однажды он даже заступился за меня, когда кто-то обидел меня у водоразборной колонки. Я вернулся домой и пожаловался на того человека. Мы тут же вместе пошли к колонке, а я еще прихватил с собой палку.

— Я согласен, что непослушных детей нужно наказывать,— сказал отец,— но мой сын говорит, что вел себя вежливо.

— Он врет,— ответил незнакомец.

— Мой сын никогда не врет,— чеканя каждое слово, возразил отец.— А если он и заслужил наказание, то наказывать его буду я.

Такая уверенность отца в моей правдивости наполнила меня гордостью, но незнакомец обозвал меня лгуном, и за это я ударил его палкой. После второго удара у него проступила кровь.

— Хватит!— сказал отец и отнял у меня палку.

Потом отец извинился за меня, а незнакомец извинился за причиненную мне обиду. В моем представлении отец сделался благородным. Наши отношения все укреплялись, казалось, он сильнее полюбил меня. Мы беседовали о моих школьных делах, о моем будущем, однако, когда я заявил, что хочу стать врачом, он призадумался.

— Врач — это человек,— ответил он мне, многозначительно выделяя слово «человек».

Раньше он часто наказывал меня, но не столько за шалости, сколько за ложь, к которой я прибегал в надежде избежать наказания. Чтобы понять это, мне потребовалось много времени. Меня редко наказывали, если я говорил правду. Тогда мы просто обсуждали мой проступок, и у меня оставалось лишь чувство стыда, а не вины. Отец исподволь внушал мне, сколь отлично чувство стыда от чувства вины, которое, по его мнению, было бесплодной, обращенной внутрь формой мучений, отвлекающих человека от сути содеянного. Чувство вины так захлестывает человека, что он забывает о самом проступке. Отец же старался сосредоточить мои мысли именно на проступке, вызвать во мне чувство стыда за содеянное, и тогда, стыдясь, я старался не повторять ошибок. Впоследствии именно чувство стыда руководило моими дей-

ствиями, заставляя воздерживаться от оскорбления человека словом или действием.

Потом наступил момент, когда мир моих устойчивых представлений об отце внезапно рухнул, рассеяв в прах мои сыновние чувства. Отец в моих глазах из гиганта превратился в карлика.

Проводилась облава. Два белых констебля вместе с подручными из африканцев-мужчин проверяли пропуска.

— Показывай пропуск, кафр,— потребовал констебль у дяди Джорджа, дальнего нашего родственника.— Да поторапливайся, не целый же день нам тебя ждать.

«Нет, моему отцу он не посмеет так грубо приказывать,— подумал я с уверенностью,— ведь отец намного старше его».

— Ну, а тебя это что, не касается? Чего расселся?— заорал констебль на отца.— Предъявляй пропуск и квитанцию об уплате налогов.

Я был уничтожен. Отец внешне сохранял спокойствие, лишь в его взгляде появилась суровость. Он молча вытащил бумажник и протянул полицейскому документы — справку об освобождении от пропуска и квитанцию об уплате налогов за год. Я не мог понять, что произошло. Я сразу же возненавидел молодого констебля за то, что он унизил моего отца. Несметный рой вопросов пронесся у меня в голове, мне хотелось знать, почему так случилось. Но мое негодование обратилось тогда в первую очередь против отца, и впервые во мне зародилось сомнение в его человеческом достоинстве. Я отвернулся и убежал в спальню, стремясь найти щель, куда бы спрятаться, сжавшись в комок от стыда.

Ограниченный тесным мирком устойчивых представлений о нравственном совершенстве, я сурово осудил отца, применив к нему нормы, созданные мною в этом выдуманном, полном предрассудков мире. С этого момента мы потеряли друг друга, хотя отец по-своему и пытался вернуть себе сына. Но я был упрям и чудовищно несправедлив, и тогда отец снова превратился в воплощение власти и авторитета, авторитета, который я уже больше не уважал. Я начал бояться его, старался не попадаться на глаза и в конце концов стал видеть в нем не человека, а

только олицетворение жестокости. Я стал ближе к ма Вилли, и мы вчетвером — мать, я, Сузан и Маргарет — объединились против отца, связанные общим страхом перед ним. В этом маленьком враждебном ему мирке он, вероятно, был самым одиноким на свете человеком.

Я знал о нем совсем немного и никогда не пытался узнать, есть ли у него родители, братья, сестры. У меня были туманные сведения о том, что он родился где-то под Питерсбургом и что в Медигане у него живут какие-то родственники.

Однажды, когда ма Вилли за что-то дала мне подзатыльник, отец пришел в бешенство и запустил в нее стулом. Увидев, как сжалась и в страхе отпрянула от него мать, я весь переполнился чувством отвращения к отцу и еще большей жалостью и привязанностью к матери, ставшей для нас единственным по-настоящему родным человеком. Мать возила нас в город за покупками, следила за нашей одеждой, покупала нам школьную форму и учебники, отводила в первый день занятий в школу, помогала делать домашние задания...

Миновали годы, и как-то, поднимаясь по Тобби-стрит, я прошел мимо красивого дома, принадлежавшего семье Могеми. Они к тому времени еще не успели продать свою собственность Отделу по переселению, но все вокруг уже было сровнено с землей. Лишь лютеранская церковь да немецкая миссия возвышались среди руин, а в ста метрах вверх по дороге красовался роскошный дом доктора Ксума с двумя гаражами. Я повернул на юг по Эдвард-роуд и остановился на углу Берта-стрит. К востоку отсюда все было снесено и превращено, насколько хватало глаз, в безлюдную пустошь, заваленную строительным мусором. И тут мне вдруг до боли захотелось, чтобы рядом оказался отец, чтобы я смог обратиться к нему за поддержкой, спросить, видит ли он, что сделали с нашим Софиатауном. Но к этому времени от отца остался лишь холмик земли с номером на кладбище Крез, этот номер я запомнил навсегда в тот день, когда мы его хоронили.

Он умер в полдень шестнадцатого февраля. Я был в это время в школе и не смог оказать ему помощи, когда он отчаянно в ней нуждался. Он жил, замкнув-

шись в себе, и умер тоже в полном одиночестве, когда его дети были в школе, а ма Вилли уехала навестить родственников в Александру. Вскоре после большой перемены меня вызвали к директору школы. Мистер Накени, руководитель школы при голландской реформатской миссии, что на Мейер-стрит в Софиатауне, уже ждал меня у двери класса. Я молча проследовал за ним до самой ограды.

— Твой отец болел?— наконец спросил мистер Накени.

— Нет, сэр,— ответил я, посчитав, что ради такого вопроса не стоило вызывать меня с урока истории.

— Тебе, пожалуй, лучше пойти домой.

— Сейчас, сэр?

— Да.

Я вернулся в класс, доложил учителю и собрал учебники. Домой я шел не торопясь, по пути играя в теннисный мяч. Возле забора из рифленого железа, ограждавшего наш двор, собралась толпа. Я протиснулся вперед и увидел около калитки двух полицейских-африканцев и между ними человека в наручниках. Я ринулся во двор. Наша соседка Доротея, заметив меня, начала плакать и причитать, а потом взяла за руку и, стараясь как можно спокойнее и проще рассказать о случившемся, подвела к месту трагедии. Рыдая и всхлипывая, она сказала мне, что истерзанное и невероятно раздувшееся тело, чудовище, в котором едва можно было узнать человека,— мой отец. Вместо лица — бесформенная масса мяса и крови, ни носа, ни глаз не видно. Единственным признаком жизни была вздымавшаяся грудь. Он был совершенно неузнаваем, и в первый миг я испытал лишь отвращение и жалость к этому безликому существу. Он мог быть кем угодно, мой ужас от этого не стал бы меньше. Я оглянулся на человека в наручниках — это у него хватило сил совершить такое. В нем не было ничего, что могло бы хоть как-то отличить его от других, и я даже не почувствовал к нему гнева.

Оказывается, между отцом и этим человеком произошла ссора, они разошлись, затаив злобу друг к другу, но отец быстро остыл и, думая, что тот тоже успокоился, зашел в дальний угол нашего двора, там

этот человек неожиданно налетел на него, повалил на землю и стал избивать кирпичом, пока отец не потерял сознание. Так, не приходя в себя, он и умер.

Я смотрел на распростертое тело, стараясь найти хоть что-то знакомое, способное приблизить ко мне этого человека, какой-нибудь знак или метку, по которой можно было бы узнать его. Плакать я не мог. Мне лишь хотелось упасть рядом с ним. Я с ужасом сознавал, что совсем не помню его лица. За время бесконечно долгого ожидания «скорой помощи» я ни разу не заплакал, вернее, не мог заставить себя заплакать. И с тех пор, с четырнадцати лет, я никогда не плачу.

К смерти нельзя привыкнуть. Каждая смерть вызывает особую боль, и каждая чужая смерть уносит маленькую частицу нашей собственной жизни. А мне с тех пор так часто доводилось видеть смерть, что уже стало нечего приносить ей в жертву. Боль потери как бы скользит мимо моего сознания, но иногда передо мной встает кошмарное видение смерти моего отца, и тогда я впадаю в состояние возбуждения, все тело начинает зудеть, и я раздираю его до крови...

Кто-то известил ма Вилли о происшедшем, и она, заехав в больницу, вернулась в свой дом уже вдовой.

— Мы брошены в пустыне,— сказала ма Вилли на языке сесуто,— мы сироты, лишившиеся защиты.

— Да, мама.

— О боже, отныне мы в твоей власти,— простонала она.— Мы твои чада и будем уповать на твою милость.

— Господи, помоги нам.

— Нужно сообщить родственникам, всем друзьям, надо разослать телеграммы. Мы уже договорились об отправке детей к Алексу, а тебе, сын, придется взять на себя организацию похорон. Сообщи в похоронное страховое общество, и они все сделают сами.

— Теперь ты единственный мужчина в этом доме,— добавил дядя Лекоба.

И с этого дня я, четырнадцатилетний мужчина, взвалил на себя все заботы о семье из четырех человек. С помощью родственников я вынес мебель из спальни и подготовил все для церемонии оплакива-

ния. Я надел свои единственные брюки, купил свечи и еду для плакальщиков, которым предстояло провести в комнате всю ночь, приготовил ужин и накормил детей и ма Вилли, уже облачившуюся в траурную одежду.

Позже к матери пришли все ее сестры и братья, их взрослые дети, друзья, соседи и знакомые. Начался обряд поминовения. Все сели в круг и оставались в комнате целые сутки. Они пели заупокойные псалмы, печальные песни народности тебелло, поминальные молитвы, которые большинство собравшихся знало наизусть. Эта смерть никого не привела в ужас, она лишь опечалила и наполнила их чувством жалости. Я принимал тех, кто приходил выразить нам соболезнование, и благодарил их за участие.

— Да, все это очень печально,— сказал один из пришедших.— Он был хорошим человеком, он не был злым и не заслужил такой смерти.

— Так умереть,— подхватил другой,— какая обида! Умереть, как животное! Помилуй его бог!

— Каждый умирает так, как ему предначертано,— продолжал какой-то мужчина.— Но этот человек не заслужил такой ужасной смерти. Судьба сыграла с ним злую шутку.

Люди все приходили и приходили, и каждый находил для меня доброе слово. Для большинства из них нелепая гибель отца представлялась неразрешимой загадкой, ибо все они наивно полагали, что каждому уготована смерть соответственно его заслугам. Почему же мой отец умер, как собака? Видимо, это волновало их больше, нежели сам факт смерти.

— Это плохое предзнаменование,— сказал кто-то, скорбно качая головой.— Это нехорошо, это предвещает беду.

— Клянусь истиной, это так,— подтвердила какая-то женщина.

— Бедный человек ушел к праотцам.

Они говорили на языках своих племен — сото, зулу, коса,— и большая часть их представлений и скрытое значение символов были мне непонятны. Я вежливыми жестами объяснял им, что должен помочь приготовить угощение. Мои двоюродные сестры и братья во дворе устроили угощение для приходивших помянуть отца. На жаровне в огромных ча-

нах кипела вода, а рядом, на столе, стоял громадный чайник с чаем, чашки и блюдца, лежало несколько буханок хлеба, масло, банки с домашним вареньем. Около десяти часов обнесли чаем первую группу людей.

Народу собиралось все больше и больше. Женщины приходили одни или в сопровождении мужей, сыновей, молодые девушки — парами или вместе с братьями и возлюбленными. На всех были черные одежды, на головах — шарфы, шали или черные береты. Они пришли для того, чтобы, участвуя в поминальном обряде, выразить соболезнование осиротевшим родственникам. Мужчины вышли из комнаты, освободив место для женщин. Собралось так много желавших помянуть покойника, что пришлось поставить скамейки во дворе. Мои двоюродные сестры раздавали черные покрывала женщинам, не захватившим их с собой из дому, а мужчины, сидевшие вокруг жаровни, уступали место женщинам, которые пели псалмы. Я попросил Бетти, мою самую любимую двоюродную сестру, разжечь еще одну жаровню.

В ту ночь и в последующую неделю, пока шли поминки, я обнаружил, что у моих родителей очень много друзей. Соседи несли вещи, которые, как они думали, могут нам понадобиться: чашки и блюдца, скамейки и жаровни, огромные чайники, ложки. Я был тронут этим духом содружества. Однако тетя Летти, женщина старых взглядов, была, напротив, расстроена и обескуражена.

— Завтра все будут говорить, будто мы попрошайки,— сказала она.— Ты себе даже не представляешь, как злоязычны люди.

— Но мы же ничего не просили, тетя,— удивился я.

— Завтра же мы принесем наши собственные вещи от Алекса,— категорически заключила она.

Я очень удивился, заметив, что женщины, сидевшие на скамейках во дворе, пели псалмы, не заглядывая в псалтырь, они знали наизусть даже порядок, в котором следовало их петь. Лишь много позже я узнал истинную причину, почему на похороны моего отца собралось такое огромное число людей. Но в тот момент я не понял скрытого смысла разговора, который случайно донесся до меня.

— Много собралось людей,— сказал один паренек.

— Хм, много.

— Ма Вилли охотно ходит на поминки.

Лишь потом мне стало ясно, что присутствовать при оплакивании и ходить на похороны — непременная общественная обязанность. Чем больше похорон посетит человек, тем больше сочувствующих он может ожидать, когда смерть явится в его дом. Немноголюдные похороны — это позор для всей семьи. Поскольку в сознании живущих жизнь и смерть сосуществуют рядом, к тому же смерть так близка для каждого, мы все находимся в состоянии готовности к похоронам. У женщин в шкафу всегда наготове траурная одежда, многие мужчины тоже имеют черные или темные костюмы. У нас приняты строгие поминальные обряды, и мы посещаем поминки так часто, что помним наизусть все псалмы.

— Можешь сейчас взять мое пожертвование?— спросил меня какой-то человек.— Завтра я уезжаю в Преторию. Я хочу расписаться в книге пожертвований, чтобы ты знал, что я тоже что-то внес.

— Мы благодарим вас,— ответил я.— Сейчас я принесу книгу.

Это тоже был один из обрядов: люди отдавали сколько могли на погребальные расходы. Меня никто не предупредил, что нужно будет записывать фамилии рядом с суммой пожертвованных денег, и мне пришлось использовать для этого одну из школьных тетрадей.

— Вот книжка, дядя,— сказал я.

Около полуночи все мои двоюродные сестры под присмотром тети Летти стали обносить собравшихся маисовой кашей с мясом, а потом снова подали чай. Угощение продолжалось всю ночь. К трем утра я валился с ног от усталости, но даже не мог и думать, чтобы хоть немного вздремнуть. Ведь отныне я стал главой семьи, и мой уход мог быть воспринят как невежливость. Если уж незнакомые люди могут просидеть всю ночь в память о моем отце, то мне следовало еще усерднее выполнять свой сыновний долг.

Хотя смерть и раньше вторгалась в мою жизнь, например, когда умерла Ненси, моя жизнь, по существу, не менялась. И лишь теперь я в полной мере

осознал пустоту, которую смерть вносит в наши жизни. Мы стали скучать без нашего бедного, одинокого отца, он сделался для нас самым любимым человеком.

Похороны были большими, на таких я присутствовал впервые в жизни. По инструкции из морга нам было запрещено открыть гроб. И таким образом семья лишилась возможности, как это обычно принято, в последний раз взглянуть на покойного. Носильщики вынесли гроб из дома, поставили его на катафалк. Когда они проходили мимо меня, я заметил, что на гробе по ошибке кто-то написал: «Уильям Модисейн». Увидев свое имя вместо имени отца, я испугался — в этом было что-то символическое. Получалось, что формально умер я, а не отец.

Похороны глубоко потрясли меня, и хотя я изо всех сил старался держаться как взрослый, мне это плохо удавалось — напряжение оказалось слишком сильным. Я ничем не опозорил себя, не уронил своего мужского достоинства, постарался сохранить самообладание и не расплакаться. А мне так хотелось перенестись куда-нибудь в другое место и там, став самим собой, ребенком, рыдать, захлебываясь в слезах! Во время обряда освящения могилы мне протянули совок с землей, и я понял, чего от меня ждут. Я должен был бросить горсть земли на гроб, но никак не мог заставить себя осыпать землей собственного отца. Мне все казалось, что это было бы все равно как вымазать грязью бога предков.

Я не мог объяснить эти чувства человеку, протягивавшему мне совок. Тогда дядя зацепил моей рукой, словно инструментом, землю из совка, а потом, разжав мои пальцы, вытряхнул ее над гробом. Я зажмурил глаза, чтобы не видеть, что делает моя рука.

Когда после похорон все вернулись с кладбища домой, на улице возле калитки уже стояли две железные ванны с водой, и перед тем, как войти во двор, все по очереди вымыли руки. Это было обрядом очищения, или омовения, означавшим, что люди смыли смерть со своих рук.

День похорон совпал с началом убоя скота и пирами, связанными с этим праздником, который на этот раз как бы отмечал неотвратимость смерти.

ЭЗЕКИЕЛ МПАХЛЕЛЕ

Прозаик, поэт, критик и литературовед. Родился в 1919 году в трущобах Претории. Был учителем английского языка и африкаанс. В 1957 году покинул родину. Читал лекции по африканской литературе в Найроби, Лондоне, Париже. В настоящее время является профессором литературы в Лусакском университете (Замбия).

Основные произведения Э. Мпахлеле — автобиографический роман «Вниз по Второй авеню» (1959), публицистическая книга «Образ африканца» (1962), сборники рассказов «Живой и мертвый» (1965), «В секторе Б» (1967) и другие.

Рассказы Э. Мпахлеле неоднократно публиковались в СССР в периодической печати, в сборниках, были изданы отдельной книжкой «Григ на украденном фортепиано» (М., Б-ка «Огонек», 1968).

В ЮАР все произведения Э. Мпахлеле изъяты. Запрещены ссылки на его статьи, упоминание в печати его имени.

ЖИВОЙ И МЕРТВЫЙ

Лебона почти физически ощущал, как письмо жжет ему карман. С тех пор как он подобрал его у железнодорожного полотна, оно не давало ему ни минуты покоя. «Прочту в обеденный перерыв,—решил Лебона.— А пока надо работать — подбирать мусор на платформе и железнодорожных путях, эти пассажиры только и знают, что сорят».

Хорошо еще, что Лебона придумал, как облегчить себе труд. К концу железного прута он прилепил кусок вара. Стоит дотронуться до обрывка бумаги или спичечного коробка, и можно не кланяться: поднимай, прилипло. А там уж отдирай мусор от вара и бросай в мешок, что висит на плече.

Но вот беда: в голову лезут разные мысли. Взять хотя бы вчерашний случай. Умер человек. Прямо так, ни с того ни с сего. Как же можно, чтобы человек

вот так умирал, словно крыса или последняя собака?..

Поток пассажиров уже схлынул. На скамейках вдоль платформ осталось лишь несколько женщин. Одна прямо не спускает с него глаз. Толстуха. Следит за каждым его движением. Впрочем, женщины все такие: пялят глаза безо всякой причины. Может, так, от безделья, а может, что-то и есть на уме. Лебона знал: будь на его месте даже муха, та женщина и на нее могла бы пялиться целый день. Во всяком случае, о лежащем у него в кармане письме она не может знать и не имеет к нему никакого отношения. Он подобрал его там, внизу, у железнодорожного полотна. Пусть думает, что хочет, не ее это письмо!..

А тот человек... Кто бы мог подумать, что человек может вот так вдруг умереть, будто смерть все время сидела у него в кармане или в глотке?

Стоффель Виссер был вне себя от злости, ибо чувствовал, что оказался в дураках. Все пошло кувырком. А ведь в университете его учили, что все должно подчиняться строгому порядку, вплоть до самой незначительной мелочи.

— Да ты не волнуйся, Стоффель.

— Таких вещей не прощают!

— Но зачем валить свою вину на других?

— Ради бога, Доппи, оставь свои поучения!

Доппи Фури замолчал и налил себе еще виски.

— Во всем виноват Джексон,— все больше раздражался Стоффель.— Вчера у него был выходной, он должен был вернуться вечером, приготовить мне ужин — и не явился. Утром его тоже нет. Завтрак пришлось готовить самому. А ты же знаешь, мне необходимо с утра хорошо поесть. Плюс ко всему испортился будильник, а этого ублюдка Джексона не оказалось на месте. Вот я и проспал, что, сам понимаешь, не мудрено после вчерашней вечеринки. Ну как я теперь успею к кейптаунскому поезду? Как передам материалы Ренсу?

— Вот и я о том же, Стоффель,— подхватил Фури.— Я все думаю, в какое трудное положение мы попали. Теперь министр получит доклад перед самой

сессией, у него даже не будет времени его обдумать. Как же нам быть?

— Еще можно попытаться отправить доклад срочной депешей.

Фури насупился.

— Ну ладно, у тебя такой вид, будто на нас небо валится,— сказал Стоффель больше себе, чем приятелю.— Выпей-ка еще виски.

Он налил себе и Фури.

— А все-таки здорово мы с тобой поработали, верно, Доппи?

— Да, неплохо. А это ты видел?

Фури дрожащим пальцем ткнул в заметку, напечатанную в газете. Сообщалось, что в одном из загородных домов африканцы, воспользовавшись отсутствием белых хозяев, устроили «разнузданную попойку» с музыкой и танцами.

— Ну теперь ты видишь!— воскликнул Стоффель.— Ведь именно об этом я без конца твержу уважаемым членам комиссии! Но где этим болванам понять простые вещи! Кафры заполнили кварталы белых — живут, плодятся, пьянствуют, режутся в карты, спят со своими девками! Эти типы из комиссии только тогда возьмутся за ум, когда кафры залезут в их собственные дома, начнут там командовать, станут спать с белыми женщинами. Что же тогда будет с нашей цивилизацией?

— Не вздумай держать еще одну речь, Стоффель! Мы так много говорили об этом в комиссии, что меня уже тошнит от всей этой болтовни.

— Ну знаешь, Доппи Фури! Я говорю это не для собственного развлечения.

— Я ничего такого и не думал, Стоффель. Наоборот, я всегда восхищаюсь твоим умом. Даже завидую тебе: на любой вопрос у тебя есть ответ. Но сегодня я не в состоянии слушать. Сегодня я настроен пить.

— Но ты же знаешь, дружище, что тебе придется слушать, раз мне захотелось высказаться. Хочешь не хочешь, а придется, и все.

Доппи посмотрел на Стоффеля, хрупкого на вид, с тонким, артистическим лицом, на котором не было ни тени бахвальства своим интеллектом. «Да, парню вроде меня, с внешностью регбиста и вечной дурацкой бравадой, за ним не угнаться»,— подумал Доппи.

Иногда он презирал себя за то, что в присутствии Стоффеля им овладевало чувство неполноценности. Вот и на сей раз, пока Стоффель философствует, он сидит с обиженным, надутым видом.

— Вот что я хочу сказать тебе, дружище,— продолжал Стоффель.— Я лучше бы поездил по разным странам, посмотрел на мир, познакомился с людьми, их жизнью, культурой, расширил бы свои познания в искусстве, чем гнить в этой дыре и терпеть тупых болванов, с которыми приходится работать в комиссиях. Я знаю, Доппи, ты не веришь ни одному моему слову, но разве не нашлось бы сотни людей, которые охотнее занялись бы более приятным делом? К сожалению, каждый из нас вынужден оседлать своего конька — не всегда покладистого к тому же. Хочешь не хочешь, а приходится его полюбить. Раз живешь здесь, вырабатывай в себе государственное мышление. Вот почему, старина, нам нужно говорить и говорить. У нас слишком мало времени, мы не можем тратить его на то, чтобы рассматривать все вопросы досконально. Нам нет смысла притворяться, будто, управляя кафрами, мы обращаемся с ними честно и справедливо. И стоит ли убеждать их в том, что жизнь в резервациях хороша? Именно потому, что мы знаем, чего они хотят, следует подавлять все их надежды и стремления.

Опасность, старина, не только в том, что в кафрах зреет отчаяние и возмущение,— продолжал Стоффель.— Она еще в большей степени в том, что мы, белые, убеждаем себя, будто говорим кафрам правду. В один прекрасный день это может усыпить нашу бдительность и привести к катастрофе. Вот почему, Доппи, нам нужно без конца тормошить белых. Наши люди слишком легко все забывают и погружаются в спячку. В этом-то и опасность!

Доппи зааплодировал полунасмешливо-полувосхищенно. Но он был по-настоящему изумлен. В такие минуты он никогда не мог подобрать точного слова, чтобы сказать себе, что такое Стоффель Виссер. Гений? Возможно. Но вдруг Стоффель начинал изрекать такие банальные истины, что Доппи думалось: «Да нет, Стоффель такой же заурядный человек, как и мы все. И ничего в нем нет особенного кроме простого упрямства».

Эта мысль приносила некоторое утешение.

Доппи не любил сложных натур — к ним не подходили привычные мерки. Насколько проще была бы жизнь, если б можно было привесить ярлык к лацкану пиджака любого человека — подобно тому, как дамы из благотворительного общества прикалывают жетоны тем, кто бросает монету в их кружку.

— Ну, ладно,— закончил Стоффель.— Не будем больше говорить об этом, старик. Мы ведь еще не сказали в докладе своего последнего слова о негритянских слугах в квартирах белых.

Целых три месяца Стоффель Виссер не покладая рук трудился над этим докладом для комиссии по социальным вопросам христианско-протестантской партии. Он был секретарем этой комиссии. Этот доклад и нужно было вручить сегодня Толлену Ренсу, депутату парламента от их округа. А тот, в свою очередь, должен был обсудить его с одним из членов кабинета министров.

В докладе говорилось, что пора принять жесткие меры против того «постыдного» положения, которое сложилось в последнее время.

И вот теперь Стоффель Виссер был готов отрубить себе голову за то, что опоздал к поезду и не передал доклад Толлену Ренсу. И все из-за этого ублюдка Джексона! Не мог явиться вовремя, чтобы разбудить хозяина и приготовить ему завтрак.

— Ладно, Стоффель, до свиданья, увидимся завтра в комиссии.

Доппи Фури был уже изрядно пьян. Направляясь к двери, он неуклюже повернулся на каблуках. Бессмысленная улыбка расплылась по его лицу.

Они дружили давно, но всякий раз, когда между ними речь заходила о чем-нибудь серьезном, Стоффель Виссер буквально ошеломлял и подавлял приятеля своим интеллектом. И чем больше напивался Фури, тем острее чувствовал свою ничтожность по сравнению со Стоффелем. И если Фури пытался, но не находил в себе сил вырваться из-под влияния своего друга, то тот, со своей стороны, делал все, чтобы сохранить дружеские отношения. Ему нужен был постоянный объект для умственной разрядки.

Мысли Стоффеля мало-помалу возвращались к домашним делам, к Джексону. Откровенно говоря,

он привык к своему чернокожему повару и даже привязался к нему. Вот уже четыре года, как Джексон верой и правдой, с преданностью дрессированного животного служил ему. Он покорно исполнял малейшие прихоти хозяина — капризного холостяка и гурмана. Правда, Джексону не нужно было убирать комнаты: Стоффель снимал квартиру, и это делала прислуга, которой платила домохозяйка.

Вчера, в четверг, как обычно, у Джексона был выходной день, и он поехал в Шанти-таун, где под присмотром тещи жили двое его ребятишек. Он намеревался сводить их в зоопарк. Уж сколько раз он обещал это детям! Его жена не могла пойти с ними, потому что должна была кое-что сшить для малышей.

Стоффель вспомнил, что это уже второй случай, когда Джексон не возвращается вовремя после выходного дня. В первый раз он явился только на следующее утро и долго умолял простить его. А теперь? «Куда мог запропаститься этот проклятый кафр?» — думал Стоффель. Но он был слишком удручен собственными неприятностями, чтобы долго размышлять над тем, что могло случиться с Джексоном.

Мысли Стоффеля блуждали по кругу, подолгу не задерживаясь ни на чем. Вспоминалось то одно, то другое. В ушах звучали раздраженные голоса, которые он столько раз слышал на последних заседаниях. Местные белые, взбудораженные речами таких ораторов, как он, Стоффель, требовали, чтобы число африканской домашней прислуги было сокращено, иначе дело кончится тем, что кафры начнут хозяйничать в белых кварталах.

Но тут же в памяти всплывали другие, не менее возбужденные голоса: если выселить из европейских кварталов всех черных слуг, то кто же будет вовремя будить белых на службу? И потом, кто сказал, что в наших домах чересчур много прислуги? Каждый волен иметь столько слуг, сколько позволяют ему средства.

Голоса звучали все громче и яростнее, и гул их, подобно морскому прибою, то откатывался, то приближался, подтачивая самодовольство Стоффеля. Разные голоса, различные аргументы, порой противоречивые, но все — в защиту одних и тех же принципов. То мягкие, вкрадчивые интонации, то угро-

жающие, истерические выкрики. В голове проносились обрывки фраз: «Вы не будете...» — «Нет, мы будем...», «Мы можем...»— «Вы не можете...», «Они не смеют...» — «Они будут...», «Почему они должны?..»— «Почему они не должны?..»

Конечно, усмехнулся Стоффель, кое-кому из этих покровителей кафров страшно даже подумать, что им придется лишиться дешевой прислуги, если всех кафров выселят в негритянские резервации.

Среди всего этого хаоса голосов он с трудом улавливал свой собственный. Да, он, не щадя себя, трудится, создавая стройную теорию в защиту издавна сложившихся взглядов, коренных принципов, которые на протяжении всей его жизни внушали ему мать, отец, братья, друзья, школьные учителя, университетские профессора — все те, кто считали его своим. Он, можно сказать, с молоком матери впитал в себя убеждения, которые сейчас отстаивал. Иначе и быть не может: за любое дело следует браться лишь в том случае, если абсолютно убежден в его правоте, иначе ничего не получится!

И как-то сами собой эти голоса вдруг оказались лишь отзвуком далеких голосов его предков, отражением ружейной пальбы, грохота пушек, скрежета огромных колес старинных фургонов, тащившихся по песку и камням — голосами ненависти и кровавой мести.

Он чувствовал это прошлое в своей крови, оно неумолимо тянуло назад, сквозь толщу времени, силясь уцепиться за кончики оборванных нитей, связывающих его жизнь с той далекой, страшной эпохой. И Стоффель отдался этому страстному желанию — ощущать себя частицей кровавого прошлого, только бы не быть раздавленным настоящим, только бы не потерять свою индивидуальность, о господи, только не это, только не это! Он безотчетно прятался под непроницаемый панцирь, чтобы заранее уберечься от тяжелых мыслей и чувств, которые когда-нибудь в будущем смогут причинить ему боль...

Стоффель Виссер очнулся от овладевшего им оцепенения. Он вспомнил о жене Джексона Вирджинии, работавшей в Гринсайде. Черт возьми, как же он раньше не догадался узнать у нее о Джексоне? Вскочив со стула, он подбежал к телефону, на-

брал номер. Подошел хозяин дома. Нет, Вирджиния представления не имеет, где ее муж. Она только знает, что в воскресенье он собирался сводить детей в зоопарк. Она сама хотела бы знать, что с ним случилось. Почему Виссер до сих пор не позвонил в полицейский участок? Хозяин Вирджинии тоже задал ему несколько вопросов. Стоффель разозлился, потому что не знал, как на них отвечать.

Ни в полицейских участках предместья, ни на Маршалл-сквер имя Джексона в журналах происшествий не значилось. Стоффеля, правда, заверили, что, как только что-либо станет известно, ему незамедлительно сообщат. В одном из участков обладатель молодого голоса высказал предположение, что кафр Стоффеля скорее всего спит где-нибудь со своей подружкой, а про работу забыл или не может продрать глаз с похмелья и валяется где-нибудь в негритянском квартале. «Разве вы не знаете, что это за народец?»— закончил полицейский и рассмеялся тоненьким, противным голоском. Стоффель со злостью повесил трубку.

Тут он услышал слабый, неуверенный стук в дверь. Стоффель открыл ее, одолеваемый тревожным предчувствием. На пороге стоял, вытянувшись по-солдатски, со шляпой в руках, какой-то африканец.

— Ко мне?

— Да, баас.

— Что тебе нужно?

— Я принес вам вот это, баас,— сказал негр и, протягивая письмо, подумал: «Точь-в-точь такой же, как те белые, что работают у нас на железной дороге».

— Чье это письмо? Гм, оно адресовано Джексону. Ты где его нашел?

— Я убирал у железнодорожного полотна, баас, всякие бумажки, мусор на станции Парк-стиш. Подбираю, а в голову лезут разные мысли... Потом вижу — письмо... Кто бы это, думаю, потерял? А тут...

— Ну ладно. А почему ты не отдал письмо своему начальнику?

— Они там держат эти письма по многу месяцев, баас, и никто не приходит за ними.

В тоне, каким это было сказано, чувствовался

намек, что Стоффелю все это и самому хорошо известно. «Какая наглость,— подумал Стоффель,— позволяет себе осуждать действия белых! Не то, видите ли, и не так они делают».

— Ты врешь! Тебе захотелось вскрыть письмо и посмотреть, что там внутри, нельзя ли чем поживиться? А увидел, что там пусто, денег нет, заклеил снова, да испугался, что начальник догадается, когда будешь отдавать ему письмо. Что, неправда?

— Неправда, баас. Я хотел непременно принести его сюда.

Африканец немигающим взглядом уставился на письмо в руке Стоффеля.

— Видит бог, я не вру,— сказал Лебона, радуясь возможности соврать человеку, который все равно не докопается до истины, и в то же время подумал: «Сами-то вечно врут, вот и не представляют, чтобы кто-нибудь мог сказать правду».

«Знаю я их, они всегда врут белым,— думал Стоффель,— даже когда в этом нет никакой нужды, врут просто так, из наглости».

И чем больше африканец проникался уверенностью, что он честно исполнил свой долг, тем сильнее раздражался белый.

— Где живешь?

— В Кенсингтоне, баас. Сейчас поеду туда. У меня там жена работает, баас.

«Вот, пожалуйста! Еще один черномазый в квартале для белых! Ничего, скоро мы этому положим конец. А рожа-то, рожа какая наглая!»

— Ладно, ступай!

Все время, пока они разговаривали, стоя друг против друга через порог, Стоффель с отвращением думал, как разит потом от этого черномазого.

Лебона собрался было уйти, но, вдруг что-то вспомнив, начал рассказывать взволнованно и торопливо:

— У меня прямо сердце рвется на части, баас. Этот бедняга, он только успел сойти с поезда... Вы знаете, там на платформе всего одна лестница. Я и раньше думал: как это людям удается подниматься вверх, когда сверху на них напирают другие? А когда там поставили железную решетку, проход стал совсем узким, вдвоем не разминуться. А тут как раз с

другой стороны платформы отходил поезд на Орландо.

«На кой черт он все это мне рассказывает? Он что, думает, у меня здесь бюро жалоб, что ли?»

— И вот смотрите, какое получилось дело: толпа с поезда повалила наверх, а другая — ринулась вниз, на посадку. Я как взглянул — даже присвистнул: люди неслись друг на друга, словно две реки.

«Видно, он из тех кафров, что воображают, будто они очень красноречивы».

— Ну а этот человек, вижу, проталкивается вверх. А тут толпа сверху как нажмет! Он и упал. Они давят, топчут его ногами. Так все по нему и прошли. Он покатился вниз по ступенькам. Кровь изо рта, из носа так и хлещет, прямо как поток. «Да он уже мертвый, бедняга»,— подумал я.

«Долго еще этот черномазый будет задерживать меня своей болтовней? Какое мне до всего этого дело?»

— И вот умер человек такой смертью! Ну вот как бы, к примеру, я спускаюсь сейчас с вашей лестницы, и вдруг вам говорят: он умер!

«А мне на тебя наплевать!»

— Еду я в трамвае, а сам все думаю, может, его письмо-то?

— Ну довольно, хватит! Я разберусь.

Лебона наконец стал спускаться по лестнице, неспешным уверенным шагом. Стоффель с облегчением перевел дух. Он сразу же позвонил в больницу и в морг, но и там никаких следов Джексона не оказалось. Вскрыть письмо? Может, в нем ключ к разгадке. Нет, нет, ни за что! Только кафры способны вскрывать чужие письма.

В дверь снова постучали. Стоффель открыл, на пороге стояла жена Джексона, Вирджиния.

— Его еще нет, баас?

— Нет.— Стоффель предложил ей пройти на кухню и сесть.— Куда он мог запропаститься?— спросил он раздраженно.

— Не знаю, баас.— Она тихо заплакала.— В воскресенье, баас, он заходил в дом моего хозяина, мы поговорили о детях. Вы знаете, у нас их двое. Одному семь, другому пятый годок. Старший прямо выли-

тый отец: глаза, нос точь-в-точь как у Джексона. Им столько наговорили про зоопарк, вот они и стали просить отца сводить их туда, и Джексон обещал им. Она перевела дух и снова стала тихонько всхлипывать, словно слезы помогали ей говорить членораздельно.— Младшенький обожает отца, и Джексон его тоже любит безумно. Старший, его зовут Нкати, такое тут недавно отмочил! Бабушка привезла их к нам повидаться, а он и говорит отцу: «Хоть бы ты умер». Это за то, что отец не дал ему еще одну конфету. Представляете, какой сорванец растет! Ему нужна сильная, мужская рука, а то и вовсе свихнется. А вдруг с Джексоном... Господи, владыка небесный, вдруг...

Ее рыдания стали совсем безудержными.

— Ладно. Я постараюсь найти его, где бы он ни был. А теперь ступай. Мне нужно закрыть квартиру.

— Спасибо, баас.

Она ушла.

Стоффель вышел на улицу, сел в машину и поехал в полицейский участок, находившийся в пяти милях от его дома. Впервые в жизни он был обеспокоен судьбой негра. Он решил во что бы то ни стало отыскать его, так как нуждался в нем, по крайней мере, как в слуге.

Горестный взгляд Вирджинии, наивной, преданной Вирджинии, ее сбивчивая, нечленораздельная речь; этот черный железнодорожник с его манерой болтать, не спрашивая, хотят ли его слушать; двое детишек, которые, может быть, остались сиротами, пока отец добирался к ним в деревню; мертвец, скатывающийся по ступенькам привокзальной лестницы, и уборщик, опечаленный нелепой кончиной совсем незнакомого ему человека,— все это всплывало одно за другим, сплетаясь в запутанный узел. Стоффель давно приучил себя мыслить категориями, не допускающими компромиссов. Черное — это черное, белое — это белое, ничего другого не существует. Поэтому он вдруг растерялся, будучи не в состоянии ответить на вопросы, которые всплыли откуда-то из глубин сознания; такие назойливые и бесцеремонные вопросы, они то вспыхивали, как метеор, то медленно выползали из сокровенных глубин его души, подобно тому, как зимнее солнце медленно выползает из-за горизонта.

Он попытался не поддаваться. Он знал: куда легче решать проблемы, которым заранее отведено свое место.

Знакомый, работавший в полицейском участке, пообещал ему помочь. Он вспомнил о письме. Почему он не отдал его жене Джексона? В конце концов, у нее столько же прав на это письмо, сколько и у мужа. Позднее, уже придя домой, он никак не мог преодолеть желания вскрыть письмо. Может быть, в письме есть хоть какая-нибудь ниточка? Он осторожно вскрыл конверт. Внутри оказались очень милые фотографии: на одной — мужчина и женщина, на другой — двое детишек, очевидно их дети. Да, несомненно, это были дети Джексона.

Письмо, вложенное в конверт, начиналось с обращения к самому Джексону. Стоффель прочитал его. Оно было прислано откуда-то из Уэндаленда, от отца Джексона. Отец писал, что сильно болеет и не надеется долго протянуть. Он звал сына поскорее приехать к нему, потому что местные власти все время настаивают на том, чтобы он расстался с частью своего домашнего скота — это-де нужно, чтобы уберечь окружающие поля от опустошения. Пусть приезжает поскорее сын, писал старик, пусть займется этими делами, потому что сам он уже слишком стар и немощен. У него хватило сил только на то, чтобы сказать властям, что людям нужно иметь побольше земли, а не поменьше скотины. До него доходили слухи, что у белых есть какое-то средство, от которого женщины перестают рожать, но если белые думают, что он собирается проделывать такие фокусы со своими овцами и ослицами, то пусть на это не рассчитывают: это будет лишь тогда, когда ослица принеет в приплод теленка. Видит бог, у него хватило сил на то, чтобы поклясться, что он не уменьшит поголовья своего скота. Джексон должен приехать как можно скорее. А еще он посылает с этим письмом свои любимые фотографии: он хочет, чтобы они были в сохранности, потому что сам он может умереть в любую минуту. Это письмо он посылает с человеком, который уезжает в «золотой город». Письмо кончалось так: «Да благословит бог тебя, мой сын, и мою невестку, и моих любимых внуков. Я умру спокойно, потому что уже была у меня бо-

жественная радость — я подержал на коленях своих внучат».

Письмо было написано ужасными каракулями, совершенно без знаков препинания. Пальцы не слушались Стоффеля, когда он вкладывал письмо обратно в конверт.

В понедельник в обеденный перерыв Стоффель Виссер заехал к себе домой просто для того, чтобы проверить, не объявился ли его слуга. Джексон лежал на кровати в своей комнате. Лицо и лоб у него были перевязаны свежими бинтами, голова казалась от этого неимоверно большой, глаза болезненно сверкали из-под распухших век.

— Джексон!

Слуга взглянул на него.

— Что с тобой случилось?

— Полиция.

— Где?

— Полицейский участок Виктория.

— За что?

— Меня назвали обезьяной.

— Кто?

— Белые люди в поезде.

— Расскажи все по порядку!

Стоффель чувствовал, что слуга не хочет отвечать. Поникшие плечи Джексона, весь его облик, когда он сел в кровати, говорил о горечи и обиде.

— Вы все равно мне не поверите, баас. Черные всегда врут, да?

— Нет, Джексон. Но я смогу помочь только в том случае, если ты мне все расскажешь.

С большим трудом белый старался быть терпеливым.

— Сводил я детей в зоопарк. Обратно еду, сижу, читаю книжку, мне ее дали в вечерней школе. Вдруг в вагон входит белый. Оглядел всех с ног до головы, видит, я читаю, и говорит: «Посмотрите, эта обезьяна делает вид, будто что-то смыслит в грамоте». Приказал мне встать, раскричался, словно бабуин, который в первый раз видит человека. Я вспылил, все во мне закипело. Схватил я его за грудки да тряхнул как следует. Вы видели когда-нибудь, как трясут дерево с созревшими плодами? Вот и я тряхнул его так. Другие белые повскакивали, вытолкали

меня в тамбур и начали избивать. Сильно избили. На станции швырнули меня на платформу, и я упал на колени. Они подняли меня и поволокли в участок. Не в самом городе, а где-то далеко, не знаю даже, где это было. Но теперь сдается мне, что это было на станции Виктория. Приволокли в полицию и заявили, что я устроил пьяный дебош в поезде. Меня спрашивают, есть ли у меня при себе деньги. Я говорю, что денег у меня нет, и прошу их, чтобы они позвонили вам, баас. Они отвечают: за наглость тебе еще причитается. И снова принялись бить меня и пинать. Потом выбросили на улицу, и я поплелся в больницу. Много миль прошел, пока добрался... И теперь у меня все болит.

Джексон замолчал и низко опустил голову. Потом снова поднял ее и сказал:

— Я потерял письмо от своего отца, которое мне передали в Шанти-тауне. Там были такие хорошие фотографии. Хотел прочитать письмо, когда вернусь сюда.

В каждом движении, в каждом звуке голоса Джексона чувствовалась нестерпимая душевная боль — Стоффель видел это. Как часто он читал в газетах о подобных происшествиях, но никогда не задумывался над ними. Он велел Джексону оставаться в постели и в первый раз за четыре года вызвал к своему слуге врача. Раньше он просто отсылал его в больницу.

Четыре года служил у него этот африканец, но он ничего толком не знал о нем — разве лишь то, что у него есть жена и двое детей, которые живут с тещей. Все это было для него чем-то далеким — пустые имена, а не живые люди из плоти и крови, со своими горестями и страданиями.

И вдруг в Стоффеле поднялось раздражение. Оно вмиг заглушило голос стыда, стерло из памяти то, что могло бы взломать в его душе возведенную им самим непроницаемую ограду. Он долго строил ее — для того, чтобы надежно за ней укрыться. Да, есть вещи, о которых незачем думать!

Что же дальше? Этого он не знал. Время, время и еще раз время — вот что было необходимо ему, чтобы разобраться во всей этой путанице.

И вдруг Стоффеля Виссера осенило: ему вовсе

не хочется никаких перемен, не хочется поддаваться чувствам. Надо что-то делать. Уволить Джексона, что ли? Нет, пусть работает. Но он не желает видеть в нем живого человека. Джексон, как и раньше, будет машиной, которая трудится на хозяина. А он, Стоффель Виссер, займется своими делами и прежде всего выполнит свой долг — поскорее отправит доклад комиссии. Это, по крайней мере, ясно. Он белый, и он несет ответственность. Быть белым и нести ответственность — это всегда означало для него одно и то же.

ДЖЕЙМС МЭТЬЮЗ

Романист, новеллист и общественный деятель. Родился в 1929 году в Кейптауне. Был продавцом и разносчиком газет, сотрудничал в прогрессивном журнале «Драм». Принимал активное участие в деятельности ныне запрещенного в ЮАР Африканского Национального конгресса.

Сборник рассказов Дж. Мэтьюза «Бойкот» (1962) выдержал ряд изданий, печатался в Швеции и других странах.

В СССР рассказы Дж. Мэтьюза публиковались в книге «Квартет» (М., «Художественная литература», 1969) и в периодической печати.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

На склоне горы паслись овцы. Огромный лохматый сторожевой пес, высунув красный язык и тяжело дыша, носился вокруг отары. Пастух потянулся к мокрой от росы травинке, но вдруг тело его свело в судороге. Протянутая рука застыла в воздухе, и он соскользнул с плоского камня на землю. Он лежал на спине, уставясь широко раскрытыми глазами в небо.

Над ним плыло облако, похожее на завернутого в длинную мантию старца с непокрытой головой и белоснежной, до пояса, бородой. И громовый глас расколол тишину:

— Ян! Ты мой избранник!

Слова прозвучали трижды. Затем облако распалось на части и истаяло в белой дымке.

Теплое влажное прикосновение вернуло его к действительности. Над ним стояла собака, тревожно скулила и облизывала лицо.

Пастух погрузил пальцы в густую собачью шерсть и, подтянувшись, сел.

Овцы по-прежнему спокойно щипали траву, одна только собака почуяла что-то неладное. Пастух легко потрепал ее за ушами.

— Спасибо, Хелд!

Ровный голос и ласковое прикосновение успокоили собаку. Внимание ее тотчас переключилось на отбившуюся от отары овцу, и с веселой злостью она кинулась загонять овцу обратно.

На Яна снизошла благодать. Все вокруг преисполнилось ясным, глубоким смыслом, и обнажилась потаенная сущность вещей.

Он слышал глас. Был ли то божий глас, сказать он не мог, но совершенно очевидно: это не был голос простого смертного. Смысл слов тоже был не совсем ясен, но он уже не сомневался в главном. Он — избранник. Чей? Не важно. Достаточно того, что он объявлен избранником.

Весь день пастух размышлял над случившимся. Наконец тени удлинились, и стали подступать сумерки. Пастух нехотя встал и с помощью собаки перегнал овец на противоположный склон горы, где находился лагерь.

Темнота в горах наступает внезапно. Минуту назад еще было светло, и вдруг все вокруг теряет свои очертания, и лишь натренированный глаз способен их различить.

Над костром, нанизанный на длинный вертел, жарился кролик. У ног Яна примостилась собака, ожидая заслуженного лакомства — кроличьих костей. Еды им вполне хватило на двоих; пастух выпил еще черного кофе, а собаку отправил сторожить овец, загнанных на ночь в крааль.

Пастух бросил последний взгляд на небо, укутался в одеяло и погрузился в сон.

Едва забрезжил рассвет, отару перегнали на другой участок.

Весь день Ян время от времени бросал недоуменный взгляд на небеса, удивляясь, почему больше не слышно божьего гласа.

Вдруг Ян заметил, что кто-то, взметая клубы пыли, скачет к лагерю по нижней тропе. Он догадался, что это хозяин решил наведаться сюда. И впрямь, минут через пять мистер Дерк уже соскакивал с резвого жеребца, на ходу бросая поводья Яну.

Ян привязал коня и приблизился к отошедшему в тень хозяину.

— Здравствуйте, баас Дерк,— сказал он, снимая шляпу.

Хозяин в ответ кивнул и пробурчал что-то нечленораздельное. Они направились к овцам: фермер — впереди, пастух — чуть поодаль.

Фермер поднял на руки ягненка, прикинул его вес, опустил на землю, потом ухватил одну из овец, запустил руку в ее шерсть и расплылся в довольной улыбке.

— Шакалы не нападали?

— Нет, баас. Одна ярочка сломала ногу, пришлось забить.

— Небось сам перебил ей ногу, по мясу соскучился, а?

— Хороший пастух не обидит своего стада.

Искренность слов рассеяла подозрения фермера. Он молча повернулся и зашагал к перевязи. Он поставил ногу в стремя и не сразу грузно опустился в седло. Удила вонзились в бархатистые губы, и жеребец тут же подчинился воле хозяина. Довольный фермер поднял его на дыбы, едва не задев пастуха.

— В субботу вечером Ампи доставит тебе еду,— прокричал хозяин,— а через два месяца спусти отару на стрижку. И моли всевышнего, чтобы потерь больше не было. Одному богу известно, что с тобой будет, если я недосчитаюсь хотя бы одной овцы.

Фермер резко повернул коня, взмахнул кнутовищем, и клубы пыли окутали пастуха с головы до ног.

Дважды до прихода Ампи небесный глас снисхо-

дил на Яна; при этом его тело сводила судорога, он валился на землю и лежал, ошеломленно уставясь ввысь.

Ничего нового Ян не услышал. Он — избранник. И все.

Собака больше не пугалась его внезапных припадков и уже не скулила.

В субботу вечером Ампи принес провизию.

— Это баас Дерк прислал, а еще велел напомнить, чтоб ты через два месяца пригнал овец на ферму для стрижки.

Ампи был полукровка, маленький и хлипкий. У него был плоский нос с широкими ноздрями, узкими глазками, а светло-коричневая кожа имела землистый оттенок, голову покрывали жесткие колечки редких волос. Трудно было угадать его возраст. То ли двадцать пять, то ли под пятьдесят.

Ампи встал на колени, сбросил с плеч набитый тяжелыми свертками рюкзак. Развязав тесемки, он пошарил в рюкзаке и вытащил бутылку кислого домашнего вина.

— А это мне,— сказал он,— мой сегодняшний ужин.

Пока Ян переносил провизию в шалаш, где ночевал только в непогоду, Ампи поудобнее примостился у костра, поднес ко рту бутылку и долго с наслаждением пил. Потом отер губы ладонью, вздохнул и стал устраиваться на ночлег.

Взяв одеяло с лежанки в углу шалаша, Ян крикнул:

— Будешь спать в шалаше?

— Нет, вместе с тобой, на воле. На ферме живешь, как в тюрьме: дождь ли, жара — спи в хижине. Я уж и позабыл, как пахнет трава и светят звезды.

Ян подошел к костру, бросил одеяло товарищу, и тот быстро завернулся в него, оставив свободными только руки.

— Счастливчик,— сказал Ампи,— тебе нечасто доводится испытывать тяжесть кулаков бааса Дерка. Не то что нам. Дня не проходит без выволочки. Вкалываешь, как вол, от зари до зари, а порой и до глубокой ночи. Домой еле ноги притащишь, куда там побаловаться с женой.

Он глубоко вздохнул, глядя на Яна в ожидании сочувствия.

— Да, жизнь наша не сахар,— согласился Ян.

— Нет, не сахар, совсем не сахар,— подхватил Ампи. И, снова глубоко вздохнув, продолжал:— А теперь даже в субботний вечер не повеселишься. Баас Дерк запретил устраивать вечеринки. Не слышно больше по ночам гитары. А молодежь, та совсем загрустила без своих танцулек. Тут как-то в субботу баас Дерк наткнулся на пьяного Боста Хааса, влетел в хижину к тетушке Минне, где мы молились, и заорал прямо с порога: «Хаас осквернил святую субботу, он будет за это наказан! Выходите все, сейчас увидите, что ожидает тех, кто нарушает слово божье и мое — его апостола на земле!» Мы прервали моление и, как дети, поплелись за ним. Бедняга лежал под деревом возле плотины, ничего не соображая. Баас Дерк содрал с него рубашку и стал лупцевать хлыстом и при этом истошно вопить, что Бост Хаас надрался, как свинья, что он исчадие ада и его следует утопить.

Хозяин так разошелся, что я испугался, как бы он и в самом деле не приказал сбросить Хааса с плотины.

На спине Хааса выступила кровь, и тут женщины не выдержали и заголосили, но хозяин велел им заткнуться да получше смотреть за детьми, а то растут такими же бездельниками, как и взрослые.

Наконец он оставил Боста Хааса в покое, и мы перетащили его в хижину. А теперь вот каждое воскресное утро должны ходить на проповедь в большой дом.

Ампи кончил свой рассказ и опять с жадностью присосался к бутылке

— Ампи, послушай, что я тебе расскажу,— еле слышно произнес Ян. И вначале робко, а потом все увереннее рассказал о божьем гласе.

Ампи с сомнением покачал головой.

— Может, ты того... малость свихнулся от одиночества?

— Нет, Ампи. Со мной все в порядке...

Но не успел Ян договорить, как снова в припадке повалился на землю.

Ампи сбросил с себя одеяло и в один прыжок оказался рядом. Встав на колени, он приподнял голову пастуха. Ян был недвижим, и можно было бы подумать, что он неожиданно уснул или даже умер, если бы его глаза не были широко раскрыты.

— О господи! Ян, что с тобой?— Ампи беспомощно оглядывался по сторонам, будто откуда-то из сгустившегося мрака могла прийти помощь. Но ни единого существа не было поблизости, кроме собаки, которая лежала в двух шагах от них. Пес, прищурившись, равнодушно поглядывал в их сторону, лишь изредка скаля зубы, словно посмеиваясь.

Молчание Яна еще больше испугало Ампи, и, чтобы отогнать страх, он обрушился с руганью на собаку. Та в ответ дружелюбно вильнула хвостом.

Наконец Ян издал слабый стон, и Ампи облегченно перевел дух — значит, пастух жив. Через несколько минут Ян окончательно пришел в себя, и Ампи решил, что Ян, видать, незаметно хватил лишнего.

— Ты слышал?— спросил Ян.— Такой божественный, чистый звук, как орган в церкви.

Ампи затряс головой:

— Нет, ничего не слышал.

— Ну как же? Снисходил глас! Он сказал, что, как бы хозяин ни злобствовал и ни давал волю своим кулакам, мы не должны терять надежды. Скоро я узнаю о великой чести, которая выпала мне, и тогда всем нашим страданиям наступит конец. Расскажи завтра об этом всем на ферме.

Ян завернулся в одеяло и тут же уснул, но Ампи долго еще лежал без сна, раздумывая о случившемся.

Проснулся он задолго до рассвета, Ян уже хлопотал у костра. Он протянул Ампи чашку горячего кофе, и тот с благодарностью принял ее. Он потихоньку отхлебывал кофе и чувствовал, как согревается настывшее за ночь тело.

— Ну, а теперь мне пора, как бы не опоздать к воскресной проповеди, не то пройдутся по моей шее хозяйские кулаки.

Ян смотрел, как Ампи тяжело спускается в долину, затем погнал овец на пастьбу.

На ферме воскресная проповедь только начиналась.

Хозяин Дерк ван Зил стоял в углу комнаты, опершись одной рукой о стол и держа в другой тяжелую Библию. Напротив выстроились члены его семьи: жена, три дочери, двое сыновей, снохи и внуки. Сзади них все пространство комнаты оставалось свободным, и лишь у дальней стены в проходе робко жались батраки. Ампи смешался с толпой. Проповедь длилась долго, и все присутствующие чувствовали себя неловко, видя, как самозваный пастырь, присвоив себе право предавать огню и анафеме грешников, взыскивает с них от имени самого господа бога.

Проповедь закончилась требованием к батракам беспрекословно подчиняться его воле — бааса Дерка, их хозяина и помазанника божьего на земле.

Когда все наконец покинули большой дом, Ампи рассказал, что произошло на пастбище в горах. За исключением тетушки Минны и еще двух женщин, никто ему не поверил. У них были основания сомневаться — ведь Ян рос тихим, робким ребенком, сторонился сверстников, родители жаловались, что он вечно витает в облаках. Он больше любил бывать в тиши гор, чем среди людей; достигнув возраста, когда обычно подбирают спутницу жизни и обзаводятся семьей, окончательно перебрался на пастбище. С тех пор его редко видели на ферме. Говорили, что он так и не познал ни одной женщины. Ну не чудак ли?!

Ампи божился, что не врет, и тетушка Минна горячо его поддержала: к кому, как не к Яну — человеку с чистой душой, снизойдет божий глас?

Однако никто не мог представить себе тихоню Яна в роли их избавителя.

Наконец решили послать еще троих вместе с Ампи на горное пастбище проведать Яна.

Поздним вечером, когда вся ферма готовилась отойти ко сну, четверо мужчин незаметно выскользнули из бараков и покинули поселок. Им вслед раздался собачий лай, на мгновенье вспыхнул свет в одном из окон большого дома, кто-то выглянул в окно, но люди уже растворились в темноте. Они спешили: домой следовало вернуться еще до рассвета, чтобы вместе со всеми поспеть на плантации. Им

предстояло одолеть девять миль, поэтому они почти все время бежали. Когда прибыли в лагерь Яна, они валились с ног от усталости.

Собака, злобно рыча, бросилась на незнакомцев, но Ян свистом вернул пса к догоравшему костру. Гости подошли ближе, подбросили в огонь хворосту, и костер ожил.

— Никто мне не поверил,— сказал Ампи.— Подтверди.

Ян укоризненно глянул на пришельцев.

— Он правду вам сказал. Ни слова лжи.

Мгновенно припомнилось, как говорила тетушка Минна: «К кому, как не к Яну — человеку с чистой душой, снизойдет божий глас?»

Ян еще ни разу никому не солгал.

— Когда наступит конец нашим мытарствам?.. Что с нами будет?.. Какой великой чести ты сподобился?

В ответ на все вопросы Ян только качал головой.

— Пока мне ничего не известно. В свое время узнаю.

Покидая под утро горный лагерь, посланцы больше не сомневались, что Ян и впрямь слышал глас.

Мужчины пообещали прийти еще раз, тогда уж Ян скажет наверняка, когда наступит конец их страданиям.

На другой день по всей ферме разнеслась весть о случае с Яном. Батраки собирались группками, на все лады толковали о случившемся и опять расходились, чтобы взяться за работу с удвоенной энергией.

Собачий лай по ночам участился, все больше людей стало навещать Яна на горном пастбище, и с каждой встречей их нетерпение нарастало. Ян уверял, что час избавления вот-вот настанет.

От глаз фермера не ускользнуло возбуждение, охватившее батраков, он решил доискаться причины. С тревогой следил он за тем, как, собираясь группами, работники перешептывались о чем-то и лица их озарялись улыбками.

Что же до Ампи, то он сразу вырос в глазах своих соплеменников. Еще бы, ведь от него первого люди услышали о божьем гласе. Вот и сегодня, возвращаясь от Яна, Ампи еле сдерживал нетерпение: на-

конец стало известно время их избавления. Ампи едва не лишился рассудка, когда Ян открыл ему эту тайну. Но Ян велел ему до поры до времени помалкивать и только передать всем, чтобы они пришли в лагерь на следующий вечер, он сам обо всем им расскажет. Ампи искренне сожалел, что эта честь выпадет не ему. Он уже приближался к своему дому, когда почувствовал, как чья-то властная рука опустилась ему на плечо. Он обернулся и словно прирос к месту. Перед ним возвышался сам фермер Дерк ван Зил.

— Ну, Ампи, и откуда же ты изволишь возвращаться?— спросил он, и в его голосе звучала нескрываемая угроза.

— Ниоткуда, баас, просто не спалось, вот и вышел прогуляться.

— А ну-ка зайди сюда.— Хозяин плеткой указал на сарай.

Прикрыв за собой дверь, он толкнул Ампи в угол и изо всех сил стеганул плеткой по спине. Ударив раза четыре, фермер остановился.

— Ну, теперь скажешь, куда ходил?

Ампи замотал головой и тут же почуял сильный удар в лицо. Из его носа хлынула кровь, и плетка отчаянно заплясала по всему телу.

Фермер остановился на минуту, чтобы перевести дух, и Ампи, не выдержав, прошептал:

— Ничего, скоро наступит конец всем нашим мучениям.

— Что ты сказал?— вскричал фермер, схватив Ампи за ворот и тряхнув, как пустой мешок.

— Да, баас!— с вызовом отвечал Ампи.— Скоро придет конец нашим страданиям и спадет ярмо с нашей шеи. Ян избавит нас!— Глаза его дерзко вспыхнули, и он продолжал:— Он слышал божий глас, ему велено вывести нас из рабства, и горе тому, кто встанет на его пути.

Хозяин от неожиданности лишился дара речи.

— Пошел вон!— наконец прохрипел он.

Ампи передал заждавшимся батракам, чтобы они были наготове, этой ночью он поведет их вместе с семьями и всем скарбом к Яну на горное пастбище, а уж оттуда начнется их путь к свободе. Им нечего больше бояться бааса Дерка.

Дерк ван Зил наблюдал из окна своей спальни, как батраки спокойно пошли к полю. Кровь прилила к голове, мешая трезво мыслить.

Когда в полдень вернулись с плантации к обеду сыновья, фермер, не в силах больше сдерживаться, обрушился на них:

— Неужто вы ничего не видите?! На наших плантациях завелась скверна, и только смертью можно ее искоренить. У этих тварей хватило наглости поверить, будто к Яну, этому ничтожеству, снисходил глас божий.— Фермер перевел дух, смахнул выступившую на губах пену.— К Яну, черномазому пастуху, а не ко мне — верному слуге всевышнего? Этим безмозглым скотам и невдомек, что если бы господь пожелал поговорить с нами, он никогда не выбрал бы черномазого. Я прощал им пьянство и распутство, но этого я им никогда не прощу! На колени, сыны мои, на колени!

Сыновья бросились на колени, и фермер распростер над ними руки.

— О господи, услышь молитву раба твоего недостойного. Влей в меня силы вытравить зло из твоей заблудшей паствы. Пусть эти руки покарают всякого, кто...

И вдруг все тело фермера сотрясли рыдания. Сыновья встали и прошли на кухню к оцепеневшим от страха женщинам.

За весь день никто из батраков не проронил ни слова, они молча дожидались вечера. Дерк ван Зил, запершись в своей комнате, плакал и молился. Едва сгустились сумерки, фермер увидел, как батраки со всем скарбом потянулись через ворота фермы в горный лагерь Яна. Шествие возглавлял слегка подвыпивший Ампи с бутылкой в руке. Ужин в большом доме прошел в полном молчании, но, едва кончили есть, фермер подал знак сыновьям, и они последовали за ним.

В конюшне они оседлали лошадей и сразу пустились в галоп; однако, выскочив за ферму, перешли на шаг. Теперь, когда исход дела был предрешен, хозяин счел, что незачем больше торопиться.

А на горном пастбище тем временем творилось невообразимое: люди сидели тесным полукольцом вокруг Яна, пожирая его глазами. Свет от костра

играл на его лице, весь его вид олицетворял безграничную любовь к этим людям.

Он заговорил, и все, как зачарованные, стали внимать его тихому спокойному голосу.

— Кончились наши мучения. Дни наших мучений позади. На меня пала высшая миссия вывести вас из рабства, прочь от тяжелого ярма бааса Дерка. Он больше не посмеет обращаться с нами, как со скотом, ибо ни один человек на земле не имеет права владеть другим человеком и превращать его в...

Последние слова пастуха заглушил цокот копыт. Люди повскакивали с мест и бросились врассыпную, когда три всадника врезались в толпу. Изрыгая ругательства, фермер хлестал плеткой по головам и спинам разбегавшихся людей. Потом направил лошадь прямо на прижавшегося к земле Яна.

Лошадь встала на дыбы и тут же опустилась копытами на беспомощное тело Яна. Его попытки отползти и как-то спастись оказались тщетными.

Сыновья фермера сгоняли в кучу тех, кто не успел скрыться.

Спрыгнув с коня, Дерк ван Зил приказал сыновьям поднять пастуха и привязать к дереву. Они подвесили его за руки к двум высоким кустам, колючки впились в его руки, ноги беспомощно повисли над землей.

С фанатическим блеском в глазах фермер заговорил, обращаясь к толпе:

— Ну, а сейчас вы увидите, что повелел мне сделать господь.

Он приблизился вплотную к висевшему на кожаных ремнях Яну.

— Готтентот! Ты посмел возомнить... что с тобой... будет говорить... сам господь бог!

Каждое свое слово он сопровождал сокрушительным ударом плетки. С полузакрытых губ пастуха срывались слабые стоны.

Ампи шагнул было вперед, но удар по лицу тут же заставил его отступить. В толпе послышались подавляемые рыдания. Дерк ван Зил хлестал, пока не обессилел. Ян больше не стонал. Они оставили его висеть, а толпу батраков, точно стадо баранов, погнали назад на ферму.

Ян на какой-то миг очнулся и еле слышно попро-

сил пить. Просьба осталась без ответа. И тогда голова его упала на грудь, а налетевший ветерок стал раскачивать бездыханное тело.

Вернулась собака, села рядом с хозяином и, задрав морду к небу, скорбно завыла, словно делясь своим горем с ночью.

ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР

Зал был очень большой, таких на своем веку он еще ни разу не видал. Он обмерил его взглядом, сравнивая со своим домом. Две спаленки и гостиная вполне разместились бы на половине этого зала, а на второй половине — кухня и крошечный дворик.

На одной из стен красовались гобелены и картины, на остальных висели зеркала в позолоченных рамах. В углу стояла вырезанная из слоновой кости фигура, и он, задев за пьедестал, едва не свалил ее на пол.

Пол покрывал мягкий, пышный ковер, нога тонула в нем, как в траве на газоне перед муниципалитетом.

Но как ни просторен был зал, в нем не смогли уместиться все гости. Часть их осталась в коридоре, который вел в другие комнаты.

Он изобразил подобие вежливой улыбки, когда к дивану подошла женщина и втиснулась на свободное местечко рядом с ним. Почувствовав тепло ее бедра, он хотел было отодвинуться, но потом решил, что будет вежливее, если он просто встанет.

Она повернулась к нему, улыбаясь.

— Пожалуйста, не вставайте. Я понимаю, здесь тесновато, но, как говорят, в тесноте, да не в обиде.

Он передвинулся, чтобы дать ей возможность сесть поудобнее, и сказал:

— Это моя вина. Я занимаю слишком много места.

— Очень мило с вашей стороны. Но боюсь, что извиняться надо скорее мне.— Она улыбнулась и похлопала рукой по своему бедру.

Он молча кивнул, как бы давая понять, что сочувствует ей, потому что и сам испытывает подобные неудобства.

— Какая здесь толчея!— сказала она.

— Да,— согласился он.

— И напитков не подают. Где они? Вам приносили?

— Нет.

— Поберегите мое место. Я постараюсь что-нибудь раздобыть.

Толпа поглотила ее.

Он переменил позу, откинулся в угол кушетки, расставил пошире ноги, заняв все свободное пространство. Теперь можно было поглядеть на толпу. Много мужчин, но, пожалуй, еще больше женщин. Женщины — все белые. Среди мужчин только четверо цветных — он и еще трое. Этих троих он знал хорошо, белых не знал совсем. Он был чужой среди чужих, и, хотя все они говорили на одном языке, из-за цвета своей кожи он чувствовал себя путешественником, попавшим в заморскую страну.

Он стал пристально выискивать глазами своих трех друзей, ему хотелось обрести уверенность, увидев их здесь. Наконец он заметил одного, но тот сразу растворился в толпе. На секунду промелькнула фигура второго. Потом внимание его переключилось на большую группу гостей, теснившуюся в дальнем углу. Вдруг сквозь толпу стали пробираться в этот угол возбужденные женщины. Они громко разговаривали, жестикулировали и, лавируя среди гостей, шарахались из стороны в сторону, словно исполняя танец «конга». На какой-то момент толпа раздалась, и он увидел Рона. Рон держал в одной руке стакан, а другой размахивал в воздухе и что-то горячо доказывал. Потом брешь заполнилась, и спины заслонили его.

Он не знал, что вызвало такой живой интерес к Рону. Но, как бы то ни было, он видел: Рон завладел общим вниманием.

Он завидовал этому человеку, который умеет держаться так спокойно и невозмутимо, который забывает о цвете своей кожи и вообще игнорирует расовую проблему, словно ее вовсе не существует, по крайней мере по отношению к нему самому.

Но зависть его к Рону была беззлобной. Он надеялся, что тоже научится когда-нибудь держаться так же непринужденно и спокойно и избавится от гнетущей неуверенности в себе.

Комната была наполнена гулом голосов, в котором невозможно было различить отдельные слова. Низкие голоса мужчин сливались с оживленными женскими, и над всем этим хаосом, как удары кимвалов, время от времени взрывались раскаты смеха.

Он улавливал лишь обрывки фраз, словно слушал одновременно множество заглушающих друг друга радиостанций, работающих на одной волне.

— Джек снова отколол номер. Но теперь, надо полагать, он наконец поумнеет...

Это сообщение было встречено очередным взрывом смеха.

«Интересно, кто этот Джек,— подумал он,— и что он такое сотворил, если заставил одного обеспокоиться, а всех остальных весело рассмеяться».

— Вы поедете к Марго в пятницу вечером?

— Да, дорогая.

— Кого она собирается показать нам на этот раз?

— Бог ее знает. Но, судя по прошлой встрече, опять какой-нибудь новый гений, каких умеет открывать только одна Марго. А вы будете там?

— Нет, увольте. Я не нуждаюсь в подобного рода приманках.

К нему вновь вернулись все сомнения. Что это за общество? Куда он попал? Как себя здесь вести? В этих джунглях изысканных манер и острословия он был совершенно беззащитен — черный жертвенный ягненок.

Это Рон настоял, чтобы он приехал с ним сюда. Встреча была устроена по случаю выхода книги одного писателя, уже третьей по счету. Критики наперебой расхваливали ее.

Он читал все книги этого автора и стал поклонником его таланта с первой же вышедшей в свет книги. И когда Рон заявил, что может взять его на встречу с этим писателем, он сначала даже не принял это всерьез. Потом он получил пригласительный билет и уступил уговорам Рона.

— Знал бы ты, чего мне стоило добиться для тебя приглашения,— сказал ему тогда Рон.— Зато теперь ты сможешь познакомиться с самим Колином Ашвортом. Пора уж тебе начать встречаться с интересными людьми и бывать в обществе.

А сейчас он только злился на себя, вспоминая,

как знакомился с писателем пятнадцать минут назад.

— Колин,— сказал Рон, представляя его Ашворту,— это Вильям Аполлис, большой поклонник вашего таланта.

— Рад познакомиться,— сказал Вильям, неуклюже пожимая руку этому белому человеку, возвышавшемуся над ним на целую голову, и тут же возненавидел себя за банальную фразу.

— Ах, это тот самый Вильям, о котором вы мне говорили?— воскликнул белый человек и, повернувшись к Вильяму, продолжал: — Я слышал, вы тоже пишете? Было бы интересно взглянуть. Пришлите мне, я быстро прочту.

Вильям смотрел в умные, понимающие глаза Колина и чувствовал, как его заливает жаркой волной.

— Разумеется... разумеется,— проговорил он заикаясь.

— Извините меня, я сейчас,— сказал Колин и зашагал навстречу вновь вошедшей паре. Вильям и Рон тоже двинулись через зал. Рон здоровался со знакомыми, временами останавливался, чтобы перекинуться с тем или другим несколькими словами. Потом Вильям потерял его в толпе и обосновался на диване.

Он смотрел на женщин, одетых в узкие, облегающие платья с большим вырезом, и его снова охватило такое чувство, будто все это происходит в кино. Их движения казались ему ненатуральными, а щебетание напоминало исполнение заученных ролей.

Уцепившись за эту мысль, Вильям забыл о соседях, сидевших рядом на диване, и принялся разглядывать мелькавших перед ним людей. Глаза останавливались то на одном, то на другом, теряли его и снова находили. С особым интересом он следил за одной женщиной. Она была уже немолода, но ее манера держаться, казалось, восполняла ушедшую молодость. Именно для таких женщин пишутся роли королев или по меньшей мере герцогинь.

Он увлекся этой игрой, она его забавляла, и он решил сосчитать, сколько раз ему посчастливится увидеть в толпе эту женщину, пока она наконец не исчезнет навсегда...

Вдруг он почувствовал, что кто-то пристально смотрит на него, и робко поднял глаза, как школьник, пойманный на подсматривании чего-то запрещенного.

Это была его соседка по дивану, которая вызвалась раздобыть напитки. Она держала перед собой поднос, на нем были тарелки с закусками, чашечка с орехами и два стакана джина с лимоном.

Он торопливо вскочил.

— Сидите, пожалуйста,— сказала она, усаживаясь сама так, чтобы не стеснять его.

Он сел рядом.

— Я принесла вам немножко закусить. Вы ведь, наверное, ничего не ели с тех пор, как пришли сюда. Хорошо, что вам удалось хоть чуточку выпить. Ладно, попробуйте еще вот этот джин.

— Нет, большое спасибо.

— Не отказывайтесь,— уговаривала она,— я-то ведь здесь уже давно.

Он взял наполненный стакан и осторожно поставил на поднос свой, пустой.

— Кто вы? Чем занимаетесь?

Ее дружелюбная улыбка сразу рассеяла возникшую настороженность.

— Пишу,— сказал он просто,— по крайней мере, пытаюсь.

— Печатались уже?

— Пять рассказов.

Он замолчал, устыдившись охватившего его мальчишеского соблазна похвастаться.

— А где?

— Больше в местных газетах. Правда, «Продавщица цветов» вышла в Лондоне.

— Подождите минуточку. Кажется, я читала этот рассказ. Да. Вспомнила. Опубликован в «Аргози». Мне понравилась эта вещь. Значит, вы и есть Вильям Аполлис?

Он почувствовал себя словно под теплым, ласковым душем: она даже помнит имя автора!

— У вас есть еще «Пожелание Чару ко дню рождения» и «Золотой пенни». Я всегда была уверена, что их написал не белый. В них слишком много реального, или, как бы это лучше сказать, они очень близки к повседневности. Я думаю, вы меня понимаете.— Она слегка коснулась его плеча.— Как я рада, что встретилась с писателем, чьи произведения доставили мне удовольствие! — Она протянула ему руку.— Давайте познакомимся. Марго Пирс.

Он осторожно пожал ее мягкие, нежные пальцы. «Уж не та ли Марго,— мелькнула у него мысль,— которая приглашает к себе на званые вечера скучнейших людей?»

И, словно догадавшись, о чем он думает, Марго сказала:

— Вам следует обязательно как-нибудь побывать у меня. Тогда мы и наговоримся вдоволь. Я познакомлю вас с интересными людьми.

Она назвала несколько фамилий писателей, художников, упомянула об одном скульпторе. Вильям слышал уже эти имена от Рона. Все эти люди не пользовались еще шумной известностью, но подавали большие надежды.

И вдруг Вильям рассмеялся. Он не мог не рассмеяться, вспомнив разговор двух женщин, невольным свидетелем которого он только что оказался. Как далеки они были от истины! Если уж люди, которых называла Марго, кажутся им скучными, то что же сказать о них самих?

Она с удивлением взглянула на него.

— Вы находите смешным мое приглашение?

— Нет-нет, не в этом дело. Я просто вспомнил один разговор.

«Впрочем, она, возможно, права, — подумал Вильям.— Не покажусь ли я смешным, если явлюсь на этот обед в респектабельном доме?» Он живо представил себя за огромным столом, покрытым белоснежной накрахмаленной скатерью. Перед ним в боевом порядке, как перед сражением, выложены шеренги ножей и вилок...

Дома мать всегда кормила его на кухне. В столовой накрывали лишь по большим праздникам.

— Так когда вас ждать? Может быть, в следующую пятницу? Я попрошу, чтобы кто-нибудь заехал за вами. Или вы предпочитаете ездить в автобусе? Тогда запишите мой адрес: проезд Святого Джона, Анчар Бей, три. Заблудиться невозможно. Такой маленький домик, окруженный огромными зданиями.

Вильям размышлял, как бы повежливее отказаться от приглашения.

Если он пришел на сегодняшний вечер, то это еще не означает, что ему можно ходить на званые обеды.

Здесь есть спасительная толпа, в любой момент можно уйти в себя, затеряться в массе гостей.

На званом обеде все более интимно. Надо вести себя безукоризненно, согласно установленному этикету. Не дай бог еще возьмешь не ту ложку или вилку. Над тобой снисходительно посмеются, или притворятся, что не заметили, или даже попытаются как-то объяснить твою неловкость. Нет, хорошо бы все-таки отказаться. Но и упустить такой случай досадно. Очень уж заманчиво побывать среди тех, кого она назвала. Он ведь давно ощущает потребность сближения с людьми, которые мыслят так же, как он.

Рон с другого конца зала помахал рукой и тут же снова скрылся из глаз. Это придало Вильяму уверенности.

Нет, он должен пойти.

— Не беспокойтесь, за мной не надо заезжать,— сказал он.— Приеду автобусом.

— Ну какое тут беспокойство, Вильям!

— Уверен, что легко найду ваш дом, мэм.

— Зовите меня просто Марго, а то я рассержусь. Меня все так зовут.

Легко сказать: просто Марго. Он повторил это имя несколько раз про себя, прежде чем вымолвил вслух.

— Марго, дорогая! Мне кажется, вы еще не познакомили меня с вашим приятелем.

Вильям поднял глаза и увидел высокого, стройного молодого человека. Его внешность удивительно напоминала этюд в манере черно-белой графики. Темные, гладко зачесанные волосы резко контрастировали с бледной кожей лица; такими же темными, как волосы, были глаза, а две стрелки бровей выглядели так, будто их провели черной тушью.

На нем был элегантный черный костюм, такой же черный, узкий, как карандаш, галстук и ослепительно-белая сорочка.

— О, это вы, Эдвард. Познакомьтесь: Вильям Аполлис! Писатель с большим будущим. Запомните, что первой сказала это вам я.— Она повернулась к Вильяму.— А это Эдвард Блейкли.

Лицо и имя были Вильяму как будто знакомы. Он напряг память и вспомнил, что Блейкли — деятель не то либеральной партии, не то конгресса демократов или чего-то в этом роде. Его опять охватило чув-

ство неловкости, когда он пожимал руку Блейкли.

— Вильям будет у меня на обеде в пятницу. Вы ведь тоже обещали, правда?

— Непременно,— подтвердил Блейкли и, повернувшись к Вильяму, сказал:— Извините, я собираюсь похитить у вас Марго. С ней кое-кто жаждет познакомиться.

— Конечно,— сказал Вильям и, уже совсем осмелев, добавил: — Так, значит, увидимся в пятницу, Марго?

— Да-да, и захватите с собой ваши рассказы.

Марго и Эдвард растворились в толпе.

Он откинулся на спинку дивана, глубоко вздохнул.

Ну и дела! Идти или не идти ему все-таки к Марго? Сумеет ли он держаться там непринужденно? Или будет чувствовать себя не в своей тарелке?

Сомнения с новой силой нахлынули на него. Пригласила бы она его к себе, не будь он автором понравившихся ей рассказов? Что бы она сказала, услышав от него, что он вовсе не писатель и что его профессия так же незавидна и невзрачна, как и внешность, что попал он сюда только благодаря протекции Рона?

Пришли и другие нерадостные мысли, которые он старался заглушить. Рон утверждал, что в этом кругу не придают значения цвету кожи, что здесь ценят человека по его подлинным достоинствам. Но действительно ли все так открыты и доброжелательны или это всего лишь поза?

— Ты что же, собрался просидеть весь вечер на этом диване?— Перед ним стоял Рон.— В чем дело? Где Марго? Я видел, она только что мило беседовала с тобой.

— Ушла с тем парнем, Эдвардом Блейкли. Он сказал, что с ней кто-то хочет познакомиться.

— Ах, Эдвард. С лицом как у мертвеца и черными глазами. А какое у тебя впечатление от Марго?

— Довольно хорошее. Она...

— Понимаю. Она пригласила тебя на обед. Строит из себя покровительницу искусств, словно живет в восемнадцатом столетии. Свой дом превратила в салон. Однако ты начинаешь делать успехи. Рад за тебя. И то правда — пора уж тебе выползать из скорлупы. На таких вечерах и обедах можно познакомить-

ся с людьми, способными здорово помочь, разумеется, если только правильно себя повести.

Вильям промолчал. А про себя подумал: «Да, но как это понимать — правильно повести себя?» Ему вспомнилось, как относился к нему Рон еще недавно, с полгода назад. Рон едва удостаивал его десятка слов. Правда, Вильям был в числе тех, кого Рон снисходительно терпел, но Рон ни разу не заикнулся о том, чтобы познакомить его с теми белыми людьми, с которыми, как он хвастал, он был накоротке и чьи имена часто появлялись в местной печати. Когда же Рон снисходил до беседы с Вильямом, он всегда старался подчеркнуть, что его собеседник — полнейший профан в вопросах искусства Все переменилось лишь после того, как Вильям опубликовал свой первый рассказ.

— Читал, читал твой рассказ,— сказал тогда Рон.— Довольно сносная попытка. Это первый?

— Нет,— ответил Вильям,— написано еще несколько, но напечатан пока один

— А почему ты держал это в секрете? Почему не сказал мне, что тебя тянет к творческой работе? Я мог бы тебя познакомить с кем-нибудь из известных писателей...

Второй и третий рассказы открыли Вильяму двери в узкий круг знакомых Рона.

— Поедем с нами завтра,— говорил Рон.— Том Хонкир устраивает вечеринку у себя на Девил-пик.

— Нет, не могу,— отвечал Вильям.

Рон не раз приглашал Вильяма в какую-нибудь компанию, но неизменно наталкивался на отказ.

Перспектива близкого общения с белыми вселяла в Вильяма ужас. В служебной обстановке белые вежливо разговаривали с ним, даже улыбались ему. Но Вильям знал, что они вспоминают о нем только тогда, когда им что-то нужно.

И все-таки уговоры Рона делали свое дело. Чем чаще Рон рассказывал о вечеринках и о людях, с которыми встречался, тем слабее сопротивлялся Вильям и все больше росло у него желание познакомиться с друзьями Рона. И когда Рон сказал ему, что его приглашает к себе Колин Ашворт, Вильям не нашел в себе силы отказаться.

Это был первый для Вильяма званый вечер.

— Чего же ты отделяешься от всех?— говорил Рон, стоя перед диваном.— Пойдем, я представлю тебя нашей компании.

— Нет, я посижу здесь. Может быть, вернется Марго, и мы еще поболтаем с ней.

Он был благодарен Марго за то, что она обошлась с ним по-дружески, и Колину Ашворту за то, что он отнесся к нему с пониманием.

Услышав очередной отказ, Рон удивленно вскинул брови и молча ушел.

Еще одна дама подсела к Вильяму. Это была та самая «герцогиня», за которой он наблюдал с таким вниманием. Она уставилась на него, как на некую антикварную редкость. «Ей недостает только лорнета»,— подумал Вильям.

— Скажите, каков род ваших занятий?— Голос «герцогини» прозвучал надменно и холодно. Ее тон, сама манера обращения оскорбили Вильяма. Он сразу почувствовал к этой женщине глубокую неприязнь.

— Каков род моих занятий?

— Да.

— Работаю в конторе.— Он хотел было сказать «клерком», но сказал:— Курьером.

— Меня не интересует, кем вы работаете,— сказала она, как бы брезгливо отмахиваясь от чего-то неприятного.— Но вы, наверно, пишете или рисуете. Если мне понравятся ваши вещи, я могу вам быть полезной.

— Нет, я не пишу и не рисую.

— Не шутите. Могу поспорить, что это неправда. Те, остальные, все художники или писатели.

Нетрудно было догадаться, кто эти «остальные». Сама же дама, очевидно, была из тех влиятельных людей, о которых говорил ему Рон.

— Я сказал вам правду. Я ни то, ни другое.

Его нисколько не беспокоило, что он вводит ее в заблуждение. Правда, если она спросит у Рона, обман раскроется. Но будь что будет. Он все равно не позволит ей включить себя в коллекцию.

— Так, значит, вы не художник и не писатель и работаете курьером?

Ее слова и взгляд кололи, словно иголками.

— Совершенно верно.

— Что же вы в таком случае здесь делаете?

— То же самое, что и вы.— Волна возмущения охватила его, и он закончил без дрожи в голосе:— Пришел, потому что меня пригласили.

— Какая наглость! Я не позволю так со мной разговаривать!— Голос ее сразу поднялся на несколько октав.

Люди, сидевшие и стоявшие поблизости, изумленно обернулись на крик.

Дама вскочила, гневно раздувая ноздри и тяжело дыша.

Испуганный Рон в один прыжок очутился рядом с ней.

— Миссис Мередит, в чем дело, что случилось?

— Вот, оскорбил меня этот ваш хам, этот мальчишка курьер!— взвизгнула она, указывая пальцем на Вильяма.

Рон смерил глазами товарища.

— Встань и сейчас же извинись!— В голосе его звучала угроза.

Вильям молча смотрел на Рона, лебезившего перед миссис Мередит в надежде ее умиротворить. Его охватило брезгливое чувство. Ведь Рон, по сути дела, предавал его. Обычная скованность рассеялась, в Вильяме нарастал гнев.

Ну конечно, эта женщина повела бы себя по-иному, скажи ей Вильям, что он тоже писатель. А Рон, даже не попытавшись разобраться в этом, сразу встал на ее сторону. Привычное восхищение Роном исчезло, теперь он его просто презирал. Ему стало ясно, почему Рон пользуется благосклонностью в этом кругу: он выискивает и сбывает сюда ради прихоти персон, подобных этой женщине, молодые таланты, как в свое время сбывали в гаремы юных дев. Ну что ж, Рон не более как поставщик живого товара, и ради благосклонности какой-нибудь миссис Мередит он готов пренебречь своими соплеменниками, готов сторониться их, забывая, что и сам вышел из их среды. И этому-то человеку Вильям завидовал, его умением держать себя в обществе восхищался!

Кровь бросилась Вильяму в голову. У него словно отнялся язык. Он не произнес ни слова и только свирепо глядел на Рона. Потом поднялся с дивана и, как слепой, стал проталкиваться сквозь шумную толпу к выходу.

ЛЬЮИС НКОЗИ

Прозаик, драматург и публицист. Родился в 1936 году в Дурбане (ЮАР). Завоевал широкую известность в Южной Африке как корреспондент журналов «Драм» и «Голден сити пост». В 1961 году эмигрировал из страны. Даже упоминание в печати его имени запрещено южноафриканскими властями. В 1965 году опубликовал книгу очерков «На родине и в изгнании».

Живет в Лондоне. Пишет для телевидения и радио. С успехом прошли его пьесы «Бедный Манкольм не так уж плох», «Не каждый может быть Мартином Лютером Кингом» и другие.

В Советском Союзе публиковалась пьеса Л. Нкози «Тревожные ритмы» (1964) и ряд рассказов.

ЗАМОК ПОТГИТЕРА

В самый разгар полуденного зноя, словно отталкиваясь от безоблачно-голубого, далекого неба, несся на большой скорости грузовик. Мало кто из ехавших в нем знал, куда они держат путь. Пассажиры грузовика, сбившись в кучу, пристально и неотрывно наблюдали, как земля быстро уносится назад из-под колес. Хмурый чернокожий, всем своим видом напоминавший классический тип разбойника, в рваной рубашке и штанах цвета хаки, вооруженный автоматом и плеткой, сидел сзади всех и не спускал с них глаз.

У него было сильное, мускулистое тело: огромные босые ступни, вытянутые вперед, были покрыты отвратительными язвами и волдырями. Взгляд его налитых кровью глаз был мутным и тоскливым, как у всех жестоких людей, утерявших всякие человеческие чувства, видевших в жизни слишком много убийств и уже не способных ничему удивляться. Он был похож на демона, сберегающего силы для предстоящей свирепой боевой пляски. Распоряжения он отдавал на свой манер: рукояткой плетки тыкал в ребро человеку, мычал при этом что-то невнятное, но, не дожидаясь ответа, усаживался на прежнее

место у заднего борта грузовика и лишь бессмысленно поводил стеклянными глазами.

Второй охранник — люди, ехавшие в машине, видели его на пропускном пункте — сидел в кабине вместе с хозяином грузовика, белым фермером.

Машина шла весь день, задерживаясь только на заправочных станциях да изредка возле придорожных закусочных, и то на самое короткое время. Каждый раз, когда грузовик останавливался на обочине дороги, белый фермер вылезал из кабины и, подойдя к заднему борту, как бы невзначай проверял, все ли его пленники целы. Он что-то бросал вполголоса охраннику Зуме, тому самому черному демону, что сидел в кузове вместе с пленниками, и шел в закусочную. Возвращался он довольно быстро, неся в руках пакеты с едой для обоих охранников. Потом снова уходил в закусочную и выходил оттуда через полчаса с довольным видом хорошо поевшего человека. Его красное лицо пылало от прилива новых сил. Два охранника, как волки, набрасывались на принесенную им еду на глазах у голодных, мучимых жаждой пленников.

Им ни разу не дали поесть. За все время, пока они ехали — то есть почти целые сутки,— они просидели голодные в железной клетке, поставленной в кузове.

Грузовик мчался, вздымая клубы пыли, оставляя на дороге полоску из воды и масла. Теперь уже никто из сидевших в кузове, в том числе и молодой Сипо, не понимал, в каком направлении они едут и далеко ли от дома их завезли. Никто уже не испытывал страха, всех сковала глубокая апатия и тупая покорность. Люди просто ждали окончания пути — ведь есть же конец и у этой дороги. И кто их встретит? И чего от них потребуют?

В дальнем углу клетки какой-то парень рассказывал сидевшему рядом с ним человеку, как его арестовали:

— Я даже толком сказать не могу, брат, что там происходило на улицах. Все куда-то бежали, женщины кричали, плакали детишки. Весь Софиатаун взбаламутился. Потом примчались полицаи в закрытых черных машинах и увезли сотни наших. «Будете знать, как бунтовать!»— орали полицейские. А в

участке нас обвинили в бродяжничестве и силой заставили подписать контракт вот с этим фермером. Они назвали это наказанием принудительными работами.

Такую же примерно историю поведали и другие пленники. Они переговаривались вполголоса, но охраннику Зуме это вскоре надоело, и он свирепо гаркнул:

— Заткнитесь вы, сукины дети! Тошно слушать!

— Такие вот типы,— сказал худой человек с изможденным, печальным лицом,— такие вот лизоблюды, которые делают грязную работу для белых, первыми поплатятся головой! Придет их час!

Зума вскочил и угрожающе замахнулся плеткой.

— Это кто там еще занимается агитацией? Кто эта скотина, хотел бы я знать? Дайте-ка мне на него взглянуть, я покажу, как расправляются с такими! Головы полетят с плеч, да! Только вот чьи? Ответьте-ка мне, вы, обезьянье отродье!

Ему никто не ответил. Охраннику впервые стало не по себе. Казалось, поднятая вверх плетка отяжелела — он медленно опустил ее. Все еще злобно вглядываясь в лица людей, он пытался угадать, кто произнес это грозное и зловещее пророчество. Но пленники молчали, и лица их были непроницаемы.

Клетка была настолько переполнена, что едкий запах пота, исходивший от усталых, немытых людей, разъедал ноздри. Некоторые из пожилых узников уже побывали в тюрьме. Они по опыту знали, что ничего хорошего их не ожидает, и взирали на происходящее безучастными, холодными глазами, на их губах застыла презрительная усмешка. Временами они перебрасывались короткими репликами, и настолько быстро, что страж был бессилен что-либо понять.

— Заткните глотки, ублюдки!

Один из пленников с лицом, покрытым ссадинами и шрамами, глянул на охранника прищурившись и как ни в чем не бывало продолжал разговор. В этом человеке чувствовались неизмеримая горечь и негодование, накопившиеся за многие годы борьбы с полицией и неудачных побегов из тюрем. Ни он, ни его собеседник и не подумали замолчать даже после того, как охранник изо всех сил хлестнул их плеткой

по спинам. В ответ они лишь, подавив стоны, ругнулись. Чтобы еще больше позлить Зуму, они нарочно стали плевать в его сторону так, чтобы плевки попадали к его ногам. Охранник только злобно ухмыльнулся, словно был доволен тем, что получил повод еще раз проявить жестокость. В глубине его темных глаз даже на мгновенье мелькнула какая-то нежность. Но это, конечно, была торжествующая ненависть.

— Ну, я вас проучу, черные свиньи! Я дам вам такой урок, что век помнить будете!— Он сверлил глазами двоих строптивцев, но они даже не удосужились встать.— Вот подождите, приедем на ферму! Я заставлю вас запеть жаворонками да еще покажу местечко, где бык вздел на рога одного вот такого храбреца. Усекли? Есть у меня там одно специальное местечко для этаких субчиков, как вы...

Но двое пленников не обратили на его угрозы никакого внимания, зато остальные содрогнулись от дурных предчувствий. Теперь ни у кого из них не оставалось сомнений в том, что самое страшное ожидает их впереди, и они были бы рады, если б эти двое перестали дразнить охранника. Всех охватило мертвящее оцепенение, и в грузовике воцарилась тягостная тишина, нарушаемая лишь надсадным гудением мотора да мягким шуршанием шин.

Машина пробежала уже более пятидесяти миль, и пленники, в том числе и Сипо, начали ощущать, как постепенно спадает напряжение. Впрочем, страх перед грядущим не отступал, просто сказывались усталость и голод. Казалось, страх и отчаяние, все душевные и физические страдания слились в тяжелый комок, давивший на пустые желудки. Пока можно было сидеть на корточках, прижав живот к коленям, Сипо чувствовал себя еще сносно — все мышцы тела судорожно напрягались, и это помогало превозмочь голод и боль. Сипо подумал, что самое тяжелое начнется, когда прикажут встать. Он представил себе, как ноги, особенно колени, не выдержат тяжесть тела, подогнутся, а руки вспотеют и сделаются беспомощными. И тогда... Но это будет, слава богу, еще не сейчас, позже. А тем временем он, как и другие, мрачно поглядывал на небо, которое из белесовато-голубого стало уже розовым и высилось над рав-

ниной необъятным куполом — бессмертное и величавое.

Они переехали по мосту через широкую мутную реку. Вода в ней казалась неподвижной, словно ей удалось обуздать свое собственное течение. Но вот река осталась позади, и грузовик стал медленно, с натугой взбираться по предательски опасной дороге, у обочины которой то и дело открывались глубокие овраги. Наконец грузовик перевалил через гору и снова покатил по однообразной, выжженной степи. Время от времени за бортом проплывали какие-то строения, а иногда и широкие проселочные дороги среди маисовых полей, попадались и группы людей, молодых и старых, устало трудившихся под жарким солнцем.

На работавших в поле не было никакой одежды, только грубые мешки с прорезями для головы и рук. Промелькнул и белый фермер, стоявший среди рабочих. Он что-то крикнул, но они не могли расслышать его слов. Чаще же они видели черных надсмотрщиков с плетками в руках, которые гнали перед собой рабочих, как гонят гурты скота.

На этих полях и молчаливых, отрезанных от всего мира фермах с рабами и озлобленными надсмотрщиками лежала печать ужаса, похожего на ночной кошмар, когда человек внезапно пробуждается от какого-то шума, который кажется ему оглушающим грохотом, доносящимся из преисподней.

Здесь, на равнине, царили произвол и отчаяние — это определяло всю жизнь и напоминало мистический хаос, соединяющий в себе жестокость человека с неприветливостью земли, той самой земли, которая пестует зерна и превращает их в урожай, но в то же время опустошает людские умы и сердца.

Поначалу могло показаться, что жара здесь стоит не очень сильная, но это была какая-то особая жара — бесконечная, изнуряющая и злобная. Она как бы душила землю, обволакивая ее дурманящим тропическим маревом. Зной въедался в мозг, наполнял собою все тело и порождал те самые отвратительные существа, что топтали эту землю и стегали кнутами других людей, превращенных в рабов.

Их путь, очевидно, приближался к концу. Люди догадались об этом, увидев меж треугольных маисо-

вых полей залитое безжалостным солнечным светом кладбище. Должно быть, каждый из пленников содрогнулся в душе при виде этого кладбища. Вскоре они добрались до последнего поворота шоссе, и грузовик резко свернул вправо, на грунтовую дорогу. Проехав немного, он остановился перед железными воротами. Черный охранник, сидевший вместе с фермером в кабине, соскочил на землю и растворил скрипучие ворота.

Над воротами Сипо успел прочесть размытую надпись: «Собственность П.-Дж. Потгитера». И едва грузовик миновал ворота, он отчетливо осознал, что отныне потерял все те немногие человеческие права, которые имел когда-то. Теперь он перешел в полную собственность мистера П.-Дж. Потгитера. Остальные пленники, видимо, тоже смутно ощущали то же самое. На одних лицах отразилось потрясение и растерянность, на других — заведомая покорность. Такое выражение оставалось на лицах до тех пор, пока грузовик не остановился возле строений, которые, по-видимому, и были фермой со службами. Воздух здесь был насыщен смешанным запахом сена, навоза, зерна, дерева и свежевспаханной земли.

С криком и руганью охранники откинули задний борт машины. Люди торопливо вскочили на ослабевшие ноги, колени у них подгибались. Босые ступни глухо стучали по дощатому днищу кузова. Один за другим соскакивали они на землю. Сумерки сгущались. Черные тени начинали подниматься из долины. Люди выстроились перед фермером, который начал их пересчитывать. Они стояли в ряд — двадцать восемь человек, чувствуя, как их обдают влажные, душные волны. Где-то поблизости журчал ручей. Временами налетал горячий ветер со стороны раскаленных маисовых и картофельных полей. Люди стояли полумертвые от усталости, как стадо баранов, пригнанных на бойню. Они ждали только одного: чтобы им наконец сказали, что собираются здесь с ними сделать или, вернее, во что их хотят превратить.

Они стояли, безвольно уронив руки, плотно сдвинув ступни, их животы ввалились. Они стояли в один ряд — оборванные, дрожащие, с широко открытыми глазами, в которых застыли растерянность или злость, дыша одновременно ртом и носом, проводя языком

по пересохшим губам. Они были измучены и смертельно голодны. Никто толком не знал, чего от них потребуют, какая судьба их ждет. Никто не сказал им ни единого слова. Единственный язык, на котором умели объясняться стражники, был язык жестокости и силы, и владели они им в совершенстве.

Охранники то и дело подходили к ним, потрясая плетками. Их приказания были подобны плевкам. Так помогали они фермеру пересчитывать новообретенную собственность.

Фермер, держа в руках листок бумаги, начал громко выкликать имена. Голос у него был зычный и гулкий, как у большинства людей, живущих на безбрежных степных просторах, и разносился этот голос далеко вокруг:

— Джалимани!

— Здесь.

— Козана!

— Здесь.

— Джеймс! Соломон! Давид! До чего эти проклятые кафры любят библейские имена! Ирод ты, а не Соломон, мерзкий ублюдок!

Фермер закончил перекличку, обернулся к охранникам и бросил:

— Ладно, Зума. Загоняй их!

Охранники принялись за дело. В ход пошли плетки. Они нещадно стегали людей, загоняя их, как скот, в огромный сарай с железными дверями и зарешеченными отдушинами под крышей вместо окон. Прежде чем кто-либо успел приглядеться к новому месту, их уже свалили, как навоз, в одну кучу и заперли на всю ночь в этой тюрьме, специально сооруженной при ферме. В темном, вонючем сарае им предстояло всю ночь изнывать от отчаяния, жалости к себе и бессильного гнева. Они искали глазами своего стража, но в полутьме только некоторые могли различить его массивную фигуру и плеть, медленно раскачивавшуюся в огромной, как у гориллы, руке. Он стоял в проеме двери, забранной железной решеткой, вырисовываясь уродливым силуэтом на фоне ночного неба.

— Так-так, сукины дети,— вдруг с расстановкой произнес он.— Я хочу, чтобы все внимательно послушали, что я намерен сказать.

Он говорил тем грубым говорком, который сразу выдавал жителя отдаленных деревень. Слова его были полны угроз, но, странное дело, в его голосе звучала порой все та же неизбывная печаль, и даже его руки как-то обмякли и повисли вдоль тела, словно чужие. Плеть опустилась почти до самого цементного пола; лишь время от времени он щелкал ею по полу, как бы стараясь усилить впечатление от своих слов.

— Отныне вы находитесь на ферме бааса Потгитера,— мрачно произнес он.— Да будет вам известно, что эта ферма — не курорт и вы приехали сюда не в отпуск. Не рассчитывайте, что вас здесь будут кормить пирогами и бисквитами. Здесь надо работать. В четыре утра — звонок. А как только он прозвучит, вы должны мигом повскакивать и выстроиться. Секунда в секунду. Да еще чтобы пели, как жаворонки!— добавил он с какой-то радостной злобой.— Да чтобы, упаси вас боже, не забыли захватить мешки для сбора урожая. Кто-нибудь из нас придет сюда и отведет вас на маисовые поля, где сейчас началась уборка урожая.

Тут он умолк на минуту, издевательски хихикнул, а потом продолжил:

— Докажите мне, что вы храбрые сыны Чаки [1] и Мошеша [2], для этого у вас здесь будут все возможности. Солнце сверкает, как тысячи алмазов, и маисовые поля простираются бесконечно, как армия неприятельских солдат в былые времена. И вот вы, прекрасные воины Чаки и Мшешве, атакуете их с серпами в руках. Говорю вам, это отличная возможность показать себя героями.

Он снова хихикнул, но не услышал ответного смеха от людей в лохмотьях, сидевших перед ним. И вдруг он замолк и сжался в комок, будто почувствовал колики в животе.

— Вижу, вам не по вкусу моя шутка. И правильно, нечему смеяться, это вовсе не смешно. Напротив,

---

[1] Чака (1787—1828) — вождь зулусов, создатель могущественной империи на территории нынешнего Наталя.

[2] Мошеш (1790—1870) — вождь одного из кланов басуто. Прославился в борьбе за независимость своего народа от европейских колонизаторов.

скажу напрямик: здесь настоящий ад. Или чистилище. Солнце здесь раскалено, как медь, и воздух стоит и не движется, ну а вы... вы не воздух и не вздумайте хоть секунду побыть без движения. Ни единой секунды! Да, здесь-то вам придется пошевеливаться. И знаете почему? Ну конечно, не знаете. Так вот, я вам скажу: потому, что я и мой напарник Джек всегда будем за вашими спинами с заостренными железными палками и плетями. Мы будем вас подбадривать, подстегивать...

И он захохотал вдруг так, что слушавшие его люди на какой-то миг окаменели, а потом оцепенели от страха.

— Эти самые плетки, о которых я вам сказал, делают из воловьей кожи и, прежде чем пустить в дело, их долго вымачивают в соленой воде. До чего же славно они рассекают шкуры таких, как вы! Да мне и не стоит все это разжевывать — вам, верно, и так надоели мои речи,— сказал он с вкрадчивым ехидством.— Но все же вам не мешает знать все загодя, чтобы у нас сразу установились хорошие отношения, чтобы все шло гладко. Кстати, помните, что вы подписали контракт. Об этом всегда любит напоминать баас Потгитер. Платить вам будут три фунта в месяц, да в придачу вы вдоволь получите свежего воздуха!

Надсмотрщик повернулся и ушел. Но долго еще после того, как затихли его шаги, люди не могли прийти в себя, им все еще казалось, что он стоит в дверях. Они сидели, не смея пошевелиться Даже после того, как захлопнулась дверь и звякнул железный болт о защелку, они смотрели на дверь, боясь, что надсмотрщик вздумает вернуться

И только когда один из юношей начал всхлипывать тихонько, стараясь, чтобы его не услышали, а другой принялся читать молитвы, оцепенение мало-помалу прошло. Люди стали обшаривать большое прямоугольное помещение в поисках нар, лежаков, матрасов — хоть каких-либо удобств, записанных в соответствующем пункте контракта. Но, увы, как и во всем остальном, их ждало полное разочарование.

Видный прозаик, поэт, драматург, общественный и политический деятель. Родился в 1903 г. в Питермарицбурге в провинции Наталь. Написал ряд романов, новелл, публицистических произведений, посвященных проблемам расовой дискриминации. Произведения А. Пейтона не раз отмечались высокими литературными наградами.

В течение тринадцати лет работал начальником исправительно-трудовой колонии «Дипклуф» для малолетних африканцев в Йоханнесбурге, и многие произведения писателя посвящены нравственному воспитанию молодежи.

За несогласие с политикой апартеида А. Пейтон лишен иностранного паспорта, ему запрещен выезд за пределы ЮАР.

В Советском Союзе печатались почти все рассказы А. Пейтона. Их издавали отдельными книгами: «Жизнь за жизнь» (Алма-Ата, «Жазушы», 1972), «Самое большое несчастье в его жизни» (Москва, Б-ка «Огонек», 1974).

ГЛОТОК ВИНА В КОРИДОРЕ

В 1960 году Южно-Африканский Союз праздновал свое пятидесятилетие. На устроенном по этому поводу конкурсе скульптуры первая премия в тысячу фунтов совершенно неожиданно досталась чернокожему Эдварду Симелейну. Его «Африканская мать с ребенком» вызвала всеобщее восхищение. Эдвард Симелейн стал известен за рубежом.

Членам комиссии, присуждавшей премии по скульптуре, были выражены порицания в частном порядке за то, что они приняли на конкурс работу чернокожего и тем самым пренебрегли пунктом «только для белых», записанным в условиях конкурса. Произошло это по недосмотру, и уже не оставалось ничего иного, как открыто признать работу Симелейна «бесспорно лучшей». После этого комиссия решила, что вручение премии следует перенести на церемонию закрытия празднеств. Это решение получило поддерж-

ку на удивление многих белых, но в определенных кругах вызвало протест в связи с отходом от «традиционной» политики государства и опасением, что некоторые белые лауреаты откажутся от своих призов.

В конце концов все завершилось благополучно — скульптор, «к сожалению, не смог присутствовать на торжественной церемонии».

— Я просто не осмелился явиться туда,— с горькой усмешкой признался мне Симелейн.— Меня поддержали родители, родственники жены и наш священник. Все решили, что мне не следует этого делать. Конечно, всем моим знакомым и приятелям хотелось бы, чтобы я получил свою премию публично, но я им сказал: «Ребята, я — скульптор, а не демонстрант».

— Коньяк чудесный,— продолжал он,— особенно когда пьешь из таких вот больших бокалов. Никогда у меня не было ни специальных бокалов, ни возможности наслаждаться коньяком. Вечно мы пили в спешке и черт знает что В Орландо, помнишь, даже изобрели свой способ пить,— ты еще назвал его «железная глотка». Надо было запрокинуть голову назад и одним залпом опорожнить стакан, не то в любой момент могла нагрянуть полиция, и тогда плохи были б наши дела. А вообще-то я пью коньяк всего второй раз в жизни. Хочешь, расскажу, как было в первый?

Знаешь книжный магазин Алабастера на улице Ван-Брандис? Так вот, когда «Африканской матери с ребенком» присудили первую премию, у меня попросили разрешения выставить скульптуру в этом магазине. Для нее отвели целую витрину, задрапированную белым бархатом. При этом мне наговорили кучу всяких комплиментов. Я согласился, скульптуру выставили, но мне почему-то все никак не удавалось на нее взглянуть. По пути от станции к конторе Геральда, где я тогда служил, мне случалось проезжать мимо этого магазина, и до чего же приятно было видеть, как перед витриной постоянно толпятся люди. Как-то я засиделся в конторе допоздна, и, когда покончил с делами, улицы уже опустели. «Пойдука посмотрю на свое творение,— подумал я.— Могу же я доставить себе такое удовольствие». Но мне не

удалось насладиться своим шедевром в одиночестве — едва я приблизился к витрине, как рядом со мной вдруг появился какой-то белый молодой человек.

— Ну как, нравится тебе эта штука, приятель? — спросил он, указывая на мою скульптуру.

Не часто и далеко не от каждого можно услышать слово «приятель».

— Да так, ничего,— неопределенно ответил я.

— Я живу поблизости,— сказал он,— и почти каждый вечер прихожу сюда посмотреть на эту скульптуру. А ты знаешь, ее ведь сделал один из ваших. Его зовут Эдвард Симелейн.

— Знаю.

— Прекрасная работа,— продолжал он.— Ты только взгляни на лицо женщины. Она любит свое дитя. И пытается уберечь его от беды. Она чувствует: жизнь у него будет нелегкая.

Мой случайный собеседник и так, и этак рассматривал скульптуру, то отступал на шаг, то приближался или склонял голову набок.

— Этот парень получил за нее тысячу фунтов,— продолжал он.— Деньги немалые для вашего брата, но дай ему бог удачи. Тебе-то часто ли выпадает удача? Знаешь, приятель, давай пропустим по маленькой,— неожиданно предложил он.

Честно говоря, я не испытывал ни малейшего желания пить так поздно со случайным знакомым, к тому же белым, да и боялся опоздать на свой поезд.

— Черным не разрешено задерживаться в городе позже одиннадцати,— сказал я.

— Не волнуйся, это не займет у нас много времени. Мой дом как раз за углом,— сказал он.— Ты говоришь на африкаанс?

— С самого детства,— ответил я.

— Ну и хорошо, будем говорить на африкаанс, а то я не очень силен в английском. Меня зовут Ван Ренсберг, а тебя?

Не мог же я назвать свое настоящее имя!

— Вакализа,— ответил я.— Живу в Орландо.

Он зашагал по пустынной улице, и я поплелся следом, хотя мне этого совсем не хотелось.

Насколько опрометчиво я поступил, ты сейчас увидишь сам, но беда моя в том, что я как-то совсем не умею резко обрывать даже неприятные знаком-

ства. Так мы и шли — он немного впереди, я чуть сзади. Казалось, он совсем не волновался, ни разу не оглянулся, чтобы посмотреть, не следит ли кто за нами.

— Знаешь, чем я всю жизнь мечтал заниматься?— спросил он.

— Нет.

— Мне хотелось иметь собственный книжный магазин, вроде того, где выставлена скульптура. Я всегда мечтал об этом, сколько себя помню. В детстве у меня даже был свой маленький магазин.— Он засмеялся.— И в нем были, конечно, самые настоящие книги. Правда, кое-какие из них я писал сам, но мне не повезло в жизни. Мои родители умерли раньше, чем мне удалось окончить школу. Ты-то получил образование?— вдруг обратился он ко мне.

— Да,— ответил я неохотно.

— Высшее, разумеется?— спросил он.

— Высшее,— ответил я опять неохотно.

— Может быть, и степень имеешь?— Он решил выяснить все до конца.

— Да.

— По литературе?

— Да.

Он с завистью вздохнул.

Мы подошли к его дому. Майорка-Мэншнс — далеко не самое фешенебельное место. В вестибюле, слава богу, не было ни души, тем не менее я не мог чувствовать себя уверенно: я совершенно не знал человека, который привел меня сюда, и, случись что, за меня некому было бы постоять.

На дверце лифта висела табличка: «Только для белых». Ван Ренсберг открыл дверцу и поманил меня рукой. Было ли ему тоже неловко? Я до сих пор этого и не понял. Мы вошли в лифт, мне не терпелось поскорее подняться, а он, словно позабыв обо всем, стоял, положив палец на кнопку, и глядел на меня с какой-то простодушной завистью и нескрываемым восхищением.

— Счастливчик!— наконец сказал он.— Литература — это то, о чем я мечтал всю жизнь.— Он тряхнул головой, нажал кнопку и больше не произнес ни слова, пока лифт не поднял нас на верхний этаж. Но прежде чем открыть дверцу, он вдруг сказал: —

Если бы у меня был свой магазин, я бы тоже отдал тому парню витрину.

Мы вышли из лифта и направились по длинному широкому коридору, пол которого был устлан цветной кафельной плиткой. Коридор вообще напоминал веранду: двери располагались лишь по одну его сторону, а противоположная стена была стеклянной, и сквозь нее лился поток синеватого воздуха. Улица Ван-Брандис лежала далеко внизу. Изредка из-за дверей доносились звуки радио, голоса людей, но сам коридор был пуст. Я бы не хотел жить так высоко. Мы, африканцы, любим чувствовать под ногами землю. Ван Ренсберг остановился возле одной из дверей и сказал:

— Я сейчас, подожди минутку.

Затем он вошел внутрь, оставив дверь открытой, и до меня донеслись голоса. Я подумал: «Наверное, объясняет, кого с собой привел».

Через несколько минут он появился, неся в руках два стакана красного вина. Он приветливо улыбался.

— Извини, пожалуйста, бренди не нашлось. Только вино. Выпьем за счастье!

Я никак не ожидал, что мне придется пить в коридоре. Представляешь мое состояние!... В любой момент одна из дверей могла открыться, и меня увидели бы в доме для белых, увидели бы, как я и Ван Ренсберг нарушаем закон о потреблении спиртных напитков.

Тем не менее я не обиделся на этого человека. Единственное, чего мне больше всего хотелось,— это как можно скорее уйти. Но я не мог. Моя мать обычно не позволяла мне ругать белых. «Сын мой,— говорила она,— не нужно говорить ни о ком плохо». Она бы сразу поняла, почему я взял стакан вина от белого человека в коридоре. Ван Ренсберг спросил:

— Ты не знаешь этого Симелейна?

— Я не слышал о нем,— ответил я.

— Мне бы хотелось встретиться с ним, поговорить,— сказал он и добавил:— Высказать ему свое восхищение.

В дверном проеме появилась женщина лет пятидесяти с блюдом печенья в руках. Она с улыбкой поклонилась и протянула мне блюдо. Я взял одно печенье, но никак не мог решить, в каких словах выра-

зить ей благодарность. «Спасибо, почтенная» или это омерзительное: «Премного благодарен»? К тому же она, очевидно, не понимала по-английски. Я набрался смелости и выбрал слово «хозяйка». Оно так неприятно звучит для уха белого человека, что за него обычно нашего брата одним ударом сбивают с ног.

— Спасибо, хозяйка,— сказал я, вежливо поклонившись.

Меня не сбили с ног. Женщина снова улыбнулась, а Ван Ренсберг вдруг сказал в высшей степени странную вещь:

— Наша страна прекрасна, но сердце мое разрывается...

Женщина положила руку на его плечо.

— Джанни, Джанни...

Затем еще одна женщина и мужчина вышли к нам и встали позади Ван Ренсберга.

— Познакомьтесь, это бакалавр,— сказал им Ренсберг, указывая на меня.— Что вы на это скажете?

Первая женщина улыбнулась и снова поклонилась мне, а Ренсберг сокрушенно произнес:

— Представляете, я хотел угостить его бренди, а у нас только вино.

Вторая женщина сказала:

— Нет, кое-что есть, Джанни. Я вспомнила.

Она направилась в комнаты, он последовал за ней. И тогда первая женщина сказала:

— Джанни — очень хороший. Немного странный, но хороший.

А я стоял и думал, что все происходящее здесь — чистое сумасшествие, никак не укладывающееся в моей голове: меня, случайно встретившегося чернокожего, потчевали как дорогого гостя, и смотрели на меня так, словно хотели сделать что-то очень приятное, но не знали, что именно.

— Да, хозяйка, я это и сам вижу,— ответил я как можно приветливей пожилой женщине.

— Представляете, он каждый вечер ходит смотреть на эту скульптуру,— сказала женщина.— И говорит, что только бог мог создать такое чудо, но для этого богу пришлось бы воплотиться в простого смертного. Джанни мечтает встретиться с этим скульптором, чтобы высказать ему свое восхищение.

Она оглянулась и спросила, понизив голос:

— Вам не кажется, что это потому, что вылеплена черная женщина и черный ребенок?

— Вполне возможно,— ответил я.

Она повернулась к мужчине и проговорила, указывая на меня:

— Он славный парень, да?

Но тут вернулись другая женщина и Ван Ренсберг с бутылкой бренди. Он улыбался и выглядел очень довольным.

— Это не простой бренди, а французский,— сказал он по-ребячески хвастливо.

А я подавлял в себе страстное желание послать их всех к черту вместе с их радушием и коньяком.

Джанни повернулся к мужчине и сказал:

— Дядя, помнишь, это осталось еще с того времени, когда ты болел. Доктор рекомендовал тебе немножко хорошего бренди, и в магазине нас заверили, что этот сорт лучший в мире.

— Мне пора, а то опоздаю на поезд,— сказал я.

— Не волнуйся, я отвезу тебя на станцию,— сказал Ван Ренсберг. Он налил мне и себе и спросил, обращаясь к дяде:— Ты тоже выпьешь?

— Не откажусь,— ответил старик и пошел в комнату за стаканом.

— За счастье!— сказал Ван Ренсберг и поднес свой стакан к моему.

Коньяк и впрямь оказался отличным, лучшего представить себе невозможно. Но, господи, до чего же мне не хотелось его пить!

Наконец появился дядя. Ван Ренсберг налил ему, и дядя поднял свой стакан, чтобы чокнуться со мной. Все мы были полны добрых чувств, а я все ждал: вот-вот откроется одна из дверей в коридоре. Возможно, они тоже этого ждали. Кто их знает? А может, им просто в голову не приходило, чем это для всех нас чревато. Я осушил стакан так же быстро, как у себя в Орландо.

— Мне нужно идти,— сказал я.

— Я довезу тебя до станции,— сказал Ван Ренсберг.

Мы отдали пустые стаканы дяде.

— Спокойной ночи, сынок,— сказал старик.

— Да хранит вас бог, — напутствовала меня одна

из женщин, а другая молча улыбнулась и покачала головой. Потом мы с Ван Ренсбергом спустились на лифте и сели в его машину.

— Я обещал подбросить тебя до станции, хотя мог бы довезти до самого дома. Но я побаиваюсь ехать в Орландо ночью.

Мы тронулись, и он спросил:

— Ты догадываешься, что я имею в виду?

Он ждал ответа, но я ничего не мог сказать, потому что не знал, что он имел в виду. Ведь не хотел же он сказать только, что боится ночной езды.

— Я не совсем понял,— наконец выдавил я.

— Видишь ли,— проронил он задумчиво,— наша страна так прекрасна...

Ах, вот оно что!.. Этот парень изо всех сил старался сделать мне приятное, но не мог, потому что уже давно блуждал в темноте, как слепой, и мне стало искренне жаль его, потому что те, кто не может сделать другому хорошее, неизбежно причиняют боль.

Вот и мы больше не в состоянии по-доброму относиться к белым. Лишь временами нам удается пробудить в них чувствительность, создав нечто вроде моей «Матери с ребенком».

— О чем ты задумался? — спросил Ван Ренсберг.

— Да так...—неохотно ответил я.

Его, очевидно, обидело мое нежелание поддержать беседу, он ожидал от меня совершенно другого. Я увидел, как его лицо мгновенно преобразилось, на нем отразились досада, разочарование, злость. Он остановил машину у главного входа на станцию, а мне не хотелось говорить ему, что этот вход не для таких, как я.

— Спасибо вам за дружеский вечер,— сказал я, выходя из машины.

— Им понравилось, что ты пришел,— сказал он.— Ты же заметил.

— Да, заметил,— отозвался я.

Он сидел за рулем, сгорбившись, будто на его плечи давила непомерная тяжесть.

Мне захотелось его утешить, но я опаздывал на свой поезд.

Мы пожелали друг другу доброй ночи. О чем он думал — бог весть. Он мне казался похожим на бегуна, который вышел на дистанцию в железных ботин-

ках и никак не может понять, отчего ему трудно сдвинуться с места.

Когда я вернулся домой и рассказал обо всем жене, она расплакалась.

ДЕББИ[1], УХОДИ ДОМОЙ!

Было уже слишком поздно придумать какую-нибудь отговорку или спрятаться.

Стукнула калитка, и на дорожке, ведущей к дому, почему-то на целый час раньше обычного, появился Джим де Вильерс.

В комнате по всему полу были разбросаны выкройки и булавки, а посреди этого хаоса стояла Джейни в новом серебристом платье, которое стоило дороже всех ее прежних нарядов. Такого не было и ни у кого из ее знакомых.

Джейни с ужасом наблюдала за приближением отца. До сих пор она всегда была послушной дочерью, во всем повиновалась отцу. А вот сейчас он застигнет ее на месте преступления. Они с матерью обманули его — расплата неминуема.

Ей хотелось убежать, спрятаться, заплакать, сделать что угодно, только не стоять вот так и ждать.

Видя, в каком отчаянии дочь, миссис де Вильерс строго сказала:

— Стой спокойно и не открывай рта. Это моя затея, мне и ответ держать.

Джим де Вильерс распахнул дверь и вошел в комнату, которая в этом маленьком доме служила одновременно столовой и гостиной.

Вошел и сразу же разозлился. Еще бы, кому приятно видеть, как всполошилась дочь только потому, что ты вернулся домой раньше обычного. Насторожилась и жена. Она, видимо, ждет, что он сразу набросится на них обеих.

Сами прикиньте, каково это — убедиться, что от тебя в доме что-то скрывают, что ты случайно наткнулся на чужой секрет? А если бы с тобой был кто-то из друзей? Как бы все это выглядело для стороннего взгляда?

---

[1] Сокр. от *фр.* debutante — дебютантка.

Он положил свою шляпу, коробку для завтрака и насупленно оглядел комнату, жену, дочь в новом сверкающем серебристом платье.

Ни та, ни другая, судя по всему, не собирались начать разговор, и он строго спросил:

— Что это значит?

— Это... платье, Джим.

В другое время он, наверное, просто рассмеялся бы, но сейчас ему было не до шуток. Впрочем, жена и не ждала от него шутки или хотя бы улыбки.

Но отступать было некуда, и она более или менее спокойно начала защитительную речь, которую успела сочинить за то короткое время, пока муж шел от калитки до дома.

— В следующем месяце в Сити-холле состоится первый бал дебютанток. Девушек будут принимать сам Администратор и его жена. Я полагала, что тебе это не понравится, Джим, и поэтому мы пока тебе ничего не говорили.

— Почему же ты полагала, что мне не понравится? — спросил муж с нарочитым простодушием.— Я отнюдь не против бала... Кто же устраивает этот бал?— спросил он, помолчав.

— Клуб матерей Парксайда, Джим.

— Клуб матерей! Хм...— Мистер де Вильерс опустился на стул.— Ну а как насчет отцов? Отцы у вас совсем уж не в счет?

— Но ведь не все разделяют твои взгляды, Джим.

— «Мои взгляды»,— передразнил де Вильерс.— Да, не все. Если бы все их разделяли, мы не были бы отверженными в своей же родной стране. Так почему ты решила, что я буду против бала? Что же ты молчишь? Может, мне самому тебе это объяснить?

Жена упорно отмалчивалась, и де Вильерс сердито закричал:

— Так как же, объяснить тебе или нет?

— Объясни, если хочешь,— неохотно процедила жена.

Джим де Вильерс удовлетворенно хмыкнул:

— Вам льстит, что белые власти устраивают этот бал для наших девушек. Еще бы! Им будут там милостиво улыбаться, покровительственно пожимать руки, и сам господин Администратор будет разглагольствовать о братстве между белыми и темнокожими.

Но пусть любая из этих девушек попробует сунуться к нему в дом, ее даже с черного хода не пустят. А ты что!— Он гневно обернулся к потупившейся дочери.— Неужели у тебя нет ни капли достоинства? Неужели ты хочешь быть не такой, какая ты есть, а такой, какой тебя желают видеть белые? Неужели ты думаешь, что этот бал для тебя что-нибудь изменит? Ведь белым никогда в голову не придет, что ты достойна пожатия их руки, и лишь ради лживой болтовни о братстве они, так и быть, позволят тебе поздороваться за руку с самим Администратором. Я вижу, тебя уже сейчас распирает гордость?

Он смотрел на Джейни в упор, но она не поднимала головы.

— Не ругай ее, Джим,— попросила жена с мольбой в голосе.— Говорю тебе, это моя затея.

Слова матери словно разбудили Джейни.

— Неправда,— возразила она.— Ты, мама, ни в чем не виновата. Я сама мечтала об этом бале с тех пор, как только услышала о нем.

— Заткнись,— закричал на нее де Вильерс.— Ты-то куда суешь свой нос? Ты ведь, кажется, не являешься членом Клуба матерей Парксайда?

Он повернулся к жене.

— Ладно, если хочешь, поговорю с тобой! Ты мечтаешь о том, чтобы Администратор принял наших девушек, да? И где же он их примет? В доме, куда в будни цветным запрещен вход! Все равно ведь он не впустит их в свой мир, никогда не признает их равными. На кой черт ему это нужно? — Гнев захлестнул его, он вскочил с места.— А ты подумала, кто сделал его Администратором? Правительство! То самое проклятое правительство, которое лишает нас права голоса, изгоняет из наших домов, а завтра, если это ему понадобится, может вообще приравнять к черным. И ты хочешь, чтобы прислужник этого правительства принимал наших дочерей на балу?— Он повернулся к Джейни.— Подожди, пока вернется из университета твой брат. Расскажи ему, что ты собираешься на бал дебютанток. Там сам господин Администратор мило улыбнется тебе и, взяв за руку, поведет в сказочное царство. Послушай внимательно, что ответит тебе на это твой родной брат.

На лице его отразилось такое страдание, что же-

на вскрикнула: «Джим! Джим!» — и бросилась к нему.

— Оставь меня!— сказал де Вильерс.— Это ты вывела меня из себя. Каково! Лизать руку, в которой зажат кнут! Уж не хочешь ли ты опозорить меня перед всеми цветными?

Мать и дочь с тревогой следили за отцом. Но он сумел взять себя в руки.

— Где ты набрала столько денег?— спросил он.— Небось экономила на еде?

— Нет, Джим. Я заработала их шитьем.

— И сколько же она стоит, эта проклятая тряпка?

— Четыре фунта.

— Сейчас же сними платье,— приказал де Вильерс дочери,— и чтобы я никогда его больше не видел!

Он снова сел, руки его слегка дрожали.

Джейни посмотрела на мать.

— Поди в свою комнату, сними платье и посиди там, пока я тебя не позову,— сказала миссис де Вильерс.

Когда дочь вышла, она обратилась к мужу:

— Джим, тебе надо бы прилечь.

— Прилечь? С какой стати?

— Ты нездоров.

— Нездоров? Да, ты права. Я болен. Болен и устал. Устал ползать на брюхе перед теми, кто лишает нас всех прав.

Она молча покачала головой, потом спросила:

— Почему ты вернулся раньше обычного?

Она хорошо знала своего мужа. Он никогда не отличался скрытностью. Она читала по его лицу, как по открытой книге. И сейчас видела, что он не в себе.

— Неприятности на заводе?— участливо осведомилась она.

Он молча закрыл лицо руками.

Она подошла и встала рядом.

— Тебя уволили, Джим?

Он помотал головой.

— Пока еще нет.

— Что же случилось? Затруднения со сбытом продукции?

— Нет.

— Джим, я плохо слышу, что ты говоришь.

Она отвела его руки от лица и, держа их в своих ладонях, опустилась на колени.

— Они недовольны тобой, Джим?
— Нет.
— Говорят, что ты слишком стар?
— Нет.

Она напряженно вглядывалась в его лицо. Нет никакого сомнения, что он принес дурные вести, но почему он их скрывает?

— Джим, ты обязан мне все рассказать. Слышишь, обязан!

Наконец он заговорил, голос его прерывался, слова застревали в горле.

— Этот новый закон!.. Понимаешь?.. Новый закон!.. Они называют его компромиссным.

— Что же сказано в этом законе, Джим?

— Что министр имеет право единолично решать вопрос, сколько держать рабочих на таком-то производстве. А это значит, что мы, цветные, все можем лишиться работы.

Она вскочила.

— Какая гнусность! Какая гнусность!— вскричала она и после некоторого молчания робко спросила:— Почему же ты все-таки пришел домой раньше обычного, Джим?

— Я заболел. По-настоящему заболел. Меня стало рвать. Босс спросил: «Что с тобой, Джим?» Я ответил: «Меня тошнит от вашего нового закона».

— Какая гнусность! Какая гнусность!— повторила жена.

— «Я здесь ни при чем, Джим»,— сказал босс. «Но вы же белый»,— сказал я. И он ушел. Ты считаешь, что я свалял дурака?— вдруг перешел на крик Джим.— Может, тебе хотелось бы, чтобы я ползал перед ним на брюхе!

— Нет, Джим, ты не прав.

— Да ведь хочешь же ты, чтобы твоя дочь раскланивалась перед ними, жала руки этим мерзавцам!

— Джим, много еще выпадет трудностей и несчастий на долю нашей дочери. Так пусть в ее жизни будет хоть один радостный, яркий вечер, думала я, пусть наша девочка в новом, красивом платье потанцует в Сити-холле, освещенном разноцветными огнями. Мы с тобой получали в жизни только пинки. Вот я и хотела, чтобы наша дочь хоть однажды почувствовала, что такое быть человеком. Один только ве-

чер! Пусть бы молодые люди в белых перчатках галантно, как истинные джентльмены, расшаркивались перед ней, а не тискали ее где-нибудь в темном углу.

— Когда-то это нас вполне устраивало,— попробовал отшутиться Джим.

— Ну уж не говори, ты никогда не позволял себе грубостей,— возразила жена.— Неужели ты не хочешь для нашей дочери лучшей жизни? Неужели она должна начать с того, чем ты кончил?

— Чем я кончил?— переспросил муж.— В самом деле, чем? Тем, что вынужден подчиниться закону, который отнимает у меня работу, право голоса, закону, который предусматривает, что меня в два счета могут вышвырнуть из дома только потому, что я не белый? Да разве ты не понимаешь, что нашей дочери придется еще хуже, чем нам с тобой?

— Может быть, не спорю. Но именно потому я и мечтала, чтобы у нее был хоть один счастливый вечер... Джим, пойди приляг. Я принесу тебе чашку чаю.

— Хорошо, я прилягу,— согласился де Вильерс и встал. Но тут же, спохватившись, не слишком ли быстро дал себя уговорить, добавил:— А ты поди успокой дебютантку.

После его ухода миссис де Вильерс сидела, опершись головой на руки. Вообще-то она старалась никогда не терять надежды, но на этот раз положение было и впрямь безвыходное.

Так она сидела, отрешившись от всего, пока не услышала голос сына:

— Что с тобой, ма?

— Ничего,— встрепенулась мать.— А ты давно уже дома, Джонни?

— Давно,— небрежно ответил сын.

Он стоял перед ней с жевательной резинкой за щекой — один из самых воинствующих университетских бунтарей.

— Много ли интересного тебе удалось подслушать в моем разговоре с отцом?

— Две новости.

— Какие же именно?

— То, что отец может потерять работу, и то, что сестра не пойдет на бал.

— Добавь еще: «И то, что мать страшно расстрое-

на всем этим, не знает, как ей быть». Честно говоря, я очень волнуюсь за отца.

— Он большой идеалист,— сказал сын.— Знает, в каком мире живет, а все продолжает на что-то надеяться. Любой удар сбивает его с ног.

— А сам-то ты разве ни на что не надеешься?

— Я? Нет, ни на что.— Он усмехнулся, как человек, умудренный опытом.— Ни на что и ни на кого, кроме самого себя. Тебе бы следовало радоваться за своего сына, ма,— снова усмехнулся он.— Помнишь, еще в Библии сказано: «Блажен тот, кто ни на что не надеется, ибо он никогда не разочаруется».

— В Библии ничего такого нет,— растерянно сказала мать.

Сын равнодушно пожал плечами.

— Не знаю, может, и нет. Но все равно это мудрость, достойная самого господа бога.

— Сынок, я хочу, чтобы ты мне помог. Можешь думать все, что тебе заблагорассудится, верить или не верить во что угодно, только помоги мне. Устрой так, чтобы Джейни побывала на этом балу.

Он поморщился и сказал раздраженно:

— Чтобы ей пожал руку сам Администратор? Нет уж, уволь.

— Я знаю, сейчас ты скажешь: «Он белый!» Да, белый... Но ведь в тот вечер, на балу, он будет просто Администратором. Цвет кожи утратит свое значение.

— Только не для меня!— вскричал Джонни.— Грязная свинья, вот он кто, ваш Администратор. Я не хочу, чтобы он прикасался к моей сестре! Можешь ты это понять? Ведь нам запрещено здороваться со всеми белыми, даже с простыми работягами. Какой же смысл во всем этом?

— Для меня — большой,— сказала мать умоляюще.— Это же наш Администратор. Дай мне сказать,— остановила она пытавшегося возразить сына.— Я знаю: не мы избирали или назначали его на этот пост. Но по своему положению Администратор должен быть в какой-то степени выше различий в цвете кожи. И вообще не это для меня главное...

— Я знаю, что для тебя главное,— перебил ее сын.— Ты хочешь, чтобы у твоей дочери был в жизни хоть один счастливый вечер, один только вечер

волшебства и романтики, чтобы она покрасовалась на балу в сверкающем серебристом платье, воображая себя чуть ли не королевой.— Он безжалостно передразнил мать.— А завтра пусть снова получает пинки, несчастная девочка. И не беда, что, когда она подрастет, ее будут обзывать потаскухой, готовой пойти с каждым за бутылку рома. Но в этот вечер— один только этот вечер — пусть с ней обойдутся, как с королевой!

Юноша произнес все это горячо и убежденно, потом взглянул на мать. Она сидела, тяжело сгорбившись.

— Почему же я должен тебе помогать в этом?— спросил Джонни уже без всякого энтузиазма.

— Потому что я твоя мать,— ответила миссис де Вильерс, не поднимая головы.— Потому что я твоя мать, и твоя мать просит тебя сделать ей одолжение, единственное одолжение.

Хлопнула калитка. Мать встрепенулась.

— Я ни с кем не могу сейчас разговаривать, пойди извинись,— сказала она сыну.

Джонни видел: мать вот-вот разрыдается.

Он быстро вышел и через минуту вернулся назад.

— Кто приходил? — спросила мать.

— Это не к нам. Спрашивали каких-то Томлинсонов.

Миссис де Вильерс смахивала слезы с ресниц, и у Джонни защемило сердце от жалости. Он подошел поближе и ласково сказал:

— Не плачь, ма. Ладно, я сделаю это ради тебя, но только один раз. Больше никогда меня ни о чем таком не проси.

— Я никогда больше и не попрошу. Только один раз.

Он молитвенно поднял глаза к потолку и произнес, подражая матери, высоким фальцетом:

— Только один раз, и пусть в этот вечер с ней обойдутся, как с королевой.

Мать рассмеялась сквозь слезы.

— Пойди к отцу, скажи, что я сейчас принесу ему чай. А это не помешает твоей работе в организации, Джонни?— вдруг спохватилась она.

— А если и помешает? Это очень огорчит тебя и расстроит?

— Нет, почему же?— возразила мать, не обращая внимания на иронию.— Мне просто не хотелось бы мешать твоим делам.

— Не беспокойся о моих делах, ма,— ответил сын.

Он постучал в дверь спальни.

— Войди,— послышался голос.

Отец лежал на кровати.

— Закуривай, па.

— Спасибо, Джонни, пожалуй, я выкурю сигаретку.

— Кури, кури, пока можешь,— насмешливо сказал сын.— Ма сказала, у тебя неприятности на работе. От этого ты и скис?

— Да, сынок,— сказал отец смущенно.— Это действительно выбило меня из колеи.

— А все потому, что ты всегда надеешься на лучшее,— сказал сын.— А я вот наоборот: ожидаю худшего и, когда оно приходит, я к нему уже готов.

— Ну значит, ты счастливый человек,— сказал отец не без горечи.— В дни моей юности люди еще не теряли надежды. А ты живешь в другое время. Не забывай одного: я служил у Смэтса.

— У Смэтса?— пренебрежительно переспросил Джонни.— А кто такой Смэтс?

Отец многозначительно посмотрел на сына.

— Джонни,— сказал он, немного помолчав,— сегодня я и впрямь сник. Но завтра я хочу выступить на митинге. Не мог бы ты помочь мне подготовить речь?

— Это будет обличительная речь?

— Ну как тебе сказать?— помялся отец.— Не совсем. Я собираюсь выступить в защиту наших прав, но мне не хотелось бы сильно задевать белых.

— Ах, вот оно что! Тогда почему же ты не разрешаешь Джейни пойти на бал?

Джим в недоумении посмотрел на сына.

— Что-то я не пойму тебя, сынок. Ты, значит, за то, чтобы она туда пошла?

— Нет,— ответил сын, жуя резинку.— Я не за то. Но если ты хочешь, чтобы я помог тебе с речью, разреши ей отправиться на бал.

От неожиданности отец даже приподнялся на кровати.

— Что ты говоришь?

— То, что ты слышишь,— ответил Джонни.— Это будет плата за речь, которую я тебе напишу. Речь не обличительная, без ненависти или возмущения, полная пустых рассуждений о свободе и правах человека. Никто не напишет тебе такую речь лучше, чем я.

— Почему же ты меня об этом просишь, сынок?

— Потому, что так хочет ма. «Джонни,— сказала она,— я твоя мать, и я мечтаю, чтобы твоя сестра хоть раз в жизни почувствовала себя королевой».

Он смотрел на отца ничего не выражающим, бесстрастным взглядом.

— Джонни, я все-таки не понимаю тебя,— растерянно проговорил отец.

— А тебе и нечего понимать. Ответь мне просто и ясно: пустишь ты мою сестру на бал или нет?

— Но я правда ничего не понимаю, Джонни,— повторил отец.— Ведь главным образом из-за тебя я и запретил ей идти туда.

— Ну, а теперь главным образом из-за меня ты и разреши ей пойти.

— Ты положил меня на обе лопатки,— растерянно пробормотал Джим де Вильерс.

— А я многих кладу на обе лопатки,— без лишней скромности ответил сын.— Все же ответь мне: пустишь ты ее на бал или нет?

— Ладно уж, пусть идет,— согласился отец.— Но с одним условием: скажи мне честно, как это согласуется с твоими убеждениями?

— Логика жестокой необходимости,— ответил Джонни.— Допустим, я бойкотирую американские продукты и умираю с голоду, так как вокруг нет никаких других продуктов, кроме американских. Значит, мне приходится покупать американские.

— Ты потребляешь американские продукты, чтобы иметь возможность бойкотировать их?— уточнил отец.

Джонни невольно улыбнулся.

— Ты делаешь успехи, отец. Пойми же, я не могу заниматься в доме, где полно плачущих женщин.

— А твоя мать плакала?— спросил отец.

— Да.

— Сынок, не говори ей, что мы с тобой заключили сделку,— попросил Джим.

— Хорошо, па, не скажу.

Он ушел в свою каморку — это была отгороженная часть веранды — и присел к столу, чтобы обдумать для отца речь о свободе и правах человека. Но тут же поспешно встал, вытащил из-под кровати три плаката и прислонил их к стене, чтобы лучше было видно. На обоих плакатах был один и тот же заголовок: «Бал дебютанток». На первом, пониже этой подписи, крупными буквами было выведено: «Дебби, уходи домой!» На втором: «Кто украл у меня право голоса?»

Третий плакат Джонни изготовил сам. Друзья находили его слишком уж моралистическим, но сам он не разделял их мнения. «Добро пожаловать, угодницы-щеголихи!»

Расставив плакаты, Джонни сел на прежнее место и только было хотел приняться за речь, как стремительно вбежала мать. Глаза ее сияли. Она уже готова была броситься ему на шею, но вдруг увидела плакаты и замерла на месте.

— Ты пришла меня поблагодарить? — спросил Джонни.

— Да, конечно.

Она села на стул и стала внимательно рассматривать надписи на плакатах.

— Зачем ты их выставил? — сказала она.— Ты не должен был это делать. Да так просто. Нельзя же одной рукой давать, а другой...

— Я отдал тебе принадлежащую мне долю. Мы приготовили все это гораздо раньше, чем я узнал о твоем желании послать туда Джейни.

Она молчала, и сын продолжал:

— То, что мы делаем, очень важно. И никто не может отказаться от борьбы за свои убеждения только потому, что его сестра идет на бал.

— Я понимаю тебя,— сказала мать.— Я понимаю, чего добиваешься ты вместе с твоими друзьями. Но разве вы не можете отложить это хотя бы на время? Имеете ли вы сострадание хоть к кому-нибудь?

— Сострадание? — переспросил сын.— Сострадание — это все равно что дверца клетки: открой ее хоть раз, и все пропало.

— Ты не знаешь, Хейзел идет на бал?
— Идет,— презрительно ответил сын.
— А Фред? Он поступит так же, как ты?
— Да, конечно.
— Мир сошел с ума,— заключила мать. Она встала в недоумении, потирая лоб тыльной стороной руки.— Брат против сестры, муж против жены. А ты знаешь, что говорил Христос?
Джонни глядел на мать с досадой. Это недозволенный прием. Он может сколько угодно глумиться над религией белых, но не над ее верой.
— Иди, пожалуйста, своим путем,— продолжала мать,— но позволь мне высказать тебе один совет: если уж ты решил что-то дать, то давай от всего сердца и не отнимай потом половины назад.
Она вышла, плотно закрыв за собой дверь. В доме стояла мертвая тишина: ни звука шагов, ни скрипа дверей, ни человеческого голоса. Не в силах вынести тяжкого груза этого безмолвия, он пошел искать мать. Она сидела в гостиной, погруженной в вечерний сумрак.
— Что ты здесь делаешь, ма?
— Думаю,— ответила она будничным, деловым тоном.
Это было так на нее похоже. Надо было прожить с ней всю жизнь, чтобы понять сразу: больше она не станет просить его о помощи, ни за что не станет. Слабохарактерный муж, мечтательная дочь, упрямый, несговорчивый сын — чем они могут ей помочь?
— Если тебя это устроит, ма, я могу сделать так, чтобы Джейни не встретилась там со мной,— сказал сын.
— Как же ты это сделаешь?— встрепенулась мать.— Ну конечно, ты знаешь, что машины будут подъезжать к главному входу. А сам ты останешься на улице или войдешь внутрь?
— Это уж пусть тебя не волнует,— ответил сын.— Все, что я могу тебе сказать: Джейни на балу меня не увидит.
— Фред сделает то же самое для Хейзел?
Он не мог не восхититься ее проницательностью, но вслух сказал:
— Не знаю, это уж дело Фреда.

Она встала, чтобы расцеловать его, он смущенно отстранился.

— Не стоит благодарить меня,— проговорил он слегка охрипшим голосом.— Она все равно встретит там остальных.

Но мать все-таки поцеловала его.

— Передай мой поцелуй Фреду, пойду обрадую Джейни,— сказала она и уже в дверях, обернувшись, добавила с улыбкой:— А ты, сынок, не позабудь про речь для отца.

ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ

Доктор прикрыл куском ткани огромную дыру в черепе Флипа. Теперь его вдова, ее братья и сестры с чадами и домочадцами, братья и сестры самого Флипа со своими семьями — все они могли наконец войти, чтобы постоять в скорбном молчании у бездыханного тела бывшего владельца фермы Кроон, одного из самых богатых фермеров в здешних краях.

Машины подъезжали и отъезжали: полиция, репортеры, соседи с ближних и дальних ферм.

Белые женщины прошли в комнаты, белые мужчины собрались у входа в дом. Такое необычайное событие, как насильственная смерть одного из них, мгновенно объединило всех. Пусть все вокруг видят, как они сплочены. Пусть чувствуют их силу и пусть убедятся, что они не успокоятся, пока не свершится возмездие. Эта сплоченность белых заставила цветных укрыться в своих лачугах, разговаривать еле слышными, приглушенными голосами. Страх передался даже детям, они притихли и стали послушны, как никогда. Лишь изредка кто-нибудь выбегал в ближние кусты справить нужду — и больше ничто не нарушало общего оцепенения.

Каждая семья притаилась у себя в лачуге, усевшись на некотором расстоянии от открытой двери. В тревожном ожидании, не отрывая глаз, следили они за тем, что творилось возле большого дома: белые люди все подъезжали, приехал белый священник из Поорта. Его нетрудно было распознать по черной сутане и черной шляпе. Он поздоровался за руку с сыновьями покойного бааса Флипа, сказал им не-

сколько слов в утешение и прошел в дом. Мужчины последовали за ним. Немного спустя из большого дома донеслись звуки заупокойного псалма. Мелодия пересекла долину, устремляясь к жалким каменным хибарам на другой стороне, к домику Еноха Маармана, старшего пастуха фермы Кроон, и его жены Сары, сидевших в ожидании у дверей. Выражение лица и движение рук Маармана выдавали его тревогу. Сара делала вид, будто ничего не замечает. Они оба чувствовали себя виноватыми хотя бы потому только, что оба ненавидели бааса Флипа, не так, как ненавидят, со сжатыми кулаками и стиснутыми зубами, а как только можно было ненавидеть рабочим фермы,— с поклонами и внешней почтительностью.

Сара вдруг выпрямилась на стуле.

— Идут,— обронила она еле слышно.

Супруги увидели, как четверо мужчин вышли из большого дома и направились по тропинке к их жилищу. Страх Маарманов возрастал по мере приближения этих людей. А ведь выражение горя на их лицах могло бы хоть как-то смягчить жестокость белых, которые, так и не найдя истинного виновника преступления, вполне могли сорвать злость просто на тех, кто не скорбит по хозяину.

Сегодня утром Маарман подошел к баасу Гисберту, старшему сыну бааса Флипа, и, сняв шляпу, сказал:

— Нас всех опечалила эта ужасная весть...

И баас Гисберт произнес слова, поразившие пастуха:

— Возможно, и так...

— Посмотри, с ним идет Роббертс,— сказала Сара мужу.

Маарман кивнул. Он знал этого Роббертса — верзилу-сыщика, необузданного, страшного человека. Когда он входит в раж, на его губах проступает розовая пена, он хватает свою жертву за горло и душит до тех пор, пока его же товарищи не выручат беднягу.

Отец Сары, один из мудрейших стариков во всей округе, говорил, что никак не распознаешь: действительно ли Роббертс не в своем уме или только прикидывается. Хотя какая разница — и настоящий псих, и тот, кто прикидывается, опасны в равной степени.

Маарман и его жена встали. Двое из четверых — Робертс и еще один — были сыщики. Оба — рослые, самоуверенные, щеголеватые. На них были серые фланелевые куртки спортивного покроя и серые фетровые шляпы. Не снимая головных уборов, сыщики презрительно осматривали тесное жилище Маарманов. Потом заговорили друг с другом, словно они были одни в комнате.

— Ты и есть Енох Маарман?— вдруг резко спросил Роббертс.

— Да, баас.

— Старший пастух фермы?

— Да, баас.

— А кто еще с тобой пасет скот?

Енох назвал имена. Роббертс присел на стул и записал их в своем блокноте. Затем сдвинул шляпу на затылок и продолжал:

— Кто-нибудь из них был под судом?

Енох провел языком по губам. Ему хотелось сказать, что полиции куда легчё ответить на этот вопрос, а он всего лишь пастух и может ответить только на вопросы, касающиеся скота. Но вместо этого он произнес:

— Не знаю, баас.

— Ты что ж, не знаешь, что Клейнбоя посадили в тюрьму на рождество?

— Знаю, баас.

— Тогда какого же черта ты врешь?— заорал Роббертс, вскакивая на ноги. Он словно заполнил собою всю комнату, голова его почти упиралась в потолок.

Сара отпрянула к стене, глядя на Роббертса полными ужаса глазами, но Енох не шевельнулся, хотя и был смертельно напуган.

— Я не хотел вас обманывать, баас,— спокойно ответил он.— Клейнбоя судили за пьянство, а не за убийство.

— Убийство? Почему ты заговорил об убийстве?— спросил поспешно Роббертс.

Енох промолчал. Вдруг сыщик поднял вверх руку. От неожиданности Енох попятился назад и упал, перевернув стул. Стоя на коленях и заслоняя одной рукою голову, он пытался другой поднять опрокинутый стул.

— Баас,— сказал он,— мы знаем, вы находитесь здесь потому, что убит хозяин.

Но оказалось, Роббертс поднял руку лишь затем, чтобы снять шляпу. Оскалившись в усмешке, он положил шляпу на стол.

— Ты что, всегда падаешь, когда снимают шляпу?— спросил он.— Я человек воспитанный и снимаю шляпу, когда вхожу в чужой дом.

Он улыбнулся Саре и, взглянув на поставленный Енохом стул, милостиво позволил:

— Ты можешь сесть.

Сара не двинулась с места. Улыбка мигом сошла с лица Роббертса, и он повторил холодно и угрожающе:

— Можешь сесть.

Сара села, и Роббертс снова обратился к Маарману:

— Сделай одолжение, больше не опрокидывай стулья. Если вдруг один из них сломается, ты, чего доброго, заявишь, что это сделал я, не так ли? Ты ведь можешь заявить, что я набросился на тебя со стулом, а?

— Нет, баас.

Роббертс снова уселся и уткнулся в свой блокнот, словно надеялся отыскать там кое-что поинтереснее имен пастухов. Потом вроде бы невзначай спросил:

— Ведь ты ненавидел его?

— Нет, баас,— ответил Енох.

— А где твой сын Йоханнес?

— В Кейптауне, баас.

— Почему же он тоже не стал пастухом?

— Я не позволил бы ему, баас.

— Вот как? Ты послал его учиться в университет для белых?

— Да, баас.

— Чтобы он мог корчить из себя белого господина?

— Нет, баас.

— Почему же он никогда не приезжает навестить тебя?

— Наш баас не разрешал.

— Потому что он не захотел стать пастухом?

— Да, баас.

— Значит, ты ненавидел вашего бааса, правильно?

— Нет, баас.

Роббертс смотрел на Маармана с безграничным презрением.

— Человек не пускает твоего сына в его родной дом только потому, что ты желаешь для него лучшей доли, и ты не питаешь ненависти к этому человеку? О господи, что ты за выродок?

Он вздернул плечами и вдруг перешел на доверительный, почти дружеский тон:

— Послушай, Маарман, у меня есть для тебя новость. Можешь считать ее хорошей или плохой — это твое дело. Но думаю, ты имеешь право ее знать. Это касается твоего сына.

Пастух весь сжался от мрачного предчувствия. Роббертс готовил для него новый удар. Таков уж этот тип, он не может без ненависти смотреть на черного человека, ему хочется видеть всех черных стоящими на коленях или ползающими на брюхе.

— Так твой сын, говоришь, в Кейптауне?— переспросил Роббертс наигранным, веселым тоном.

— Да, баас.

— Ну, так знай: его там нет,— отрезал сыщик.— Твой сын здесь, в Поорте. Его видели здесь вчера.— Он выждал некоторое время, наслаждаясь произведенным впечатлением, и спросил:— Он очень ненавидел бааса Флипа, правда?

— Нет, нет, баас!— вскричал Маарман.

В ту же секунду Роббертс вскочил на ноги, снова заполнив собой и своей яростью всю комнату.

— Вот как?— завопил он.— И сын твой не чувствует к нему ненависти? Господь всемогущий! Баас Флип выгнал его с фермы, запретил видеться с отцом и матерью, а он так и не хочет отомстить за это, и ты тоже. Гадина ты ползучая, ублюдок, а не человек! Из чего только все вы сделаны?

Он вновь смерил пастуха с ног до головы злобным взглядом, его глаза налились кровью, и он повторил с отвращением:

— Желтая ползучая гадина, ублюдок, готтентот проклятый!

— Баас...— остановил его Маарман.

— Что тебе еще?

— Баас может спрашивать меня о чем угодно, и

я постараюсь ответить ему, но я прошу бааса не оскорблять меня в моем доме, в присутствии моей жены.

Роббертс, казалось, был доволен, просто восхищен. Другой бы на его месте возмутился: какой-то цветной осмеливается одергивать его! Но Роббертс нашел в себе силы отдать должное гордости пастуха.

— Я оскорбил тебя? Разве ты не видел, как я снял шляпу, войдя в твой дом?

Он обернулся к Саре и спросил:

— Ты видела, как я снял шляпу?

— Да, баас.

— Ты тоже считаешь, что я оскорбил твоего мужа?

— Нет, баас.

Сыщик улыбнулся ей чуть ли не заискивающе.

— Вот и я так считаю. Я просто сказал, что он желтая ползучая гадина, ублюдок, готтентот.

Улыбка сошла с губ сыщика, он в бешенстве шагнул к пастуху.

— Роббертс!— окликнул его вдруг второй детектив, не проронивший до этого ни единого слова.

Роббертс остановился, уставясь бессмысленным взглядом на Маармана.

— Кто-то позвал меня? Ты слышал голос?

Маарман похолодел от ужаса, увидев, как у сыщика на губах проступает пена. Что это — приступ безумия или притворство?

— Другой баас позвал вас,— наконец проговорил он еле слышно.

Роббертс вдруг словно пришел в себя. Он опустился на стул и стал снова задавать вопросы:

— Ты знаешь, что были украдены деньги?

— Да, баас.

— Кто тебе об этом сказал?

— Мими, девушка, которая работает в большом доме.

— Деньги лежали в железном сейфе и были унесены вместе с ним,— это ты тоже знаешь?

— Да, баас, знаю.

— Куда же их спрятали?

— Не знаю, баас.

— Хорошо. Куда бы ты спрятал сейф, если бы ты его украл?

Маарман молчал.

— Ты не желаешь отвечать?

Все трое не спускали глаз с Роббертса: не надвигается ли очередной приступ безумия? Но сыщик снисходительно улыбнулся Маарману, словно допуская, что и цветной имеет право на человеческое достоинство.

— Ладно,— наконец сказал он.— Можешь не отвечать на этот вопрос. Но подумай, где может быть спрятан сейф. Он тяжелый, одному, даже двум с ним не справиться, значит, его не могли унести далеко. Он может быть только здесь, на ферме, а ферму лучше тебя не знает никто. Подумай хорошенько.

— Я подумаю,— промолвил Маарман.

— Приехал лейтенант,— встрепенувшись, сказал спутник Роббертса.

Оба сыщика вскочили и стали смотреть через открытую дверь в сторону большого дома. Потом Роббертс обернулся к Маарману, схватил его за шиворот и подтащил к двери.

— Ты видишь, все хотят знать, кто убил бааса Флипа, и чем скорее узнают, тем лучше. Понимаешь?

— Да, понимаю, баас.

— Ты видишь там лейтенанта? Он прибыл сюда специально на своем «крайслере». И боже мой, что он сделает со мной, если я не найду преступника!

Он с силой оттолкнул пастуха, надел шляпу и выскочил из дома. Второй сыщик последовал за ним.

— Не думай, что мы видимся в последний раз,— крикнул Роббертс на прощание,— ты еще должен показать мне, где твои дружки спрятали сейф.

Роббертс и его приятель присоединились к двоим поджидавшим их мужчинам, и все четверо заспешили к большому дому. По пути они о чем-то оживленно спорили, временами на минуту останавливаясь, и никому из них, очевидно, не приходило в голову, что среди них есть сумасшедший.

Прошло двенадцать часов с тех пор, как они увели ее мужа. Двенадцать бесконечных часов с того момента, когда за ним снова пришел этот бешеный сыщик с налитыми кровью глазами. Должно быть, лейтенант уже свел с ним свои счеты.

— Пойдем, покажешь нам, где спрятан сейф,—

сказал он Маарману, скривив губы в подобие улыбки.

Солнце уже успело опуститься за холмы Кроона. Время для поисков сейфа давно прошло.

Всю ночь она не сомкнула глаз. Соседи пришли посидеть с ней. Сначала до полуночи, потом до двух часов... до четырех, но Енох все не приходил. Почему же он не возвращается? Неужели они до сих пор продолжают поиски этого проклятого сейфа? Вот и небо уже порозовело, из-за холмов взошло солнце.

На другой стороне долины в большом доме проснулись люди. Сегодня баас Флип обретет вечный покой в земле под сенью кипарисов, накрытый тяжелым каменным надгробием.

Пастухи, оставшись без старшего, пришли получить распоряжения к сыну Флипа, баасу Гисберту.

Второй пастух, Хендрик Баадье, заикнулся было о том, что вот-де вчера на закате солнца полиция увела с собой Еноха Маармана, сейчас уже рассвело, а Енох все еще не вернулся, и это очень беспокоит его жену. Не будет ли баас Гисберт так любезен позвонить по телефону и справиться, ну просто так спросить, что там стряслось со старшим пастухом. Баас Гисберт ответил прерывающимся от гнева голосом:

— Разве ты не знаешь, что мой отец убит?

— Простите, баас...— растерянно пробормотал Хендрик Баадье и снял шляпу.

Пристыженный, он робко отошел к группе пастухов. Им не следует соваться не в свои дела, они обязаны знать свое место и внушить это своим детям на вечные времена.

Прошло пятнадцать часов. Сара забыла о еде. Соседи принесли ей поесть, но разве ей было до этого? Перед ее глазами попеременно вставали то перекошенный в злобе рот сыщика с кровавой пеной на губах, то его громадная фигура, заполнявшая собой всю комнату, то наигранная вежливость с язвительной, притворной улыбкой.

Только потому, что ее муж был пастухом, только потому, что он никогда не знал уверенности в завтрашнем дне, только потому, что обязан был гнуть спину перед белыми, смирять свой дух и с вымученной улыбкой вежливо отвечать на любое оскорбление, только потому, что его тело покрыто темной кожей,—

только поэтому любой сумасшедший сыщик может врываться к ним в дом, хватать за горло и обзывать ползучей гадиной, ублюдком, готтентотом человека, который за всю свою долгую, кроткую жизнь никого не обидел, который был хорошим мужем и отцом, не считая редких вспышек гнева, на что разумная жена и внимания не обратит, ибо понимает, что это всего лишь усталость от цепей, от необходимости вечно стоять на коленях.

А этот свихнувшийся от злобы шпик врывается в твой дом, в насмешку снимает шляпу и задает вопросы, каких отродясь не посмел бы задавать в доме белого человека.

Гнев Сары вдруг прошел, оставив после себя лишь усталость и страх за судьбу мужа и сына, рискнувшего вернуться в Поорт в такое опасное время.

Как замерзающий человек перестает двигаться и поддается иллюзии тепла и даже начинает ощущать его, так и она сидела неподвижно, боясь шелохнуться и потревожить свои оцепеневшие мысли и растравить боль.

Однако ей не дали оставаться в таком состоянии долго. В одиннадцать часов от Хендрика Баадье пришли сказать, что ни сыщика, ни старшего пастуха нигде на ферме нет. Затем около полудня явился мальчик и сказал, что ее брат, Соломон Коопман, приехал в Кроон на такси и ждет ее у ворот фермы; он просит ее немедленно выйти к нему, так как ему не хотелось бы заходить к ней в дом.

Сара повязала платком голову и, едва увидев брата, вскричала:

— Ну что, они живы?!

Брат озадаченно смотрел на нее. Тогда она повторила, думая, что он ее не понял:

— Они живы — мой муж и сын?

О сыне Сара пусть не беспокоится, сказал ей брат, все это, должно быть, одна из шуток Роббертса; сын ее по-прежнему в Кейптауне, в Поорте он не появлялся. Брат рад ей сообщить эту приятную новость. Вторая же новость ужасна: ее мужа Еноха Маармана уже нет в живых.

Соломон Коопман всегда побаивался сестры. После смерти их матери она стала за старшую, и ей пришлось взвалить на свои плечи всю заботу о доме.

Сейчас он не знал, как она воспримет страшную весть и сможет ли он утешить ее.

Но Сара только немного всплакнула. Она вела себя так, словно успела свыкнуться с этой страшной мыслью и не даст горю убить себя: она должна сберечь силы для другого.

— Как это произошло?— тихо спросила она.

Он передал ей то, что ему сказали о смерти Еноха в полиции. Ночь была темной, они стали спускаться в поисках сейфа к реке. Енох поскользнулся, упал, ударился головой о большой камень. Его, конечно, тут же повезли в Поорт, но он умер еще в машине, не приходя в себя.

Что она могла на это ответить? Они помолчали. Брату было стыдно пересказывать эту явную ложь, но он не мог поступить иначе. Он боялся потерять право торговать в Поорте, да и мог ли он позволить себе не доверять полиции?

— Это произошло ночью,— сказала Сара.— Почему же они сообщают мне об этом только сейчас?

К сожалению, они не могут выдать ей тело мужа, он уже похоронен. Почему так поспешно? Разве она сама не понимает: лето, стоит жара, и, увы, трупы очень быстро начинают разлагаться. Они бы, конечно, не сделали этого, если бы знали, кто он и что дом его находится совсем близко.

Можно ли перенести останки Еноха Маармана на ферму и захоронить среди родных холмов, где он прослужил верой и правдой почти пятьдесят лет, пас и растил овец бааса Флипа? Увы, нельзя. Одно дело — зарыть человека, совсем другое — его вырыть. Чтобы похоронить умершего, требуется лишь свидетельство врача, и даже это не всегда обязательно, а чтобы выкопать его... О, для этого нужно ехать в Кейптаун и получить разрешение самого министра. Дело это весьма сложное. Министр, как правило, отказывает. Зачем же тревожить кости человека, уже нашедшего упокоение в земле?

Соломон Коопман на месте сестры давно бы отступился. На его губах появилась бы робкая улыбка, хотя сердце холодело бы от ненависти, но Сара твердо решила не сдаваться. Это было единственное, что бесспорно принадлежало ей,— право самой похоро-

нить человека, с которым вместе прожила столько лет. Сара попросила белого констебля, сидевшего за конторкой, показать ей свидетельство о смерти мужа. Она желала также знать, кто распорядился похоронить его, кому понадобилось так быстро скрыть в земле его тело и почему не нашлось никого, кто мог опознать в умершем Еноха Маармана, хорошо известного всем старшего пастуха фермы Кроон. Наконец, разве они не знали, что Еноха увел с собой детектив Роббертс?

Она задала все эти вопросы через своего брата Соломона Коопмана, имевшего разрешение торговать мясом в Поорте. И брат переводил эти вопросы на английский язык, стараясь придать им возможно более примирительный оттенок, хотя отлично понимал, что тут что-то нечисто, что от них хотят что-то скрыть. Но, несмотря на все свои старания быть любезным, Соломон Коопман видел, что полицейского все больше и больше раздражает назойливость Сары и тот явно собирается дать им понять, что никакое горе не дает им права учинять допрос властям.

Подошли другие полицейские — послушать, чего добивается эта женщина, никак не желающая уходить.

— Покажи ей свидетельство,— велел один из них молодому констеблю за конторкой.

— Вот, пожалуйста,— проворчал констебль.— Смерть в результате кровоизлияния в мозг.

— Он ударился головой,— пояснил другой полицейский,— вот и произошло кровоизлияние.

— Я хотела бы повидать детектива Роббертса.

Полицейские, многозначительно улыбнувшись, переглянулись.

— Это невозможно,— сказал один из них,— детектив Роббертс сегодня утром уехал в отпуск.

— Как же он мог уехать,— спросила она,— когда ему поручили расследование этого дела?

Полицейские с удивлением и раздражением глядели на нее. Ну, знаете ли, это уж чересчур! Эта женщина слишком много себе позволяет!

Ее родной брат, почуяв неладное, стал обеспокоенно уговаривать:

— Сестра, уйдем отсюда.

Слезы наконец полились из ее глаз. Слезы горя и ненависти.

Полицейские постояли с минуту и разошлись. За конторкой снова остался один молодой констебль.

— Что же произошло?— твердила Сара.— Как все-таки умер мой муж? Почему здесь нет детектива Роббертса? Он сам должен был бы все рассказать.

— Ну хватит!— вспылил констебль.— Мы не отвечаем на такие вопросы. Можешь обратиться к адвокату, если тебе уж так хочется.

— Хорошо,— сказала она,— я обращусь к адвокату.

Сара и Соломон направились к выходу. В это время в дверях появился старший полицейский. Он заговорил вежливо и спокойно.

— Почему ваша сестра хочет сделать такой неразумный шаг?— обратился он к Соломону.— Приглашение адвоката только посеет рознь между полицией и населением.

Соломон перевел взгляд с полицейского на Сару, теперь он стал побаиваться их обоих.

— Спроси у него,— сказала Сара брату,— разве неразумно желание жены знать, как умер ее муж?

— Скажите ей,— ответил полицейский,— что произошел просто несчастный случай.

— Он знал Еноха,— сказала Сара.— Почему же он разрешил зарыть его здесь?

Ее голос окреп, стал звучать настойчивее и громче. Полицейский же, напротив, начал говорить тише — словно для того, чтобы сохранить равновесие.

— Я тут ни при чем,— сказал он.— На то был приказ свыше.

— Послушай, сестра,— умоляюще заговорил Соломон, едва они вышли на улицу.— Оставь ты эту затею с адвокатом. Прошу тебя. Если мне запретят торговать в Поорте, кто поможет твоему сыну закончить университет в Кейптауне?

Сара вернулась домой, когда солнце снова стало скатываться за холмы Кроона. Прошли уже сутки с тех пор, как сыщик Роббертс увел ее мужа искать сейф. Она зажгла лампу и опустилась на стул, слишком измученная, чтобы подумать о еде. Раздался робкий стук в дверь, и вошел Хендрик Баадье. Он

остановился перед ней, в смущении вертя в руках шляпу, словно перед какой-нибудь знатной белой леди. Затем передал ей слова соболезнования от всех цветных фермы. Кроме того, он вручил записку от молодого бааса Гисберта. Поскольку ферме нужен теперь новый пастух, писал баас, он предлагает вдове Еноха Маармана освободить дом. Ей дается на сборы три дня. Ей также дадут тележку и ослов, чтобы отвезти весь скарб в Поорт.

— Вам хватит трех дней?— спросил Баадье.— А то я попрошу бааса Гисберта немного увеличить срок.

— Трех дней достаточно,— сказала Сара.

Пастух ушел. «Это даже слишком много,— подумала Сара,— прожить целых три дня одной в этой берлоге. Она бросит здесь все и уедет в Кейптаун, где живет ее сын, где людям живется, как он говорил, легче и спокойнее».

МАЙКЛ ПИКАРДИ

Прозаик, новеллист. Его произведения публиковались в периодической печати. Рассказ «Был у меня друг африканец» взят из сборника «Вернись, Африка» (1968).

БЫЛ У МЕНЯ ДРУГ АФРИКАНЕЦ

— У меня был друг африканец, ей-богу, какой-то странный,
Я его поцеловала, а он в ответ рассердился.
— Ладно-ладно, Салли, я скажу твоей маме,
Что ты целуешься с африканцами!
Сколько раз ты его поцеловала?
— Только раз, два, три, четыре, пять...
и т. д.

Лондонская уличная шуточная песенка

Она чувствовала себя в Лондоне совсем одинокой. В семь часов вечера она раздвинула цветные занавески и распахнула окно в своей комнате, которая

служила одновременно и спальней, и гостиной. В сумерках, серых, словно кладбищенские надгробия, она видела, как при выдохе изо рта у нее выплывают белые облачка.

Она снова, в который раз, перечитала письмо. Щадя ее чувства, он писал, что не любит ее, так как у них мало «духовного родства». От этих слов ей стало не по себе. Почему же все-таки он не сказал ей правду? Что он от нее просто устал? Что у нее, Марты Харт, невзрачная, худая, вытянутая физиономия, тщедушное тело и примитивный ум?

В тот вечер она опять пошла одна на фортепьянный концерт. Но музыки она не слышала. Звуки, вызванные к жизни прикосновением пальцев пианиста к клавишам, ассоциировались у нее с великими словами, в которые прежде всего вкладывался огромный смысл любви: красота, сила, созидание, нежность, и всем тем, что окружало эти слова солнечным ореолом.

Она с грустью думала о себе, о своем будущем, таком безрадостном и беспросветном: отцу стукнуло семьдесят четыре, мать давно умерла. Когда она родилась, родители уже были пожилыми людьми. Марта считала, что ее появление на свет было следствием запоздалого решения, оно скрасило их возвращение в Англию после долголетней службы отца в колониях. Ребенок так подходил к палисаднику, любимым книгам, военным рассказам и скудной пенсии...

На следующий день Марта не пошла на работу. Она позвонила и сказала, что простудилась. Она даже отказалась встретиться со своей подругой Хильдой Мэнинг, как та ни уговаривала ее выйти поболтать и договориться о воскресном обеде. Нет, она плохо себя чувствует.

Но Марта все же вышла из дому. Она прошлась по Фингли-роуд, затем по Хампстед-хилз. В рощице на холме, где рос огромный дуб, она покормила белок. Потом на метро доехала до Сити и от Английского банка прошла пешком к реке. На уединенном причале, что позади церкви святого Магнуса Великомученика за Фишмангерс-холлом, она скормила чайкам остатки хлеба. Две баржи тихо отшвартовались от причала и медленно поплыли по течению на восток к Лондону и дальше к морю. И ей показа-

лось, что вместе с ними уплывает ее жизнь. Но она усилием воли отогнала мелькнувшую было мысль о самоубийстве.

Она постояла, пока не стемнело, потом устало побрела назад по запущенной аллее вдоль набережной, затем поднялась по ступенькам к опорам Лондонского моста. В стороне от площадки, куда она вышла, были общественные уборные, а рядом у дороги — рыбный рынок. Резкий запах аммиака и тухлой рыбы ударил ей в нос с такой силой, что комок тошноты подступил к горлу. На какое-то мгновение ею снова овладело отчаяние и захотелось, чтобы мост рухнул и раздавил ее.

В метро по пути домой она с грустью думала о том, что вот теперь она всегда будет одна ходить на концерты, одна прогуливаться по пустырю, одна спускаться к реке.

Одна, всегда одна! Ей стало страшно.

Ночью ей приснился сон, будто она упала в глубокую яму, откуда никогда не видно солнца.

На следующее утро, готовя себе завтрак, она постаралась все вспомнить. Она дотронулась до лица и ощутила выступающие скулы, обтянутые тонкой кожей, на них будто запечатлелись следы ее горьких страданий. Она закрыла глаза, чтобы отогнать мрачные мысли и вызвать в памяти приятные картины: золото, мрамор, пурпур, вино, рычащий тигр, блеск звезд. Но тщетно. И лишь на одно мгновение, когда Марта ставила чайник на газовую плиту, перед ее взглядом вдруг вспыхнуло вполне реальное видение, которое тут же исчезло. Это было солнце.

Хильда Мэнинг, подруга Марты, была абсолютно уверена, что все на свете зависит не столько от человека, сколько от его знакомств. Вот, к примеру, ее возлюбленный Джереми Доув, несомненно, получил повышение и занял место главного бухгалтера в рекламном бюро не столько потому, что окончил Оксфорд, сколько благодаря своим связям. Его бывшие университетские друзья, а вернее, отцы и дядюшки его друзей создали целую серию бастионов во всем Лондоне, в провинции, в Британском содружестве и в колониях. Под их контроль попали все должности

коммерческих учреждений (ну, исключая, конечно, самые высокие) и все работники этой области (начиная с конторы какого-нибудь Джона О'Гроутса в Ирландии и кончая последним служащим в Кейптауне).

Возможно, соглашалась она, в этом есть некоторая доля преувеличения, но факт оставался фактом: Джереми звали на очень ответственные должности в Нигерию, Гонконг, Тринидад. И наконец, Джонатан Сметер из фирмы «Сант-Эдмунд Холл энд Боксинг-Болл» пригласил Джереми работать в контору его дядюшки в Йоханнесбурге.

В письмах Джонатана из Южной Африки было много жалоб на бездарных подчиненных. Он писал, что голландские поселенцы — буры правят страной сверху, а местное население держится нахально, и для упорядочения положения в стране совершенно необходимо вмешательство английских акционерных фирм. А если говорить конкретно, писал Джонатан, то не мог ли Джереми рекомендовать ему какую-нибудь девушку-англичанку для работы секретаршей у него в конторе? Фирма согласна оплатить ей билет на самолет и выдать половину месячной зарплаты — она ее потом отработает (всегда лучше заранее и поделовому обговорить детали). Фирма гарантирует, что она будет зарабатывать в Южной Африке намного больше, чем в любой конторе в Лондоне, а стоимость жизни здесь ниже...

Хильда решила, что Марта несомненно подойдет для такой работы. А почему бы нет? Теперь, когда Хильда собиралась выйти замуж, она чувствовала себя обязанной как-то помочь своей подруге встать на ноги, пока к ней не привалит настоящая удача. Такое несчастье! Марту увлекли и обманули, она очень одинока, у нее нет семьи, которая могла бы ее поддержать советом, нет денег. Ей необходимо сменить обстановку. И вообще ужасно, что она всегда так подавленна. Такое настроение никогда еще никому не помогало в жизни. В одну из пятниц, когда они сидели вечером в индийском ресторане «Раджа», где обычно встречались пообедать и поболтать, она с жаром изложила Марте свой план:

— Ты сейчас выбита из колеи, и если ты на меня не рассердишься, дорогая Марта, то я скажу тебе, что единственное, чего тебе сейчас не хватает,— это

солнца. Прожить всю жизнь в Англии просто тошно. Поезжай-ка куда-нибудь на юг.

Хильда на минуту прервала свои рассуждения, улыбнулась подошедшему официанту-индийцу и попросила принести ей еще стакан воды, чтобы загасить пожар, разгоревшийся у нее в горле от куриного плова, слишком уж переперченного. После этого, не обращая внимания на недоуменный взгляд Марты, она приступила к описанию заманчивого предложения Джонатана Сметера.

Целых шесть недель Марта обдумывала, взвешивала все за и против, тщательно анализировала. Сможет ли она уехать за шесть тысяч миль от дома туда, где нет ни одной знакомой души? Как встретят ее местные жители, белые поселенцы? А если враждебно? Не будут ли ей в тягость незнакомые обычаи? Но потом она ясно представила себе солнце и небо, бескрайние просторы, где все спокойно, где нет суматохи, и все решилось само собой. Да, на ее решение повлияла лондонская суматоха. Только теперь, когда ей предложили уехать, она поняла, как сильно ненавидит Лондон и его уличное движение, эту гигантскую пресыщенную амебу, расползающуюся во всех направлениях, вплоть до самых отдаленных закоулков этого гигантского спрута, который пожирает ум, парализует волю, истачивает нервы, спутывает всех в один клубок, давит на сердце.

И вот, закончив все приготовления, попрощавшись с отцом и посетив могилу матери на деревенском кладбище, заросшем флоксами и вьющимися розами, она забралась в брюхо битком набитой реактивной «Кометы» и улетела в надежде возродиться в Йоханнесбурге.

Джонатан Сметер и его дядюшка оказались весьма предусмотрительными хозяевами. Они подыскали для Марты квартиру, полную воздуха и солнца, на верхнем этаже современного дома. Первое впечатление от квартиры было такое, будто она вся сделана из стекла. Дом стоял на возвышенности Хиллброу, откуда открывался очаровательный вид на весь город, на отдаленные горы и на само небо. Шутка сказать: ее квартира была на высоте шести тысяч футов над уровнем моря, а сам город — пяти тысяч восьмисот футов.

— Совсем рядом с раем небесным,— сказала Марта Джонатану.

Они рассмеялись.

Солнце, солнце! Облачные дни предвещали сильную летнюю грозу, но потом снова было ясно, тихо и жарко. Но она никогда не испытывала неудобств от зноя и духоты. Высота, на которой была расположена ее квартира, предохраняла от этого. Она не помнила, чтобы раньше когда-нибудь была такой счастливой, как на следующий день после приезда в Йоханнесбург. В этот день вместе с женой Джонатана она пошла в магазин и купила себе купальники, чудесные летние платья, соломенную шляпу и босоножки.

После работы и в свободные дни Джонатан возил ее в дом своего дядюшки. Там в саду был плавательный бассейн, окруженный зеленым газоном. На клумбах цвели георгины. Вечерами воздух был наполнен ароматом мимозы, жимолости и магнолии. Прохлада нежно ласкала ее горящие щеки и обнаженные руки.

В один из субботних дней они устроили настоящий пир в саду, черные слуги в светлых одеждах и белоснежных перчатках обносили их всевозможными яствами: домашней колбасой, маисовым хлебом, кейптассенбергским вином. Потом она плавала в бассейне. Было уже поздно, луна раскалывалась, и кусочки ее плескались вместе с ней в воде.

Да, думала она, жизнь, черт возьми, снова расправляет крылья.

Ее новые сослуживицы смотрели на нее как на какую-то диковинку. Ее акцент, голос, манеры, бледная кожа, которая от солнца стала до неловкости красной,— все выдавало в ней англичанку, вызывало интерес. Ей нравилась эта внезапная, хоть и не столь громкая популярность. Ей было приятно сознавать себя какой-то необычной, из ряда вон выходящей, и она сопоставляла это с собственным невысоким мнением о своей персоне.

Наступила зима. Но солнце, теперь уже медно-золотое, по-прежнему заливало своими лучами ее квартиру. Почти пять месяцев — с мая по сентябрь — на небе не было ни облачка, лишь вместо ярко-голубо-

го оно теперь приняло зеленоватый цвет морской воды. Солнце висело низко на севере, оно больше не палило, подули ветры, ночью стало прохладно. Уверившись, что Марта уже довольно прочно обосновалась, Джонатан Сметер предоставил ее самой себе. Молодые люди, которых она встречала в бассейне дяди Джонатана, тоже перестали заезжать к ней, кончились приглашения покататься на машине или принять участие в пикнике. Теперь Марта снова часто и подолгу рассматривала свое лицо в зеркале. Ей было уже двадцать семь.

Иногда мелькала мысль: а где же здесь, собственно, Африка? Из окна спальни, выходившего на юг, она видела небоскребы, принадлежавшие владельцам шахт и коммерческих предприятий. Строгие громады из стекла и стали с плоскими крышами тянулись к небу, будто указывая, где нужно искать ответ. За ними сквозь клубы дыма просматривались бетонные корпуса заводов, какие-то треугольные конструкции в районе копей, груды желтой руды наподобие пирамид, что придавало им сходство с древними памятниками Мексики или Египта. Все это олицетворяло собой новую жизнь, творение рук человеческих. Единственное, что, пожалуй, нарушало однообразие пейзажа, были посадки строевого леса и перегороженные дамбами озера. Там промывали золотую руду, оставляя горы отработанного песка, реки служили только промышленным целям. А на север тянулись утопающие в садах поместья белых, красуясь на теле дикого, поросшего кустарником вельда, как куски пересаженной кожи. Картину завершали окаймленные пурпуром горы Магализберга, милях в тридцати от города.

Она старалась не пропускать редкие фортепьянные вечера, хотя потом каждый раз чувствовала абсолютную неуместность музыки обожаемых ею композиторов здесь, в этом центре индустриального оазиса, окруженного Африкой.

Она никак не могла совместить воедино мазурки Шопена и легкие, изящные миниатюры Дебюсси с бескрайними африканскими просторами, реками с загадочными названиями: Лимпопо, Замбези, Конго, со львами и крокодилами и с рослыми чернокожими людьми, бьющими в барабаны.

Курьером у них в конторе работал двадцатипятилетний африканец. Никто из служащих фирмы не мог бы назвать его имени. Все звали его просто «бой» или «туземец». Его настоящее имя, Амос, значилось только в пропуске, выданном ему департаментом по делам управления и развития банту. Правда, это был весьма ценный и необходимый документ, сам мистер Сметер-старший подписывал его раз в месяц, хотя никогда не интересовался его обладателем.

Марта обратила внимание на африканца потому, что он явно пристрастился к чтению. Он читал во время обеденного перерыва в маленькой комнатке, позади конторы, где обычно готовили чай и размножали деловые бумаги на копировальной машине.

Марту поразило, что у служащего африканца не было даже своего определенного места. Он или стоял возле стола справок, приклеивая марки к конвертам и сортируя почту, или мыл грязные чашки, или следил за работой копировальной машины.

Однажды в обеденный перерыв Марта пригласила его посидеть за столом мисс Гроблер. В конторе не было ни души, и она не видела причин, почему бы кто-либо мог протестовать. Улыбнувшись, Амос поблагодарил ее, но сесть отказался, пробормотав на языке банту какие-то непонятные слова.

Через два дня она увидела Амоса сидевшим на обочине тротуара у итальянского кафе. Она обычно заходила сюда днем перекусить и выпить чашечку кофе, приготовляемого в специальной кофеварке на пару. В руках у Амоса, как всегда, была книжка. Она разглядела даже крупные черные буквы на бумажной обложке: «Большие ожидания». Другие африканцы играли в шашки, сидя прямо на тротуаре и поджав под себя ноги, и ели хлеб, запивая его пепси-колой. Она вдруг ясно поняла, что им в их обеденный перерыв просто некуда деться — на всех дверях ресторанов, клубов и даже на скамейках в парках висели таблички: «Только для европейцев». Внутри у нее вдруг что-то болезненно сжалось и засосало. Она бы не могла сказать, если б ее спросили, что это было такое — это незнакомое раздражающее чувство.

В тот день она все же набралась храбрости и спросила у Джонатана Сметера, почему у Амоса в

конторе нет своего стола. Вообще-то говоря, сказала она, немного краснея от смущения, ведь и его работа, пусть даже самая примитивная, является частью повседневных дел конторы, которые выполняют и она, и мисс Гроблер, и мисс Макензи.

Хорошо поставленным, натренированным в Оксфорде голосом Джонатан заговорил с ней так, как разговаривал бы с ребенком, которому вдруг взбрело в голову обедать в ванной, а мыться в гостиной.

— Э... видите ли... вряд ли это будет удобно в данной ситуации, не так ли? Нет, я, конечно, целиком и полностью на вашей стороне, но равенство — это одно, а условия жизни — другое. Вам ведь хорошо известно, как к этому отнеслись бы мисс Гроблер и мисс Макензи.

Он откашлялся, закурил сигарету и вдруг пригласил ее в пятницу вместе с ним и его женой в кино «Эмпайр». Там будет восхитительный фильм с убийствами. Однако, заметив, что Марта не удовлетворилась этим, он снова возвратился к неприятной теме.

— Дорогая моя Марта, разрешите заверить вас, что я и мой дядюшка, мы вовсе не против. Он, конечно, мог бы иметь свой стол в конторе, мы, со своей стороны, сделали бы для этого все, но...

Она сразу поняла смысл этой последней фразы, не оконченной, но заключавшей в себе все.

Она не стала больше задавать вопросов, вернулась на свое место и принялась печатать на машинке. Как это плохо, думала она, когда вошедшие в привычку нормы и — главное — раболепие перед мнением других рождают в людях покорность и душевную слабость.

Она все время чувствовала, что ее терзает какое-то непонятное ей самой беспокойство. В Англии, как ей казалось, все одинаково терпимо относились к расовым проблемам. Там можно было высказать и свое, отличное от других мнение, не навлекая на себя злобного раздражения со стороны общества, хотя у некоторых представителей этого общества цивилизованность была лишь тонкой оболочкой и частенько испарялась даже под лучами холодного лондонского солнца.

Прошло несколько дней, и Амос подошел к ней с просьбой объяснить ему трудное английское идио-

матическое выражение. Марта как могла объяснила. Ее поразила его способность все схватывать на лету. Ведь он, как она знала, еще в пятнадцать лет расстался со школой из-за того, что родителям его было не под силу платить за обучение. Постепенно у нее вошло в привычку заходить в маленькую комнату за второй чашкой чая и подолгу беседовать с Амосом. Беседы с ним оказались куда более интересными, чем разговоры с мисс Гроблер и мисс Макензи, сводившиеся, как правило, к обсуждению фасонов платьев, свиданиям, вечеринкам и новым фильмам. С ним же она ощущала какое-то духовное родство. К своему удивлению, Марта почувствовала, что она начинает смотреть на мир другими глазами, глазами туземца.

Рассуждая об Англии времен Диккенса, она обнаружила в себе способность рассказывать, о которой раньше не подозревала. Англия! Как же ясно и реально представлялась она ей отсюда, с расстояния шести тысяч миль, и насколько живописнее и резче очерченной становилась эта страна в воображении конторского клерка-африканца.

— Вам нужно тщательно проработать заочный курс, и я вам в этом помогу,— сказала вдруг Марта тоном безоговорочного приказа.

Он несколько растерялся от такой настойчивости. Это было неожиданно для него. Но Марта знала, что если он станет упорно заниматься, то за год сумеет сдать экзамены за среднюю школу. А потом он поедет в Англию, где его ждет свобода от ежедневных унижений, где ему представится возможность продолжать учебу, где для него откроется новый мир. Да, она покажет ему Англию!

Она старалась убедить его, что с ее стороны это никакая не благотворительность. Нет. Она просто хочет помочь ему ради себя самой. Она вглядывалась в его лицо и думала: неужели это бесстрастное выражение означает подозрительность? И тем не менее отступать было уже нельзя.

Она предложила, чтобы они встречались через день после работы. Он мог бы приводить с собой и других своих соотечественников, которые тоже хотят учиться. Он запротестовал. Им ведь, собственно, негде встречаться. Он живет в небольшом городке Орландо, в десяти милях от Йоханнесбурга, европейцам

запрещено появляться там вечером без специального пропуска, да и просто небезопасно. А о том, чтобы там оказалась вечером белая женщина, нечего даже и думать.

Она немного поколебалась и очень спокойно сказала:

— Ну что ж, тогда остается один выход. Вы будете приходить ко мне домой.

Она почувствовала гордость оттого, что опять употребила повелительную форму. Первый раз в жизни, если ей не изменила память, она указывала кому-то, как он должен поступать.

Амос, казалось, был в нерешительности. Через два дня он согласился. Сказав «да», он посмотрел ей прямо в глаза. Потом улыбнулся, как мальчик в предвкушении какого-то развлечения. От радости ей хотелось сжать его в объятиях прямо в этой маленькой комнатке. Но она продолжала стоять чинно, прислушиваясь к ритмичному гулу копировальной машины.

В пять часов вечера они вместе вышли из конторы, провожаемые любопытными взглядами мисс Гроблер и мисс Макензи. В ожидании лифта она пристально разглядывала его. Он не был чересчур черным, кожа его отливала цветом спелого каштана и отражала флюоресцентный свет коридора. Она взглянула на свои руки, веснушки на них стали менее заметны. Нервным движением она потерла запястья. Сквозь белизну просвечивали голубоватые вены. Она думала о таинстве его черного тела, потом заставила себя прекратить думать об этом.

По людной улице они дошли до трамвайной остановки. Он ей что-то говорил, но она не улавливала смысла слов, целиком поглощенная хмурыми взглядами прохожих. А он повторил, что ему придется пройти пешком до последней остановки. Там, у Маркет-стрит, проходит трамвай для «неевропейцев». Он сядет в него. Она резко ответила, что подождет его на углу Котс-стрит и Твист-стрит, в том месте, где трамвай, поднявшись в гору, сворачивает к набережной и идет к обсерватории. Они расстались.

Она первой приехала к условленному месту. Прошло минут двадцать, она пропустила уже шесть трамваев для белых. Лишь после этого подошел первый

трамвай для неевропейцев. Амос спрыгнул с подножки и подбежал к ней, застенчиво улыбаясь.

— Здесь не очень-то хорошо ходят трамваи,— стал оправдываться он.

По дороге домой она зашла в магазин купить что-нибудь к ужину. Амос ждал ее на улице. Наконец они дошли до Сити-хайтс. Здесь было два лифта. Она резко втолкнула его в лифт для европейцев, и они начали подниматься. Она улыбнулась ему с облегчением. Про себя он благодарил бога, что в лифте не оказалось других белых. Он думал об Англии, о Диккенсе, о Шекспире, о Китсе и Шелли, об этой странной женщине. Математика давалась ему легко, а вот с английским он почему-то никак не мог справиться, хотя со временем, он был уверен, сумеет одолеть и английский. Но она об этом пока ничего не знает и ведет себя крайне опрометчиво. А это белое тело так полно загадок и совсем рядом, лишь протяни руки... Но она так великодушна и поэтому легко ранима.

Нет, он не воспользуется ее доверием, не употребит его во вред ей. Он только хочет слышать ее голос, необыкновенные слова, которые, кажется, так и бьют ключом из ее души. О, она знает все на свете, по крайней мере, все, что ему еще предстоит узнать.

Месяц спустя, когда они заканчивали двенадцатый урок, в дверь ее квартиры вдруг резко постучали. Марта удивилась. В десять часов вечера! Еще никто не заходил к ней так поздно. Она открыла дверь и увидела большого, сильного человека в серой фетровой шляпе, в спортивном твидовом пиджаке и мешковатых серых брюках. На крупном круглом лице блестели голубые, широко расставленные глаза. От него резко несло бренди.

— Вы Марта Харт?— спросил он.

Она утвердительно кивнула.

— Я — полицейский сержант.— Он протянул удостоверение в кожаной обложке.— Мне хотелось бы осмотреть вашу квартиру и поговорить с вами.

Он взглянул поверх ее плеча. Из коридора не было видно гостиной. Он нахмурился.

— Что вам нужно?— спросила она.

От страха во рту у нее появился какой-то горький

привкус. По спине забегали мурашки. В горле вдруг пересохло.

— Пока вам нечего беспокоиться, леди. Давайте-ка войдем в квартиру.

Отодвинув ее в сторону, он бесцеремонно двинулся вперед.

Амос тихо сидел на диване, покрытом расшитым по мексиканским мотивам ковриком. Полицейский не выразил никакого удивления. Только спросил:

— Пропуск?

Амос протянул коричневую книжечку и уставился на стену.

— А где специальный пропуск?— спросил полицейский, перелистав книжечку.

— Нет,— ответил Амос.

— Так. Чтобы иметь право находиться в районе белых после комендантского часа, нужен специальный пропуск. Так.

Он крикнул что-то, повернувшись к двери. Появился констебль-африканец, одетый в форму цвета хаки и в тропическом шлеме.

— Что вы делаете?.. Куда вы его тащите?.. Вы не смеете...

Ей казалось, что все это происходит во сне.

— Арестован за нарушение правил о пребывании туземцев в городских районах и закона о пропусках...

— Но он мой друг. Он пришел сюда заниматься. Вы не имеете права...

Голос ее дрожал, она двинулась следом за Амосом к двери.

— Останьтесь здесь, леди. Я должен с вами поговорить.

Не в силах ничем помочь, она смотрела, как уводят Амоса. В дверях он обернулся, и они взглянули друг другу в глаза. Ей хотелось молить его о прощении, как будто вся ответственность за случившееся, за обманутые ожидания и за это унижение лежала на ней. Ей было стыдно. Ведь он мог подумать, что это вторжение было просто платой за его невнимание к ней, что все это она сама так ловко подстроила, а может, и привела его к себе специально, чтобы передать в руки полиции, ведь он черный, а она? Она не то чтобы любила его, нет, он ей даже не нравился. Просто она завела с ним непристойную интригу ради за-

бавы, ради любопытства, ради желания узнать, а каковы они, черные.

Дверь за ними закрылась.

Полицейский втянул в себя воздух, принюхиваясь, и стал ходить по комнате, осматривая вещи. На белом, выложенном кафельной плиткой камине он заметил два кружка от рюмок и пролитого светло-коричневого вина. Он потрогал их и поднес палец к носу. Затем повернулся к ней, тяжело и печально вздохнул. Этот вздох означал, что он сознает всю тяжесть ответственности, которую ему приходится нести по роду своей службы. Он приподнял ковер, заглянул под диван и вытащил оттуда две рюмки.

— Херес?— сказал он, понюхав остатки вина.

Она ничего не ответила.

— Значит, вы поили его спиртными напитками?

— Какое вы имеете право...— Наконец-то гнев взял верх над сковывавшим ее страхом.— Как вы смеете являться в квартиру подобным образом? Вы... где ваш начальник?

— Начальник здесь ни к чему, леди. Существует специальное разъяснение к статьям уголовного кодекса «О подозрении в совершенном или совершаемом нарушении закона и употреблении спиртных напитков». Вы ведь англичанка? И никто вам не сказал, как все это называется? Приезжают вот всякие, нарушают законы, создают беспорядки. А ведь он туземец. Он кафр.

Последнее слово он произнес с особым ударением, чтобы еще точнее выразить его смысл. Он замолчал и посмотрел на нее холодным взглядом.

— Странное место для хранения рюмок. Под кроватью! А что вы еще храните под вашей кроватью?

— Замолчите!

— Ну ладно, леди. Пройдемте лучше со мной. Вы арестованы за нарушение закона. За спаивание туземцев.

Колени у нее подкосились, руки задрожали, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Страх, гнев, стыд и горькое чувство, что над ней так грубо надругались, слились воедино. Она стала протестовать, что-то бессвязно кричала, топала ногами. Она готова была вцепиться в его толстую красную шею, сбросить этого полицейского с лестницы, лишь бы отделаться

от него, стряхнуть с себя чудовищный гнет, вызванный его присутствием, силой закона самого государства, представителем которого он был. Он подождал, пока она успокоится, и, равнодушно сказав, что из полицейского участка она сможет позвонить адвокату, повел ее к лифту. Возле дома стоял американский «форд» с закрытым кузовом. Амос сидел на заднем сиденье с констеблем-африканцем. Марта с белым полицейским села впереди.

Они предстали перед судом, разбиравшим их дела порознь. Амос был приговорен к штрафу в размере двух фунтов стерлингов или десяти дням тюремного заключения за нарушение правил о пропусках. Суд не вызывал свидетелей, ограничившись показаниями полицейского. Амос признал себя виновным. Так было быстрее и дешевле. Случай был весьма обычный. Сотни подобных дел слушались в судах еженедельно. И все признавали себя виновными.

Дело Марты оказалось более затяжным, потому что здесь уже были и дознания, и перекрестные допросы, и показания свидетелей. Управляющая домом, где жила Марта, начала свои показания с того, что за прошедший месяц она много раз видела, как некий туземец заходил в квартиру обвиняемой. Она, конечно, не могла одобрить подобных визитов. Ведь это создает плохую репутацию всему дому! Поэтому она сообщила об этом доверенному лицу, тот высказал свое мнение владельцу дома, а последний, в свою очередь, заявил в полицию. В ночь на двадцать пятое в квартиру был послан полицейский сержант Дж. ван Тондер.

Давая показания, ван Тондер рассказал суду, что застал этих двух наедине (на переполненной галерее послышался шум) и обнаружил под кроватью две рюмки из-под хереса.

— Откуда вы узнали, что там был херес?— задал вопрос защитник.

— Это был запах именно хереса.

— Видели ли вы, как они пили?

— Нет.

— Не могло ли быть так, что обвиняемая пила с кем-нибудь другим до прихода туземца.

— Могло.

— Какие же тогда у полиции основания считать, что имело место нарушение закона?

— Кому нечего бояться, тот не прячет рюмки,— заявил полицейский.

— Однако,— возразил защитник,— люди иногда совершают необдуманные поступки в момент паники, от страха, что их действия могут быть неправильно истолкованы, что, впрочем, и сделала полиция.

— Нет,— заявил сержант,— никакого страха в тот момент обвиняемая не испытывала, она сама признала в полицейском участке, что даже не подозревала о существовании закона, запрещающего давать туземцам спиртные напитки.

— А как вел себя туземец? Он-то наверняка знал о законе и поэтому мог быть в состоянии паники.

На этот вопрос полицейский не дал ответа, и защитник сел на свое место, торжествуя.

Во время допроса Марта показала, что является подданной Великобритании. В Южной Африке живет всего восемь месяцев. Она признала, запинаясь (и боясь утверждать это), что была недостаточно осведомлена об общественных порядках и законах этой страны. Она давала уроки английского языка этому африканцу.

Затем начался перекрестный допрос. Обвинитель спросил Марту:

— Заявляла ли обвиняемая сержанту полиции ван Тондеру по пути в полицейский участок, что считает этот закон чудовищным и рада преступить его?

Защитник вскочил на ноги. Но суд отказался выслушать его возражения. Зал напряг слух и насторожился.

Марта размышляла. Она вспоминала, будто сказала полицейскому сержанту, что «была бы рада нарушить», а не так категорично — «рада нарушить закон». В частной беседе защитник советовал придерживаться именно такой формы ответа, если об этом встанет вопрос.

Она оглянулась, увидела всех этих мужчин, вперивших в нее свой взор, и не могла вспомнить, как именно сказала тогда ван Тондеру. Ей казалось абсурдным, что они так упорно ждут, какое наклонение — изъявительное или сослагательное — она употребит. Как будто теперь это имело хоть какое-то

значение. Как будто для кого-нибудь это было важно. Через голову судьи она посмотрела в окно. Яркие лучи солнца пробивались сквозь неплотно закрытую штору, седые волосы судьи были чуть тронуты слабым золотым ореолом.

— Да, я сказала, что рада нарушить закон.

Удовлетворенный ее ответом, прокурор сел. Защитник втихомолку выругался.

Объявили перерыв. Затем суд возвратился в зал для вынесения приговора. Марту признали виновной и подвергли штрафу в размере двадцати фунтов стерлингов или же месячному тюремному заключению с отстранением от работы на год. Объясняя мотивы приговора, судья заявил, что суд принял во внимание незапятнанную репутацию подсудимой, ее добровольное признание и тот факт, что она лишь недавно приехала в страну. Одновременно он предупредил, что суд обращает серьезное внимание на подобные нарушения закона, особенно теперь, когда расовые смешения вызывают всевозможные конфликты, а страна страдает от агитации политических смутьянов, многие из которых иностранцы. После того как были высказаны все эти глубокомысленные замечания, суд удалился, а репортеры бросились по своим редакциям, чтобы успеть поместить отчет о заседании суда в вечерних выпусках газет.

Амос стоял в коридоре. Она не видела его три дня, с того самого вечера, когда их арестовали.

Губы его были разбиты, они распухли, на лбу красовался огромный синяк.

— Значит, они вас били,— сказала Марта.

— Да,— ответил он.— Я хотел было заявить об этом на суде, но передумал.

Она была поражена, ошеломлена, но у нее еще хватило сил задать новый вопрос:

— Но почему же?

Он опустил глаза.

— Я побоялся.

Она хотела закричать, но что-то удерживало ее. Ей хотелось обнять его худые острые плечи, целовать его разбитые губы, заживить его раны. Но, увы, это тоже ей было не дано.

— Извините меня,— сказала она еле слышно.

— Полно, это не ваша вина, прощайте.

И ушел.

Он сказал это решительно и твердо. И она поняла, что он ни за что больше не пожелает встретиться с ней. Ей хотелось крикнуть ему, что он сдался, сдался... Он тоже обманул, тоже предал ее.

За воротами суда светило солнце, оно швыряло свои холодные золотые лучи прямо ей в лицо. Ей стало нестерпимо больно, и она заплакала. Она плакала от поражения и одиночества, от предательства и несправедливости...

В Лондоне она чувствовала себя совсем одинокой. В семь часов вечера она раздвинула цветные занавески и распахнула окно. В сумерках, серых, словно кладбищенские надгробия, она видела, как при выдохе у нее изо рта выплывают белые облачка.

Ей все теперь было безразлично.

ЯН СЕБАСТЬЯН РАБИ

Потомок белых переселенцев в ЮАР. Прозаик и публицист. Родился в 1920 году.

Был членом прогрессивной группы шестидесяти, сыгравшей известную роль в развитии литературы на языке буров — африкаанс. Пишет в основном на африкаанс. Автор нескольких исторических романов, сборников рассказов «21» (1956), «Чердак и задворки» (1957), публицист. Пользуются популярностью его романы «Мы — идол» (1958), «Человек в одиночестве» (1963), «Остров у Африки» (1964). В настоящее время живет в Кейптауне.

ЦВЕТОК ИЗ КАМНЯ

В том месте, где четыре пыльные дороги сливались в одну, стоял указатель ближайших крупных населенных пунктов: Кетмансхоп... Карас... Спрингбок... Пофаддер...

«127... 81... 195... 174 мили»,— прочитал ожидавший

попутной машины человек с тяжелым рюкзаком за плечами. Немного постояв, он подкинул повыше свою ношу и зашагал дальше, вдоль колеи, оставленной колесами машин на красной песчаной земле. Человек держал путь на юг по негостеприимной пустыне к темно-красным берегам реки Оранжевой, первой непересыхающей летом реки на всем его пятисотмильном пути.

Он вошел в селение, где дома, как бы размытые дрожащим маревом, беспорядочно сгрудились у подножия покрытого колючим кустарником холма,— мимо телеграфных столбов, ветряных мельниц и нескольких деревьев, казавшихся случайными на этой совершенно голой земле. Деревушка выглядела такой же временной, как ненадолго обретающие жизнь горькие колючие растения пустыни, к которым устремляются стада животных, едва на горизонте сверкнет зарница — предвестница дождя. Обогнув две дюжины домиков, дорога исчезала в красном песке, среди отдельных кустиков колючей сухой травы. В тени эвкалипта на краю деревни человек сбросил с натруженных плеч рюкзак и решил дождаться попутной машины с севера. Тишину жаркого полдня нарушал лишь пронзительный скрип ветряков, качавших воду.

Человек нетерпеливо поглядывал на дорогу, но желанное облачко пыли от едущей машины все не появлялось. Он присел на рюкзак, закурил, снова встал, прошелся взад и вперед, не отходя, однако, далеко от перекрестка. Путешествуя на попутных машинах, нужно всегда быть начеку. Неписаный закон требует, чтобы человек безропотно стоял, словно улитка, со своим домом на спине, в любой момент готовый к появлению машины. Это смягчает сердца коммивояжеров, спешащих от Виндхука к Кейптауну. Но за последние два часа мимо прошло только три небольших фургона. Водитель одного из них, казалось, готов был подобрать одинокого путника, не будь в кузове пассажира-негра. Фермеру, очевидно, не хотелось унизить достоинство белого человека соседством с чернокожим. «Его ферма,— подумал путешественник,— возможно, недалеко, и я все равно застрял бы на пустынной проселочной дороге, так и не добравшись до Оранжевой. Уж лучше еще немного подождать».

К полудню человек уже хорошо изучил окрестности: одна лавка, какое-то подобие гостиницы, станция из рифленого железа, новый гараж и крошечная почтовая контора. Около одиннадцати из дома под железной крышей на пыльную дорогу высыпали дети, и он догадался, что в поселке есть и школа, даже две. Вторую школу он обнаружил за железнодорожным полотном, там, где под раскаленным добела небом рассыпалось несколько маленьких домиков. Темнокожие люди, проходя мимо, приветствовали его на африкаанс, но меж собой они болтали на своем щелкающем языке нама, словно хлестали друг друга маленькими кнутиками. Этот язык коренных готтентотов можно услышать теперь разве что в глубинных уголках юга Африки.

Постоянно путешествуя на попутных машинах и соприкасаясь со множеством людей, он научился разбираться в выражении человеческих лиц. Здесь на лицах прохожих он читал одно лишь удивление: ведь люди в этих краях жили слишком далеко друг от друга и почти не видели чужаков. А может, обитателям этой глухомани просто не доводилось видеть белого без машины?

В половине первого учеников школы для белых отпустили на ленч. Дети нарочно шли мимо него медленно-медленно, чтобы получше разглядеть незнакомца, а какой-то мальчик лет одиннадцати — двенадцати начал кружить позади него в запыленном саду с ветряной мельницей. Он как раз находился у цементного резервуара для воды рядом с оградой, когда на веранде появилась крупная женщина и властно крикнула:

— Дэви, немедленно за стол!

«Вряд ли в этакое пекло удастся поймать попутку»,— подумал мужчина и тоже решил перекусить. Он развязал рюкзак, достал хлеб, вяленое мясо, нарезанное тонкими ломтиками, и банку консервированных персиков, на которой красовалась этикетка с изображением плодородной долины на Западном мысе. Поев, он встал, чтобы сунуть пустую жестянку под груду камней, что высилась неподалеку. Однако, к его удивлению, это оказалась не просто груда камней, а нечто куда более интересное. В старом полуразрушенном цементном резервуаре для воды дети

устроили игрушечный сад из разноцветных стеклышек, черепков, катушек из-под ниток, камешков, жестянок и обломка крыла ветряной мельницы. В зеленой с отбитым горлышком бутылке красовалась увядшая гвоздика, а из белых и красных гладких камешков был выложен другой, более долговечный цветок.

Кто же «вырастил» с такой любовью этот удивительный сад? Должно быть, темнокожие дети бедняков, чье воображение не было испорчено шикарными магазинными игрушками? Этот сад показался путнику еще более трогательным, когда он увидел, что здесь же дети соорудили в песке и маленький резервуар для поливки.

Путешественник не рискнул надолго оставлять без присмотра свой рюкзак и поспешил назад, под тень эвкалипта. И тут он увидел, как из дома с подносом в руках выходит мальчик. Кофе. Но гостеприимство женщины не ограничилось одним только кофе — на подносе стояли еще сахарница и молочник. Очевидно, женщина не сочла его за бродягу. Это не могло не вызвать в нем чувства благодарности, смешанного с долей недоумения. Мальчик приблизился к нему и робко протянул поднос.

— Это мне?

— Да, мама велела отнести это вам.

— Большое спасибо, но мне, право, неудобно. Маме не стоило так беспокоиться...

Мальчик не уходил, а все так же стоял, протягивая ему поднос, и тогда он добавил в кофе молока и положил сахару.

— Передай маме мою благодарность.

Мальчик кивнул головой, ковырнул босыми пальцами ноги горячий песок и посмотрел в сторону, но затем снова перевел взгляд на мужчину. Робость сохранялась лишь в позе, а из-под прядей жестких волос напряженно смотрели чистые и живые глаза. Любопытные? Нет, скорее выжидающие и почти беспристрастные, словно ожившие бусинки. «Похоже, он ждет, что я начну пускать дым из ушей либо выкину еще какой-нибудь трюк в этом же роде»,— весело подумал путник и спросил:

— Как тебя зовут?

Мальчик понимал, что вопрос этот задан просто от нечего делать, но ответил с достоинством:

— Дэви.

— А меня зовут Леон.

И, чувствуя, что сейчас самое время, Леон рассказал мальчику, как проходит его путешествие из Уолвис-Бей в Кейптаун, где он живет, что добирается он на попутных машинах, так как хочет своими глазами посмотреть на Бушменленд и Намакваленд, а теперь он задумал добраться до реки Оранжевой, но туда не идут ни поезда, ни автобусы. Ставя на поднос пустую чашку, Леон чувствовал себя учеником, только что сдавшим экзамен. Дэви отнес посуду домой и сразу же вернулся, но на сей раз не стал подходить близко, а остался стоять у ограды. Он нисколько не боялся незнакомца, просто всем своим видом старался дать понять, что не навязывается и не хочет мешать.

Леон присел на корточки, потому что, не возвышаясь над ребенком, было удобнее разговаривать.

— В каком классе ты учишься, Дэви?

— В третьем, дядя.

Леону пришлось задать мальчику еще немного вопросов, прежде чем Дэви решился наконец взять инициативу в свои руки.

— Здесь проходит мало машин,— сказал он.— Только иногда их бывает побольше.

Леон рассмеялся.

— Да, я это уже понял. Просто терпенье может лопнуть. Если так и не дождусь машины до вечера, придется сесть на ночной поезд до Апингтона.

Он оглядел бескрайний простор, прокаленный и пустынный, как небо, и, чтобы прервать молчание, снова спросил:

— Дэви, а ты когда-нибудь бывал в Кейптауне?

— Нет, дяденька, я был только в Кетмансхопе.

Дэви из вежливости больше ничего не сказал, и опять Леон ощутил, что ребенок полон ожидания. Может быть, он хочет услышать о жизни за пределами его родной деревушки? Часто ли ему выпадает случай поговорить с незнакомым человеком?..

«Как отнесется к этому его мать?» — подумал Леон, увидев появившуюся на веранде женщину. Но ее беспокойство — если она действительно его испытывала — не пошло дальше того, чтобы дать черному как уголь работнику какие-то указания насчет сада.

Она говорила отрывисто и резко. Леон, узнав, что отец маленького Дэви владелец местной лавки, спросил, указывая на африканца:

— А как его зовут?

Мальчик оглянулся.

— А, это наш кафр,— вежливо, но словно речь шла о собаке, ответил он.

Леон невольно опустил глаза и, подняв с земли палку, принялся неловко что-то чертить на песке.

— У него что, нет имени?— помолчав, спросил он.

— Есть, дядя. Мы зовем его Пайет. Кафр Пайет.

Леон выронил палку, но тут же поднял опять. В его голосе слышалось волнение, когда он спрашивал об этом человеке из племени авамбо, жившем в тростниковой хижине, отдельно даже от цветных.

— А у тебя много друзей?— через минуту снова спросил Леон.

Как раз в это время, стараясь не глядеть в их сторону, дорогу переходили два маленьких темнокожих мальчика. Это их он имел в виду, когда задал свой вопрос.

— О, конечно, дядя. Двадцать мальчиков из нашей школы живут в пансионате и уезжают домой только на праздники.

— С кем же ты играешь, когда они уезжают?

— Тогда я играю с цветными... Мы ходим с рогатками охотиться на ящериц... и мы...

— Дэви, пора в школу, сейчас зазвенит звонок!— раздался вдруг голос матери.

Мальчик поспешил в дом, а Леон так и остался сидеть на корточках. Наконец он поднялся, опираясь на палку, глубоко ушедшую под его тяжестью в красный песок.

Полчаса спустя по дороге прошел еще один грузовик с темнокожими батраками в кузове. Трое белых в кабине оставили без внимания поднятую руку Леона.

Вскоре широким кругом обогнули дом козы, позванивая колокольчиками, за ними — стадо тощих каракульских овец, погоняемых пастухом с двумя собаками. Следом по дороге проследовали какие-то переселенцы в жалкой повозке на резиновом ходу, в которую вместо волов впрягли осликов. Из-под брезентового верха виднелся убогий скарб. Там же

сидела изнуренная женщина с кучей ребятишек. Все они смотрели прямо перед собой, то и дело покрикивая на ослов, едва перебиравших ногами. Шествие замыкал мужчина с тусклыми, ничего не выражающими глазами — он ехал в скрипучем фургоне, доверху нагруженном бочками: в них, наверное, хранилась вода для несчастных животных. Измученная жарой и жаждой процессия медленно проплыла мимо Леона к югу и вскоре скрылась в клубах пыли.

Леон подавил в себе наплывшие было воспоминания о сотнях подобных переселенцев с севера, с печальными, истощенными лицами, вынужденных искать пристанище на землях своих предков, которые, по рассказам, не испытывали подобной нужды в воде и поэтому отличались большей уверенностью в себе. Перебираясь с места на место, он много раз слышал от людей жалобы на засуху, но только сейчас воочию убедился, как она выглядит на самом деле.

«Ах, эта бесценная вода,— подумал Леон,— как не хватает ее африканцам... В этих местах отзывчивые люди становятся черствыми, отказывая проезжающим в глотке воды. Ведь им приходится думать прежде всего о себе и собственных животных».

Вода! Он вспомнил коричневые, пенистые, как пиво, горные потоки вблизи своего родного Кейптауна и словно опять перенесся в дни своего детства. Вот он, двенадцатилетний мальчишка, купается со своими сверстниками в глубокой холодной заводи, берега которой заросли тростником. Он снова ощутил, как его захлестывают ярость и возмущение, придавая силу рукам и ногам, как он плывет, чтобы догнать маленького Ханси, и как толкает его, заставляя убраться подальше, вниз по течению...

В тот год, когда Ханси, такой подозрительно смуглый и курчавый, появился в их школе, среди учеников прошел слух, будто он полукровка. Но в воде тела всех ребят казались одинаково бледно-коричневыми.

— Эй ты, ублюдок, тебе здесь не место!— кричал Леон, заталкивая Ханси под воду каждый раз, как он показывался на поверхности. Ему хотелось во что бы то ни стало прогнать Ханси туда, где обычно купались туземные мальчишки, голые и черные, как головастики. Затем, наслаждаясь одобрительными воз-

гласами друзей, Леон хвастался перед ними. И его голос помимо воли звучал решительно и властно.

— Ну и задал же я этой скотине!

Через неделю маленький Ханси исчез из их школы, словно и впрямь утонул.

Вода... Воспоминания захлестнули его, и он как в зеркале увидел исказившееся от обиды и боли лицо Ханси и его горючие слезы, стекавшие по мокрому лицу...

Школьный звонок вернул его к действительности. Возле квадратного здания школы, из которой выбегали дети, он заметил Дэви в кругу товарищей, и они встретились взглядом.

Измученный воспоминаниями, Леон подумал: «Как я могу осуждать его, ведь в его годы я и сам был не лучше».

Попутных машин все не было, и Леон в который уж раз стал нетерпеливо прохаживаться около рюкзака, к которому он был прикован, словно к якорю. Чем скорей покинет он эти места, этот богом забытый островок среди безграничной, голой, красной равнины, тем будет лучше! Ему уже осточертели эти деревья, ненасытно высасывающие из земли солоноватую воду. Но когда его новый знакомый с таким милым и полным ожидания лицом вновь приблизился к нему, Леон опять присел на корточки и не спеша, как и прежде, стал выводить на песке буквы, словно подкрепляя ими свои речи.

Угадав, чего именно ждет от него маленький человек, Леон начал увлеченно и красочно рассказывать о юге, об огромном городе, о море и горах, которые прекраснее любого сада. Он давно не встречал столь внимательного слушателя.

Чтобы еще больше расположить к себе мальчика и вызвать на его серьезном лице улыбку, он вывел на песке большими буквами «Дэви».

— Вот здесь, на этом месте, где сейчас написано твое имя,— сказал он,— с тобой обязательно произойдет что-нибудь приятное.

Леон отвернулся, сделав вид, будто слышит шум приближающейся машины, а когда мальчик вслед за ним тоже повернул голову, Леон быстро вложил в песок монетку. Когда он стал стирать написанное, монетка ярко блеснула на солнце.

— Вот видишь, я же говорил тебе!— воскликнул Леон.— Она твоя!

Дэви поднял денежку. Лицо его осветилось радостью, однако выражение вежливости и серьезности не покинуло его.

«Я обманул его,— подумал Леон, вычерчивая на песке теперь уже свое имя.— Но чего, собственно, я хочу? Видимо, одного — поскорее уехать отсюда».

Рука, чертившая на песке, замерла. Имя было написано. Мальчик молча смотрел на него. Он не спрашивал, почему дядя не копает глубже, чтобы достать еще одну монетку. «Он, конечно же, разгадал мой обман»,— подумал Леон и снова взглянул на дорогу. К ним приближалось облачко пыли. От неожиданности Леон даже не сообразил, что надо встать, и оставался сидеть на корточках. А машина шла по направлению к югу. Это был большой американский автомобиль, пустой, с одним лишь водителем за рулем. Леон ясно различил кейптаунский номер и поймал взгляд, который водитель кинул на него и на рюкзак. Но Леон не вскочил и не поднял руки. Машина промчалась мимо, оставив за собой клубы пыли, медленно оседавшей на жесткую траву и чахлый кустарник.

Пораженный своим поведением, Леон мысленно спросил себя: «Почему я не остановил его?» Недоумевающее лицо мальчика казалось расплывчатым, будто он смотрел на ребенка сквозь далеко отставленную линзу. Леон услышал собственный голос, который не спрашивал, а просто сообщал: «Эта машина идет в Кейптаун». «Почему? Почему?» — продолжал он размышлять, силясь выдавить из себя улыбку.

— Он не остановился,— сказал Леон, недоуменно глядя на мальчика, как будто тот мог дать объяснение происшедшему.

Но Дэви был скуп на слова. И тогда Леон, чтобы скрыть чувство растерянности, снова принялся царапать жесткую, сухую землю. Тонкие бороздки тут же заполнялись красным сыпучим песком.

«Может, мне следует остаться здесь?— промелькнуло в голове у Леона.— Бросить в душу Дэви доброе зерно, растолковать ему, что уважения достоин каждый человек?» Но чего он сможет добиться без проповедей, без обмана, без принудительного навя-

зывания собственных идей? И какое право имеет он, случайный прохожий, нарушать привычный образ жизни других людей? Чтобы отогнать от себя эти мысли, Леон быстро вскочил на ноги. Сощурившись, он взглянул в раскаленное добела небо. Мягкий, чуть золотистый отблеск уже предвещал наступление вечера.

— Только половина четвертого,— сказал Леон,— до темноты еще далеко, а машин, наверно, больше не будет.

Его взгляд упал на игрушечный сад в старом, изъеденном трещинами цементном резервуаре у излучины дороги, и он невольно двинулся к нему. Мальчик последовал за ним.

— Что это такое, Дэви?

— Здесь обычно играют маленькие готтентоты. Это их... игрушки.

— Как красиво!— воскликнул Леон и присел на корточки перед садом, спиной к дороге и своему рюкзаку, которые теперь мало интересовали его.

Сотни следов копыт напоминали о том, что мимо этого удивительного уголка недавно проходили гонимые жаждой овцы переселенцев. Этот маленький сад из осколков камней, кварца и стекла, чудесно отражающий сверкание воды, был сложен темными детскими руками, ловкими и шустрыми, подобно ящерицам на солнце. В центре его красовался большой цветок, выложенный из полудрагоценных камней пустыни: розового кварца, тигрового глаза, лунного камня. Он тоже был искусственным, этот цветок, обманчивый и трогательно нежный.

— Пожалуй, этот сад красивее настоящего,— сказал Леон,— он даже красивее огромного парка в Кейптауне... Он намного лучше, чем дом или машина,— сказал вдруг Леон серьезно и начал рыться в карманах брюк.— Знаешь, Дэви, дети, которые сделали этот цветок, заслуживают, чтобы и с ними на этом месте произошло что-нибудь приятное.

Он что-то бормотал, вытряхивая на ладонь мелочь: несколько трехпенсовиков, шестипенсовики, один шиллинг.

— Дэви, помоги мне спрятать их под этими камнями.

Леон напряженно ждал, пока мальчик возьмет не-

сколько монет и поможет ему закопать их под каменным цветком.

«Даже если человек стремится к чему-то иллюзорному, он все равно не должен отступать»,— подумал Леон с явным облегчением. И тут ему в голову пришла совсем иная мысль.

— Дэви, обещай мне никогда не рассказывать об этом туземным ребятишкам, ладно? Они должны найти монетки сами, случайно, когда опять придут сюда играть, правда?

Белый мальчик молча кивнул, не глядя на Леона.

— А теперь давай разровняем песок и сделаем все, как было прежде.

Каменный цветок снова засиял. Дэви встал, немного отступил назад. Леон тоже поднялся, выпрямился.

— Для них это будет удивительный сюрприз, ведь правда, Дэви?

Мальчик снова молча, очень медленно кивнул, и Леон вдруг увидел, что чистые детские глаза уже больше ни о чем не спрашивают. Затуманенный и удивленный взгляд выражал глубокую задумчивость. «Не толкнул ли я его на дурной поступок? А вдруг он решил взять эти деньги тайком?»— подумал Леон с тревогой.

Они вернулись на прежнее место, к обочине, где лежал его рюкзак. Леон почувствовал во рту горьковатый привкус, ему стало трудно говорить. «Что он думает обо мне?..» Леону показалось, что мальчик неожиданно потерял к нему всякий интерес.

Свет, безмолвие и покой повисли в неподвижном воздухе. Машин не было видно даже на горизонте.

Глаза Дэви наконец перестали блуждать по каменному саду, и он перевел взгляд на свой дом. Тогда Леон решительно закинул рюкзак на спину и сказал:

— Ну, Дэви, становится поздно, а машин как будто не предвидится. Наверное, нам пора прощаться. Пойду-ка я на вечерний поезд. Прощай, Дэви, дружок!

Протянутая рука повисла в воздухе, будто прося прощения.

— Да, до свидания, дядя.

Леон увидел, как робко мальчик побрел домой, словно на него вдруг навалилась огромная, непосиль-

ная ноша. Леон смотрел теперь только вперед. Скорее, скорее покинуть это забытое богом место!..

Да, есть билеты на девятичасовой поезд, сказали ему на полуразвалившейся станции, он может подождать в гостинице или в баре.

Леон прошел в бар, заказал холодного пива. Медленно потягивая освежающий напиток, он думал: «Горе-моралист, решил учить других людей... А чему ты сам научился у Дэви?» К его удивлению, ответ нашелся сам собою: нужно принимать все, как оно есть,— бессилие и обман, неверие и надежду, иначе кружка пива и железнодорожное полотно станут просто средством ухода от проблем реальной жизни.

Он усмехнулся, попросил еще пива, поговорил о том о сем с барменом и каким-то фермером с красными руками и маленькими, словно два голубых кружочка воды в глубоком колодце, глазами, перекинулся несколькими фразами с инженером, рискнувшим приехать с юга на постройку первой плотины в этих засушливых краях.

Леон вынул несколько монет и сложил их на прилавке в виде цветка.

Потом он вдруг резко встал, оставил рюкзак у железнодорожной станции и ринулся обратно мимо домов, одинокого дерева...

Его ноги скользили по камням, утопали в песке, приминали кустики колючей травы, едва заметной в темноте. В далеком ночном небе ярко мерцали хаотически разбросанные звезды. Внутри него кипели любопытство и нетерпение и еще почему-то ярость. Ведь это он, он сам подверг маленького Дэви страшному испытанию. Надо как можно скорее, до прихода поезда, забрать деньги.

Часто и тяжело дыша, он наклонился над каменным садиком в старом резервуаре для воды. Нужно быть внимательным и точно припомнить, куда именно он сунул деньги, и при этом не сломать прекрасный каменный цветок. Двумя пальцами нажал он на песчаную горку, пошарил под остывшими прохладными камнями. Слава богу, деньги на месте, значит, Дэви...

Вдруг он невольно отдернул руку и всем телом подался вперед. Его глаза расширились. От каменного цветка исходило сияние! Осколки стекла и ка-

мешки отливали мягким светом, розовый кварц и тигровый глаз пунцовели, как бы наливаясь кровью. Сияние усиливалось, становилось отчетливей. Суеверный восторг овладел Леоном, он подумал: каменный цветок оживает. Только тут он заметил, что на другом краю резервуара тоже мерцают блики. Взглянув налево, Леон увидел на расстоянии нескольких миль огненный глаз локомотива, освещающий пустынную голую равнину. Поезд шел по направлению к станции и был еще так далеко, что Леон не мог ни слышать его грохот, ни видеть, как разрастаются его огни.

Леон оставил оживший каменный цветок в сияющем серебристом саду, спокойно поднялся и двинулся обратно к станции. Уже отойдя достаточно далеко, он догадался, что чудесный свет исходил не от каменного цветка, а от огней поезда. Однако радостное волнение не покидало его. Теперь все в порядке. Дэви на верном пути. Камни превращаются в цветы, жизнь древнее жестокости.

РИЧАРД РИВ

Романист и новеллист. Родился в 1931 году в Кейптауне, в Шестом квартале для так называемых «цветных», который стал местом действия большинства его произведений. Окончил Кейптаунский университет, преподавал английский и латынь. Его произведения привлекли внимание читателей не только в Южной Африке, но и далеко за ее пределами, в Англии, Америке, Италии, Австрии, Швеции, Финляндии и других странах. Писатель покинул ЮАР в 1962 году без права возвращения на родину. Живет в эмиграции.

В Советском Союзе выходили отдельные рассказы Ричарда Рива («Кафе у дороги», М., Б-ка «Огонек», 1967), роман «Чрезвычайное положение» (М., «Прогресс», 1967) и том избранных произведений «Луна над Шестым кварталом» (М., «Художественная литература», 1970).

10*

ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Убирайся!— прозвучало, как выстрел, на пыльной Мейн-стрит. И опять это слово разорвало тишину мирного воскресного дня. Одиннадцатилетний белый мальчуган изо всех сил сжимал кулаки, готовый наброситься на съежившегося от страха цветного малыша, и злобно вопил: — Voetsak! Убирайся, проклятый готтентот! Да ты знаешь, черт побери, с кем разговариваешь!

Остановившийся возле них путник смотрел на крикуна добродушно, хотя и с легким недоумением. Тот стоял твердо, широко расставив босые, припорошенные пылью ноги. Вокруг них в лучах жаркого ноябрьского солнца лежала сонная деревушка. На веранде наспех сколоченной убогой лавчонки почесывалась огромная дворняга. Вдали, над голубыми холмами, переходившими в ровное выжженное плато, зыбилось марево. Мир и спокойствие на Мейн-стрит нарушал только пронзительный голос белого мальчугана:

— Проваливай ко всем чертям!

Прохожий продолжал озадаченно смотреть на него, затем перевел взгляд на цветного малыша. Желтый цвет некрасивого, но выразительного лица прохожего свидетельствовал о том, что этот человек не европеец. У него был тонкий орлиный нос и выгоревшие на солнце рыжевато-каштановые волосы. В светло-карих глазах, составлявших странный контраст со смуглой кожей, плясал задорный огонек.

— Ты почему на него злишься? Все дети должны быть как братья.— Незнакомец говорил приятным баском, с чуть заметным акцентом.

— Что, эта черная свинья — мой брат? Проклятый готтентот — мой брат? — Губы у белого мальчугана дрожали.— Voetsak вы оба!

Он изрыгал ругательства на распространенном в тех местах гнусавом диалекте африкаанс. Но в конце концов замолчал и потопал прочь, оставляя на мягкой сухой пыли отпечатки босых ступней.

Путник проводил его взглядом и повернулся к цветному малышу, который все еще продолжал хныкать. Вдруг он почувствовал, что за ним следят, и настороженно оглянулся. Трое белых парней, укрыв-

шихся в тени веранды магазина, вроде бы совсем безучастно наблюдали за ним.

— Kom hier, Seuntjie[1],— позвал он цветного мальчика.— Поди сюда.

Малыш оказался недоверчивым. Он перестал реветь, но не подошел, а своими черными глазенками издали подозрительно поглядывал на незнакомца, на его обтрепанную одежду, на разорванные ботинки, откуда торчали пальцы, и небрежно связанный узел с пожитками.

— Поди сюда, сынок!

Мальчик вдруг опрометью кинулся бежать мимо магазина. Один из парней на террасе расхохотался, у других по-прежнему было каменное выражение лиц.

Прохожий устало взвалил узел на плечо и нерешительно огляделся. По уходившей вдаль улице струились волны раскаленного воздуха. Нестерпимо хотелось пить. Уже давно, с самого утра, он не сделал ни одного глотка. А солнце, как назло, палило так, будто собиралось выжечь все живое. И надо ж, кругом ни одной колонки. Оставалось только постучаться в чей-нибудь дом. Он знал, что троица на веранде продолжает за ним следить. Лавка была закрыта, но рядом, всего в нескольких шагах, стоял дом ее хозяев. Чисто выбеленный, с поблескивающей на солнце крышей. Только там можно попросить воду, чтобы смочить пересохшее горло. А ведь он прошагал все утро по сухому, выжженному плато.

Путник подошел к двери и позвонил. Слышно было, как звонок отдается во всем доме. Пес с оглушительным лаем спрыгнул с веранды и набросился на него. Человек стал отбиваться от него узлом, но никто из парней и не подумал прикрикнуть на псину.

С заднего двора, на ходу вытирая руки о фартук, прибежала дородная белая женщина. Она отогнала собаку, крича:

— Duivel, hou stil![2]

— Простите за беспокойство, мадам. Вы не дадите мне чего-нибудь попить?

---

[1] Поди сюда, сынок *(африкаанс).*

[2] Да успокойся ты, дьявол! *(африкаанс)*

— Да как ты смеешь, нахал, ломиться в дверь дома, где живут белые! — взорвалась она.

— Извините, мадам!

— Какое свинство! — Она окинула его негодующим взглядом, но вдруг немного смягчилась.— Иди, за домом есть колонка.

— Пожалуйста, мадам, немного воды,— произнес он, покосившись на дворового пса.

— Мало того, что из-за тебя я оторвалась от работы, ты еще хочешь, чтобы я подала тебе воду!

— Пожалуйста, мадам!

— Каков негодяй! Пошел прочь! Знай свое место.

— Ну, пожалуйста!

— Voetsak, или я натравлю на тебя собаку!

— Прошу вас, мадам.

Рассерженная, она ушла на задний двор. Пес яростно лаял, так и норовя вцепиться чужаку в лодыжки. Наконец уставший дворняга поплелся обратно на веранду.

— Пошел прочь! Знай свое место,— повторил путник без всякой злобы, только для того, чтобы что-нибудь сказать.— Знай свое место!

Пес снова принялся выискивать блох, время от времени угрожающе косясь на незнакомца.

Белые парни продолжали наблюдать за ним без особого интереса, но уже с некоторой враждебностью. Он хотел спросить у них, когда откроется лавка, но передумал, догадываясь, что они только напускают на себя скучающий вид и дело в любой момент может принять скверный, очень скверный для него оборот. Так он и стоял на улице, не зная, что делать.

— Эй, ты! — наконец окликнул его один из парней.— Wat soek jy met die nooi? [1]

Вопрос был каверзный. Ведь он вовсе не приставал к этой женщине.

— Я хочу пить.

— Ты что, не видишь, что эта чертова лавка закрыта?

Атмосфера накалялась.

— Отвечай, когда тебя спрашивает белый!

Он молча смотрел перед собой. Парень неестественно потянулся и неторопливо встал.

---

[1] Зачем ты приставал к этой женщине? (*африкаанс*).

— А зачем ты привязался к этому мальчишке? — спросил он мнимо равнодушным тоном.

— Я к нему не привязывался.

— В самом деле? А что надо добавить?

— Я к нему не привязывался, баас.

— Зачем ты сюда притащился?

— Хочу пить.

— В самом деле? А что надо добавить?

— Хочу пить, баас.

— На, пей!

Это было так неожиданно, что он даже не успел защититься. Выброшенный с быстротой молнии кулак с силой ударил его в лицо. Парень стоял, возвышаясь над ним. Двое других по-прежнему сидели на своих местах, наблюдая за этой сценкой.

— Sê dankie, Baas[1].

Он был слишком ошеломлен, чтобы вымолвить что-нибудь другое.

— Sê dankie, Baas.

Он на ощупь отыскал свой мешок, распрямился и попытался утереть лицо рукавом, но только размазал кровь и пыль. Белый парень вернулся на террасу и сел, развалясь в той же ленивой позе, что и раньше.

Под палящими лучами солнца путник зашагал по Мейн-стрит. Так вот, оказывается, как здесь встречают вернувшихся на родину! Вот какова расплата за смуглый цвет кожи! Конечно, он снесет и это. Не впервой. И все-таки как трудно смириться!

Он тяжело взбирался на холм, где находилась локация цветных. Кругом царило расслабляющее спокойствие. Только пыль, мухи да въедливый запах протухшего мяса и гнилых овощей. Жарко, душно, и воздух еще влажнее, чем в поселке. Между хижинами тянутся пыльные, заросшие бурьяном дорожки. Он остановился у покосившейся хибарки из рифленого железа, дверь которой была открыта. Потирая скулы, он заглянул внутрь: там было темно, но он все же различил фигуру женщины, сидевшей на кровати возле стены. В дальнем углу тихо копошились трое детей с раздутыми животиками. Он осторожно постучал.

---

[1] Спасибо, баас *(африкаанс)*.

— Можно?

Женщина даже не повернула головы.

— Можно войти?

— Да,— вяло проговорила она, так и не обернувшись в его сторону.

— Спасибо!— Он переступил через порог.— Вы не дадите мне попить?

— Пожалуйста,— проронила женщина, не проявляя к нему никакого интереса.— Джонни!— позвала она.

Ответа не было.

Еще раз:

— Джонни!

Из двери в задней стене комнаты появился мальчик лет десяти, очень похожий на того цветного малыша, которого путник видел в поселке, хотя теперь трудно было сказать с уверенностью, он это или не он. Все они так похожи друг на дружку — маленькие, тощие и темные от загара.

— Принеси мистеру кружку воды, Джонни,— распорядилась женщина на африкаанс.

Дети смотрели на вошедшего широко раскрытыми, полными опасений глазами.

Женщина была в положении. Она сидела на кровати, как дряхлая старуха, хотя, очевидно, ей было не больше тридцати. С трудом вытащив из-под кровати чемодан, она жестом пригласила путника сесть. У нее была странная манера смотреть не в глаза, а куда-то мимо.

— Присаживайтесь. Кофе у нас нет.

— Спасибо. Достаточно воды.

У него, должно быть, был забавный вид на этом чемодане, потому что дети с улыбкой переглядывались.

Наступило неловкое молчание.

— Мистер издалека...

Он не мог понять, вопрос это или утверждение.

— Я не здешний.

Женщина смотрела поверх его плеча. В его голосе ей почудилось что-то знакомое, но вглядываться она не стала. Почему-то этот незнакомец вызывал любопытство, хотя она и не могла понять почему.

— Мы бедняки,— сказала она так, будто это

только сейчас пришло ей в голову.— Нам нечего есть.

Сын возвратился с эмалированной кружкой, наполненной тепловатой водой. Путник пил долгими жадными глотками. Сбегавшая с его подбородка тонкая струйка затекала под рубашку. Вода обжигала кровоточащие десны. Он чувствовал, что женщину тяготит его присутствие. Она уклонялась от его взгляда и все время смотрела куда-то вбок.

— Это ваши дети?— спросил он, напившись.

— Да. Трое мальчиков и одна девочка.— Она застенчиво улыбнулась.— Жду четвертого.

— А ваш муж?

— Умер. Совсем недавно.— И, помолчав, добавила:— Что поделаешь? Как-нибудь справлюсь сама. Можно попытаться найти работу в деревне.

— Мне очень жаль, что вы остались одна.— Ему хотелось задать еще несколько вопросов, но он почувствовал, что ей неприятно продолжать этот разговор.— Я иду издалека,— добавил он.

Она по-прежнему не проявляла к нему интереса, и ему пришлось выпить еще воды, хотя он уже утолил жажду.

— Мне еще предстоит долгий путь.

— Вы ехали на поезде, мистер?

— Нет, шел пешком.

— Это опасно. Цветным нельзя ходить поодиночке.— Она перевела дух и продолжала: — Кругом эти кафры... Я не доверяю ни им, ни белым. Белые однажды избили моего мужа. Им, видите ли, показалось, будто он чересчур дерзок... Того и гляди, влипнете в какую-нибудь историю.— Она задыхалась, видимо, не привыкла говорить так долго.

— За что они избили вашего мужа?

Она медленно подняла глаза, и выражение ее лица изменилось. Цветной, а не понимает таких простых вещей! Должно быть, он из Кейптауна, где, как она слыхала, жизнь отличается от здешней.

— Так за что же избили вашего мужа?

Впервые за все это время она посмотрела на него в упор.

— Господь сотворил всех людей по отдельности, мистер, они не должны смешиваться, это грех. Белые должны быть с белыми, а черные — с черными. Мы,

цветные, тоже должны держаться все вместе... Вы, наверно, проходили мимо дома с зеленой оградой на углу? Там теперь живет Ленти Симонс. Когда она ушла с учителем-кафром, все ее осуждали. Это грех, потому, что он черный, а она цветная.

Разговор утомил ее, она опустила глаза и осторожно потрогала свой огромный живот. Незнакомец погладил Джонни по голове. Женщине это, очевидно, не понравилось.

— Присмотри за печкой,— велела она старшему сыну утомленным голосом, в котором, однако, слышалась властность.

Незнакомец почувствовал смущение.

— Вы ходите в церковь?

— Да. По воскресеньям, вечером. Я пошла бы и сегодня, если б могла.— Она улыбнулась, словно извиняясь, и поглядела на живот.— Но я не могу... Мы ходим в церковь возле озера.

— А я видел церковь на Мостерт-стрит, недалеко от лавки.

— Она только для белых. Их predikant[1] иногда бывает и в нашей церкви.

— Зачем?

«Этот человек и впрямь ничего не понимает!»— подумала женщина...

Путник не стал повторять вопроса. Да ему уже и пора было уходить. Он взял узел и устало поднялся.

— Большое спасибо за воду, сестра... Да поможет вам господь! Спасибо.

На щеках у нее выступили нездоровые красные пятна. Она скорее угадала, чем поняла смысл его слов.

— Да,— повторил он.— Господь создал нас разными...

Он закинул узел за плечо и свободной рукой погладил разбитую скулу.

Мостерт-стрит казалась пустынной по будням и совсем вымершей в воскресные дни. Некоторое оживление начиналось на ней лишь под вечер, когда к церкви подъезжали повозки, собственные машины и такси. Церковь была не такой величественной, как в

[1] Пастор *(африкаанс)*.

окрестных поселках, но местные жители отзывались о ней с гордостью. Во всяком случае, вид у этого сооружения, возведенного на месте старой, сгоревшей три года тому назад церкви, был вполне современный.

Путник остановился у входа. Через открытую дверь до него доносились звуки псалма. Кажется, сто двадцать третьего. Поколебавшись, он вошел внутрь и тихонько присел в заднем ряду, где никого не было. Его не заметили. Стоявший у двери служитель сосредоточенно уткнулся в псалтырь. Путник огляделся. Кафедра была украшена затейливой резьбой. Похоже, что это работа Ван Воува. Высокие окна плотно задрапированы белыми занавесями. На стенах, в добротных черных рамах, висели тексты из Священного писания. Прихожане рассеянно слушали монотонное бормотание пастора:

— Мои возлюбленные братья и сестры во Христе, да почиет на вас благословение божье...

— Аминь! — откликнулась паства.

— Подумаем об обязанностях наших перед близкими. Бог наш — бог любви, милосердия и беспредельной мудрости. Он поселил нас здесь, дабы мы были живыми символами его могущества, живыми словесами его учения. Наш долг — просвещать язычников, помогать обездоленным, ободрять менее удачливых. Наша община внимает божьему призыву. Не щадя ни сил своих, ни денег, ни времени, мы создали миссионерский центр для цветных в Лангвлай. Но нам предстоит выполнить еще один долг. У туземцев нашей общины нет своей церкви. И мы снова взываем к вашей помощи. Не отворачивайтесь. Не хмурьтесь, не говорите, что это дело бесполезное. Наипервейший наш долг — просвещать язычников. Распространять милосердие господне на менее удачливых. Помогать беднякам и искоренять варварство...

Путник вспомнил о беременной женщине и ее слова о миссионерской церкви рядом с озером.

— Мы обязаны помочь туземцам и цветным занять надлежащее место в нашей общине.

Сердитая хозяйка лавки выразилась гораздо откровеннее: «Пошел прочь! Знай свое место!»

— Господь и государство — едины. Наш долг перед богом...

Незнакомец задумался. Для чего он сюда возвра-

тился? Таким ли сотворил бог этот мир? Или во всех несправедливостях жизни виноваты сами люди? Ведь они часто бывают немилосердны к своим братьям.

Одна из прихожанок обернулась и вдруг заметила его на заднем ряду. Ее лицо тотчас исказилось гримасой негодования. Наклонившись, она что-то шепнула своей соседке. Прихожане стали бросать на него косые взгляды.

Какой-то важный господин поднялся с места и подошел на цыпочках к служителю возле двери. Они вполголоса о чем-то посовещались. Служитель встал, прокашлялся со строгим видом и, поскрипывая ботинками, направился к незнакомцу.

— Тебе нельзя здесь находиться,— проговорил он тихо.

— Но я хочу помолиться.

— У вас есть своя церковь в Лангвлай.

— Мне тут больше нравится.

— Это церковь для белых.

— Христос сошел на землю, чтобы спасти всех людей.

— Не спорь! Проваливай отсюда, да поживее. И смотри не шуми.

— ...Дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную,— продолжал проповедник.

— Уходи и забирай с собой свое барахло!

Его вытолкали из церкви на пыльную улицу, а вслед вышвырнули его мешок.

У него на лице появилось печальное и в то же время странно умиротворенное выражение. Глаза светились мудростью. Это были глаза человека, который изведал много страданий в жизни.

Он устало поднял узел, покорный своему жребию, так же как и тот, кого две тысячи лет назад распяли на Голгофе. И ему казалось, будто пыльная улица ведет навстречу отцу небесному.

СКАМЕЙКА

— Мы неотъемлемая часть общества, где у большинства людей отобраны элементарные права, общества, обрекающего тех, кто имел несчастье родиться

черным, на приниженное положение, общества, строящего свое шаткое социальное и экономическое благополучие на эксплуатации черного пролетариата...

Карли жадно слушал оратора и, хотя не понимал многого, смутно угадывал великую справедливость этих слов.

Оратор на минуту умолк и отхлебнул воды из стакана.

Октябрьское солнце безжалостно припекало всех собравшихся. В раскаленном небе над Столовой горой не висело ни одного облачка, деревья на площади Грэнд-Парейд почти не отбрасывали тени. Платок, который Карли сунул за ворот рубашки, насквозь пропитался потом. Оглянувшись, он увидел море лиц — черных или коричневых и всего несколько белых; кое-где виднелись красные фески малайцев. Возле полицейского автомобиля два шпика торопливо стенографировали речь.

— Мы должны бросить вызов законам, низводящим людей до положения рабов,— продолжал оратор,— должны бросить вызов тем, кто ввел сегрегацию, основанную на цвете кожи. Ваши дети лишены прав, принадлежащих всем от рождения. Они лишены возможности принимать участие в общественной и экономической жизни страны, подвергаются дискриминации в области образования.

Что-то шевельнулось в душе Карли. Что-то новое, неизведанное. Человек на помосте проповедует новую религию. Эта религия утверждает, будто у него, Карли, и у его детей есть какие-то права. Выходит, он имеет право жить, как белый человек? Жить, как живет, к примеру, старик Латеган? Новые мысли взрывались в голове Карли, как маленькие бомбы. Он даже не смел заглянуть в глубину своей души, захлестнутой столь необычными чувствами. Карли попытался вообразить, как он будет сидеть в городском ресторане или вместе с Нелли отправится в кинотеатр, где в буфете можно купить чай и где все билетеры одеты в красивую униформу. Его дети будут щеголять в фуражках с околышем, а их учителя — в мантиях.

Мир, который рисовался воображению Карли, пугал и в то же время манил. Интересно, что сказал бы обо всем этом дядя Оу Клаас? Оу Клаас считает,

что господь сотворил белых и черных по отдельности; белый человек — чтобы быть господином, баасом, а черный — его слугой. То, что Карли услышал сейчас, было прямо противоположно дядиным словам и неудержимо притягивало к себе.

Наморщив лоб, Карли напряженно раздумывал. На помосте сидело много людей — белых и черных. Все они держались на удивление непринужденно, будто вовсе не замечали разницы в цвете кожи. Белая женщина в голубом платье предложила сигарету профсоюзному активисту Нксели. Карли тоже захотелось курить, и он вытащил из кармана смятую пачку дешевых сигарет. Старика Латегана хватил бы удар, если бы, допустим, Нксели осмелился угостить его дочь сигаретой. А что было бы, если б Оу Клаас предложил закурить Аннети Латеган? Карли невольно рассмеялся. Стоящие поблизости удивленно на него оглянулись. Карли смутился и торопливо зажег сигарету, но забавная сценка рисовалась ему снова и снова.

У Аннети нет такого красивого платья, как у женщины на помосте. На этой белой леди плотно облегающее голубое платье с короткими рукавами и белыми отворотами. Если допустить, что оратор прав, то выходит, что он, Карли,— не хуже других людей. На языке вертелось: «Не хуже белых»,— но он не решился даже мысленно произнести эти слова. Однако оратор так прямо и сказал. Может быть, он прав. Однажды Карли видел в газете фотографию людей, которые намеренно нарушали несправедливые законы. Он тогда спросил Оу Клааса, кто это такие, но тот лишь пожал плечами. Людей на фотографии вели в тюрьму, а они улыбались. Это показалось Карли странным, непонятным.

Оратор продолжал. Говорил неторопливо и тщательно выбирая слова.

«Замечательный человек,— думал Карли, внимательно вслушиваясь в размеренную речь оратора.— Куда до него старику Латегану и даже Домини. Даже белому Домини...»

Затем взяла слово леди в голубом платье с красивыми белыми отворотами. Она сказала, что надо бросить вызов законам, которые возносят одних над другими.

— Занимайте любое место в поезде,— призывала она.— Заходите в любой ресторан.

Белые полицаи торопливо строчили в своих блокнотах.

Любопытно, почему она так думает? Она-то ведь может ходить в лучшие кинотеатры, загорать на лучших пляжах, жить в прекрасных домах. А какая она красивая — гораздо красивее Аннети Латеган. Ее волосы так и переливаются на солнце.

Перед отъездом из Биетисвлея его предупреждали, что в Кейптауне все по-другому, не так, как у них. В Шестом квартале Карли видел самых настоящих бандитов. Сначала он перепугался до смерти, но потом привык и даже поселился возле Ганноверстрит, в одной из боковых улочек. В общем, все оказалось не так страшно, как ему говорили, и он успокоился.

Но никто, даже Оу Клаас, не подготовил его к тому, что здесь можно услышать такие крамольные речи. Это было совсем для него неожиданно и заставляло задуматься о многом. Белые леди призывают бросить вызов существующим законам. В душе его стало созревать решение, которое сначала показалось ему нелепым, даже ужасным. Но оратор продолжал говорить, укрепляя Карли в его решении. Да, он бросит вызов. Он, Карли, бросит вызов. То-то удивятся все: и старик Латеган, и Оу Клаас, и Аннети, и Нелли.

С горячностью, присущей всем новообращенным, Карли решил бросить вызов, хотя бы это грозило ему тюрьмой. Он будет улыбаться, как те люди на фотографии.

Митинг подходил к концу, и Карли стал выбираться из толпы. Слова оратора крепко засели у него в голове. Непонятные — и в то же время странно понятные слова. В Биетисвлее он не слышал ничего подобного. А может, ему просто не везло?

Внезапно раздался резкий визг тормозов. Карли, вздрогнув, отпрыгнул в сторону. В окошко машины высунулось искаженное злобой белое лицо.

— Ты что, ослеп? Не видишь, куда прешь, черная скотина!

Карли только хлопал глазами, слишком ошеломленный, чтобы что-нибудь ответить. «Конечно, этот

человек не видел, как белая леди предлагает сигарету Нксели. Белая леди никогда не обругала бы Карли. Непонятно все это. Надо будет хорошенько поразмыслить в поезде»,— подумал он.

Карли с растерянным видом разглядывал железнодорожную станцию. Вокруг него толпились люди: в основном белые, только несколько черных и коричневых, как он сам. Они стояли вперемежку, но поглядывали друг на друга с каким-то неестественным испугом. Каждый презирал другого, каждый был замкнут в своем узком кругу... Оратор сказал, чтобы мы бросили вызов. Каждый по-своему. Но как именно? Как бросить вызов?

Вдруг его осенило. Вот подходящий случай. Скамья. Обыкновенная вокзальная скамья с четкой надписью белыми буквами: «Только для европейцев».

В один миг эта скамья стала для Карли символом всех несчастий, постигших разрозненные народы Южной Африки. Теперь он знает, как ему следует поступить, как отстоять свои человеческие права.

Обыкновенная деревянная скамья, похожая на сотни тысяч других в Южной Африке. Но она как будто воплотила в себе все зло общественного порядка. Она отгораживала его, Карли, от всего остального человечества. Если он осмелится сесть — значит, он тоже человек. Не осмелится — лишится своего места в человеческом обществе. Ему даже казалось, что стоит лишь сесть на скамью, и все гнусные порядки разом исчезнут. Вот подходящий случай, и он его не упустит. Он бросит вызов.

Карли опустился на скамейку со спокойным видом, но сердце его бешено колотилось. В душе столкнулись две противоречивые мысли: «Не имеешь ты права сидеть на этой скамье» и «Почему не имею права?» Карли слышал два голоса. Один напоминал о прошлом, о жизни на ферме, о рабстве отца и деда. Второй вселял надежду, говорил о будущем. Карли, ты человек! Ты посмел сделать то, на что никогда не отважился бы твой отец. И ты умрешь как настоящий человек!

Карли достал сигарету и закурил. До него как будто никому не было дела. Напряжение стало спадать. Все идет своим чередом. Люди живут, дышат, умирают. Никто не кричит: «Ты победил, Карли!»

А что, собственно, необычного в том, что он сидит на заполненной людьми железнодорожной платформе и покуривает сигарету? Может быть, в этом и состоит его победа? В том, что он человек?

В его сторону направилась хорошо одетая белая женщина. Сядет ли она на скамейку? И опять он услышал предательский голос: «Встань, чтобы женщине не пришлось сесть с тобой рядом».

Глаза Карли сузились, и он сделал долгую затяжку. Женщина проплыла мимо, даже не взглянув на него. Неужели она побоялась принять вызов и тем самым признала, что он — человек? А может, ей просто наплевать на него.

Только сейчас Карли почувствовал, как он устал. В его душу непрошеным гостем вползло примирение. «Ты сидишь на скамейке,— шептало оно,— вовсе не для того, чтобы бросить вызов. Просто ты устал». И он уже сам не мог понять, почему не встает — от усталости или из желания бросить вызов.

К платформе подкатил поезд. Из вагонов повалили пассажиры. В поднявшейся сутолоке никто и подавно не заметил Карли. Почему бы ему не уехать на этом поезде? Сесть в вагон и уехать — нет ничего проще. Но для чего тогда было бросать вызов, для чего сидеть на скамье? Зачем было жариться на солнце, слушая речи ораторов? Неужели он сдастся? Признает свое поражение? Согласится с тем, что он не человек?

И Карли остался сидеть. Он устало потягивал сигарету, а мысли унесли его далеко от этой скамьи и от митингов... Он — в Биетисвлее. Рассказывает Оу Клаасу о своей мечте. Он, Карли, хочет видеть сверкающие огни Кейптауна. Красивых коричневых девушек. А Оу Клаас с лукавой усмешкой посасывает свою трубочку. Что и говорить, Оу Клаас — мудрый старик, недаром он прожил на свете так долго.

Оу Клаас всегда любил рассуждать о пользе путешествий. Старик уже бывал в Кейптауне. И с хитрым видом поплевывал, вспоминая тамошних красоток — коричневых, оливково-коричневых и малайских девушек. Старый Оу Клаас знает все на свете. «Бог создал одних людей белыми, других — черными,— говорит он,— и каждый должен знать свое место».

— А ну, слезай со скамейки!

Карли даже не слышал этого грубого окрика.

Оу Клаас, наверно, сидит сейчас дома и ждет, когда ему поднесут дешевого вина.

— Кому говорю, слезай со скамейки, свинья!

Карли наконец очнулся. Повинуясь привычному инстинкту, он весь подобрался, готовый вскочить, как вдруг его словно окатило холодной водой, и он вспомнил, зачем он здесь. Карли медленно поднял глаза на злобное, налитое кровью лицо.

— Вставай!— послышался резкий, как щелканье бича, возглас.

Карли молчал. На него в упор смотрели острые, серые, холодные глаза.

— Ты что, оглох, черная образина?

Карли не торопясь выпускал клубы дыма и внимательно их разглядывал. Стало быть, началось! Он и его противник походили на двух боксеров, которые внимательно изучают друг друга, не решаясь нанести первый удар.

— Ну, погоди, сейчас я позову полицейского!

Карли упорно молчал. Стоит ему заговорить — и чары рассеются: он потеряет уже приобретенное превосходство. Но как трудно молчать!

— Сейчас приведу полицейского. Почему ты не отвечаешь, когда с тобой говорит белый?

Карли сразу понял, в чем слабость этого парня: тот не решался напасть первым. Первый раунд выигран. Кругом собралась толпа.

— Африка!— воскликнул какой-то шутник, подняв вверх большой палец.

Карли не откликнулся. Толпа между тем увеличивалась. Всех привлекало необычное зрелище: черный человек на скамье для белых...

Карли спокойно попыхивал сигаретой.

— Вы только посмотрите на эту черную обезьяну! Вот что получается, когда им дают волю.

— Ничего не понимаю, ведь у них есть свои скамейки.

— Да благословит тебя господь, друг! Не вставай. Ты имеешь такое же право сидеть здесь, как и любой из них.

— Не понимаю, почему они не могут сидеть там, где им нравится.

— Этим дикарям нельзя доверять. У меня был черномазый слуга, так более нахального малого...

Карли ничего не слышал. Решимость в нем окончательно окрепла. Нет, он не встанет, ни за что не встанет. Пусть делают, что хотят.

— Этот самый, да? А ну, поднимайся! Читать умеешь?

Над ним возвышался грузный полицейский Карли видел его медные пуговицы и красные морщинки на шее.

— Как тебя зовут? Где живешь? Отвечай!

Карли не ответил. Полицейский опешил.

А толпа все росла и росла.

— Вы не имеете права разговаривать с ним так грубо.

Это была леди в голубом платье.

— Не суйтесь не в свое дело! Я попрошу у вас помощи, когда она мне понадобится. Из-за таких, как вы, эти кафры и обнаглели даже пристают к белым женщинам.

— Я требую, чтобы вы относились к нему с должным уважением.

Полицейский стал красен, как свекла.

— Это... Это...— Он даже не находил слов.

— Дай этому готтентоту хорошего пинка, раз он не хочет подниматься,— заорал белый юнец, грубо хватая Карли.— Вставай, ублюдок!

Карли крепко ухватился за скамейку, за свою скамейку. В него вцепилось множество рук, он яростно отбивался и вдруг почувствовал тупую боль. Кто-то подбил ему глаз, пошла кровь... Но он все равно не встанет!.. Полицейский защелкнул наручники на запястьях Карли и пробовал стащить его со скамейки. Карли сопротивлялся На него обрушилось еще несколько ударов Наконец он перестал упираться. Это уже не имело смысла. Теперь самое время улыбнуться. Он бросил вызов и победил. А что будет дальше — не важно.

— Пошли, свинья!— крикнул полицейский, подталкивая вперед Карли.

— Ну что ж, я пойду,— проговорил Карли. И глянул на полицейского с горделивым видом, подобающим человеку, который осмелился сесть на скамью с надписью: «Только для белых».

РОНАЛЬД УИЛЬЯМС

Прозаик, новеллист. Его произведения публиковались в журналах. Рассказ «Пропуск и землячка» взят из сборника «Вернись, Африка» (1968).

ПРОПУСК И ЗЕМЛЯЧКА

Мазиза повернулся на другой бок в постели. Проклятье! Даже по воскресеньям каторжная работа напоминала о себе.

Шесть дней в неделю вкалываешь, как раб, за несколько жалких фунтов. Даже в воскресенье не удается отдохнуть как следует. И так день за днем, год за годом...

Подобные мысли частенько одолевали Мазизу. Но сегодняшнее утро сулило радость, и парнем вскоре овладело радостное предчувствие чуда.

В его жизни намечались наконец-то перемены к лучшему. А все потому, что в прошлый четверг он познакомился с Ребеккой. Мазиза никогда не увлекался женщинами, особенно с тех пор, как перебрался в город. Но Ребекка — это совсем другое дело. Она приехала из деревни, да еще из деревни, расположенной неподалеку от его родных мест. Большой город еще не успел ее испортить. Одевалась она скромно, речь ее была бесхитростна и откровенна, а взгляд отражал милую застенчивость.

Когда они повстречались, Мазизе показалось, будто он снова очутился на родине. Такое случается нечасто. Она тоже обрадовалась знакомству со «своим парнем» и даже пригласила его прийти в дом, где работала прислугой, в воскресенье, когда хозяева уедут.

Мазиза с готовностью согласился. Еще бы! Он прожил три года в Кейптауне без женского общества, а теперь вот встретил девушку из родных мест, к тому же такую славную.

Он поднял голову и осмотрелся. Кровать Фонди стояла пустой, хотя его сосед по комнате не имел

обыкновения подниматься в такую рань. Не иначе как пошел провожать свою Майзию до остановки автобуса. Майзия начинала работу с восьми.

«Бедняги,— думал Мазиза о парнях вроде Фонди.— Вынуждены украдкой приводить своих девушек в общежитие холостяков поздно вечером или рано утром и также контрабандно выпроваживать их, пока служащие, наблюдающие за порядком, спят». Иначе приходится платить им за молчание, а Фонди поклялся ни за что этого не делать Он говорил, что не намерен угождать кому бы то ни было.

Мазиза уже завязывал свой самый яркий и широкий галстук, когда вошел Фонди. Он очень удивился, увидев, как наряжается его приятель.

— Что за праздник сегодня? Только не говори, будто собрался в церковь.

Мазиза оглядел себя с головы до ног, смахнул пылинку с рукава и только после этого ответил:

— Я еду в Си поинт.

Широкая улыбка разлилась по всему лицу Фонди.

— Неужто у тебя там родня отыскалась? А может, подыскиваешь себе место слуги или садовника? Он весело рассмеялся.

— Смейся, смейся, тебе действительно есть чему удивляться. Я еду на свидание с девушкой. Не с такой, как ваши полупьяные, прокуренные девицы. С порядочной девушкой. К тому же у нее отдельная комната в доме, где она прислуживает. Кто знает, может, мне больше не придется платить за квартиру и за еду, пока она там работает.

— А взамен ты будешь копаться в саду, мыть хозяйскую машину или делать другую черную работу?— Фонди тряхнул головой.— Я так, например, и в жисть не соглашусь заниматься подобным.

— И все же это лучше, чем твое нынешнее занятие. Вы с Майзией в один прекрасный день наверняка попадетесь,— поддел приятеля Мазиза.

Так они подтрунивали друг над другом, пока Мазиза облачался в свой лучший костюм, а Фонди натягивал повседневную одежду. Фонди был умудрен опытом и никогда не надевал выходной костюм, если знал, что предстоит изрядная попойка. А Мазиза и мысли не допускал, чтобы в такой день надеть гряз-

ную одежду, сброшенную накануне прямо на пол. В голубом костюме он выглядел элегантно. Вскоре Фонди ушел. Мазиза не стал ничего перекладывать из карманов старого костюма. Он не взял даже месячный билет для проезда в третьем классе пригородного поезда. В этот день ему подобало ехать по меньшей мере во втором классе!

В хорошем настроении, с высоко поднятой головой Мазиза отправился на станцию. Он быстро шагал по асфальтовой дороге, стараясь не ступать на пыльную обочину, и приветствовал каждого встречного, даже совсем незнакомых. Мазиза был счастлив. Жизнь, черт возьми, все же иногда доставляет радость. Надо только дождаться своей очереди.

Предвкушая вкусное угощение в доме белого хозяина Ребекки, Мазиза не стал завтракать. Когда поезд остановился у перрона Кейптаунского вокзала, он быстро побежал к автобусной остановке и уже через несколько минут сидел на верхнем этаже автобуса, отправляющегося в Си-поинт. Найти Ребекку было несложно: сойти на Двадцатой улице, подняться по Маунт-стрит, через три дома повернуть направо— и вот ты у своей землячки, ожидающей тебя!

Мазиза нетерпеливо ерзал на сиденье. Автобус тащился, как ему казалось, слишком медленно и слишком часто останавливался. Мазиза даже подумал, что пешком было бы быстрее.

Наконец кондуктор объявил: «Двадцатая улица».

Мазиза соскочил с автобуса. Пройдя несколько шагов, он увидел двух африканцев, торопливо шедших ему навстречу. Они выглядели встревоженными: то и дело оглядывались, будто не знали, в каком направлении идти. Мазиза остановился, чтобы поправить галстук. Он с удивлением посмотрел на них. Поравнявшись с Мазизой, один из африканцев сказал:

— Ты, браток, выбрал неудачный день. Дела здесь плохи.

И прежде, чем он успел их спросить, что значат эти слова, они скрылись за углом. Он не стал понапрасну ломать голову, все равно ничто не могло испортить ему настроение. Нет, Мазизе будет что порассказать своим друзьям, когда они опять начнут хвастаться своими любовными похождениями.

Они всегда посмеивались над ним. Теперь этому конец.

Мазиза сделал всего несколько шагов, когда из-за угла вдруг вынырнула полицейская машина. Мазиза вздрогнул, но тут же взял себя в руки. «Мне нечего бояться, я ведь ничего плохого не сделал»,— подумал он, стараясь успокоить себя, хотя отлично знал, что полиции не надо никакого повода, чтобы сцапать африканца.

— Эй ты, подойди сюда! — окликнул его полицейский, как только машина остановилась.

Мазиза с притворно невозмутимым видом оглянулся назад, будто полицейский обращался к кому-то за его спиной.

— Я?— Мазиза пальцем ткнул себя в грудь.

— Ты, ты!— зло заорал полицейский, вылезая из машины и чертыхаясь.— Куда идешь?

— Туда, баас.— Мазиза махнул рукой, давая понять, что он очень спешит.

— Вам, туземцам, не полагается жить в Си-пойнте. Ты кто такой?

— Я?..

Полицейский протянул руку. Не спрашивая, чего от него ждут, Мазиза полез за пропуском. Но карман был пуст. Он обшарил все карманы, но маленькой книжицы нигде не оказалось. Мазиза побледнел.

— Нет пропуска?

Полицейский схватил Мазизу за руку и потащил к машине.

— Пожалуйста, баас, я...

— Нет уж, хватит с нас воровства и драк! Пошли!

И тут Мазиза вспомнил о грязной одежде, которая осталась дома... В ней-то и лежит его пропуск. В одном кармане с билетом третьего класса и грязным носовым платком. В одно мгновение он осознал, что ему грозит. Потеря работы, тюремное заключение, долгие, безуспешные поиски новой работы, а возможно, и высылка из города...

Вспомнив о ждавшей его землячке, он решил еще раз попытать счастья:

— Пожалуйста, баас... Пропуск у меня дома, сэр...

Но его грубо втолкнули в машину. Уже потом он узнал, что полиция устроила облаву в этом районе,

так как в одном из домов в комнате для прислуги был обнаружен труп.

Машина мчалась к полицейскому участку, и все надежды Мазизы на приятную встречу с землячкой постепенно испарялись. Отчаявшись, девушка, вероятно, решит, что и вправду никому нельзя верить, даже парню из родных мест.

Желудок Мазизы свело от голода. Он вспомнил о здоровенном ломте свежего, вкусного хлеба, который оставил нетронутым дома...

БЕЙЗИЛ ФЕБРУАРИ

Писатель, активный борец за свободу Южной Африки, погиб в 1967 году в сражении с карательными отрядами родезийских и южноафриканских войск в долине реки Замбези (Зимбабве).

Рассказ «Передача» вошел во многие антологии африканской литературы.

ПЕРЕДАЧА

Утро только начиналось, но к железнодорожной станции уже тянулся нескончаемым потоком рабочий люд. Платформа была переполнена, а каждый автобус или трамвай, подходившие к пристанционной площади, только увеличивали хаос. Вот из притормозившего трамвая вывалила особенно большая толпа людей. Поток подхватил и понес к платформе маленькую старушку в поношенном пальто. Она, казалось, не замечала ни толчков, ни ударов локтей рвущихся вперед пассажиров, только бережно прижимала к груди какой-то сверток. Это была очень старая женщина, с горькими глубокими морщинами вокруг усталых глаз. Ей с трудом удалось протиснуться в забитый до отказа вагон. Она стояла в проходе, когда у нее за спиной раздался вежливый голос:

— Присядьте, ма.

Старушка и не надеялась, что ей могут уступить место, а потому даже не повернулась в сторону говорившего. Но тот повторил:

— Вот здесь, ма. Садитесь.

Она обернулась и встретилась глазами с улыбающимся молодым человеком. Она тоже улыбнулась ему в ответ. Ах, как давно улыбка не посещала это лицо!

— Спасибо, сынок.

— Не стоит, ма.

Она села и снова взглянула на молодого человека. Он опять улыбнулся ей, и она тоже улыбнулась ему, и от улыбки ее лицо просветлело и помолодело.

— Где ты работаешь, сынок?

— На цементном заводе.

Поезд подошел к унылому полустанку. Молодой человек стал протискиваться к выходу.

— До свидания, ма!— крикнул он на прощанье.

— До свидания, сынок. Храни тебя господь.

В следующую минуту она уже потеряла его из виду — он растворился в толпе, хлынувшей из вагона.

Улыбка сошла с лица старушки. И когда состав, словно побитый пес, уполз с полустанка, она по-прежнему стала безучастна ко всему, что ее окружало.

Наконец поезд остановился у конечной станции. Толпа ринулась к выходу, всем не терпелось покинуть душный, переполненный вагон. И только старая женщина с отсутствующим видом продолжала сидеть на своем месте. Казалось, все ее мысли сосредоточились лишь на одном — как бы уберечь в толчее свой драгоценный сверток.

Состав дернулся, и раздался резкий нетерпеливый свисток локомотива. Только тогда она поднялась и покинула вагон. Шаги ее были неуверенны и робки.

На оживленной улице людской поток подхватил старушку и закружил в своем водовороте. Она натыкалась то на одного прохожего, то на другого, не успевая извиняться и с каждым разом все более и более теряясь.

Наконец женщину вынесло на тихую спокойную улицу. Шумные, многолюдные магазины с яркой, кричащей рекламой уступили место скучным зданиям

с голыми кирпичными фасадами. Дома здесь казались строгими и недоступными. Старушка, видимо, почувствовала себя совсем неуютно, когда вокруг нее не стало многолюдной толпы. Она шла, то и дело оглядываясь, поступь ее становилась все медленней и нерешительней.

Пройдя еще немного, женщина остановилась перед большим унылым зданием. Даже окна, которые, казалось, должны были бы нарушить монотонность красной кирпичной кладки, глядели безжизненно и надменно.

В центре здания под аркой зиял мрачный, темный проход. В него время от времени поспешно входили какие-то угрюмые люди с папками в руках.

Старушка в нерешительности постояла на другой стороне улицы напротив этого грозного дома, потом боязливо оглянулась по сторонам и, перейдя улицу, скрылась в темном проеме арки. По обе стороны от арки высились огромные двери. Она поспешила войти в дверь справа, словно опасаясь, что мужество вдруг покинет ее и она останется вечно стоять в этом безлюдном сыром проходе.

Она оказалась в просторной комнате, вдоль всех четырех стен которой тянулись скамейки. Женщина присела на одну из них, бережно опустив рядом с собой сверток. В комнате не было ни души, но это не удивило старую женщину, и она продолжала терпеливо сидеть.

Наконец из соседнего помещения вышел человек и остановился возле конторки. Казалось, он вовсе не замечает присутствия женщины. Она поднялась.

— Доброе утро!— едва слышно произнесла она.

Человек не обратил никакого внимания на это робкое приветствие. Он даже не удосужился поднять глаз. Впрочем, это не обескуражило старушку. Она и не ждала ответа. Взяв в руки свой сверток, она неуверенно приблизилась к конторке и снова робко обратилась к этому страшному человеку, который, видимо, сейчас был погружен в какие-то неприятные мысли.

— Я тут принесла передачу...— с трудом выдавила она из себя.

Человек принялся деловито точить карандаши. Вдруг он резко отбросил недоточенный карандаш и

с нескрываемым отвращением уставился на старуху. Ему стоило больших усилий, чтобы не кинуться на нее с кулаками.

— Куда ты суешься со своей передачей?!— закричал он.— Ты что, не видишь — я занят? Кому она нужна? Тебе небось кажется, что я здесь для того только и нахожусь, чтобы принимать передачи от таких, как ты!

Старуха молчала.

Он торопливо и зло собрал с конторки свои бумаги, потом схватил недоточенный карандаш и в ярости швырнул его об стену.

— Зачем здесь только наставили скамеек? Вы недостойны такой заботы. О, будь моя воля, я бы заставил вас всех стоять здесь часами, а не сидеть, развалясь, как у себя дома.

Он на секунду умолк, вероятно, представляя себе, что бы он еще мог сделать, будь его воля. Но, вспомнив, что власть его пока не слишком велика, он просто зло выругался.

Старушка совсем растерялась, она не понимала, в чем ее вина. Он же, вдоволь потешившись ее испугом, торжествующе продолжал:

— Только и знаете, что доставлять беспокойство! Уж коли вам что приспичит, то все человечество должно немедля бросить свои дела и заняться вашими.

Но вдруг он оборвал поток своих излияний, так как дверь у него за спиной открылась, и в приемную вошел еще один чиновник.

— Что это за старуха?— строго спросил он.

— Чья-то родственница. Толкутся здесь каждый божий день...

— У тебя что, мамаша, нет других дел, кроме как таскаться сюда и беспокоить людей?— спросил вновь вошедший, повернувшись к старушке.— Ты бы лучше присматривала за своим сынком раньше, вот и не пришлось бы теперь всем надоедать.

— Да что ты! Они лучше будут все свободное время спекулировать даггой или другими наркотиками. Удивляюсь, как это господь бог вообще разрешает им иметь детей?

Чиновники замолчали. Тут в комнату вошел третий чиновник.

— Кто это?

— Да так, старуха...

— Ко мне или к вам?

Всех троих неожиданно рассмешил этот вопрос, а старушка растерялась пуще прежнего, слезы сами собой полились из ее глаз. Она зажмурилась, стараясь, чтобы эти люди не видели ее горя.

На минуту в комнате повисла неловкая тишина.

— Как вам только не стыдно! Обижаете бедняжку,— с издевкой произнес один из чиновников.

Остальные весело подхватили шутку.

Потом они прекратили смеяться и снова уставились на просительницу. Казалось, они теряют последние остатки разумности.

Она стояла посреди огромной пустой комнаты, и горькие слезы струились по ее лицу, а у больных ног валялся сломанный карандаш.

Наконец она набралась храбрости и подняла взгляд на мужчин.

В тишине, наступившей вслед за необузданным весельем чиновников, старая женщина вроде бы впервые в жизни услышала свои собственные всхлипы. Постепенно она начала овладевать собой. Голос ее звучал слабо, едва слышно:

— Простите меня, пожалуйста.

Один из чиновников взял новый карандаш и стал сосредоточенно его подтачивать. По-видимому, они просто не знали, как быть со старухой дальше.

— Что у тебя в свертке?— наконец спросил один из них.

— Давай его сюда,— приказал другой.

Эти грубые слова временно заглушили отчаянье старушки. Она на горьком опыте не раз убеждалась в коварстве этих людей. Если она сейчас же, мгновенно, не воспользуется случаем и не передаст свой сверток, потом ей придется долго, очень долго ждать. Она засуетилась, торопливо схватила сверток, и тут тонкая, слабая бечевка лопнула. Голубая рубашка, нижнее белье и сандвичи вывалились на пол. Яблоко, прокатившись через всю комнату, застряло под скамейкой.

— Вы только посмотрите, что натворила эта растяпа!

Тютя!

И на всех троих опять напал смех, они так и по-

катились, глядя, как неуклюже старуха пытается достать из-под скамейки яблоко.

— Левее, левее.

— Ну-ка, пригнись, пониже! Еще, еще!

Каждая их реплика сопровождалась взрывом гогота. Еще два чиновника, привлеченные шумом, появились из внутренней комнаты. Их грубые шутки влились в общий хор...

Наконец женщине удалось достать злополучное яблоко. Она снова собрала сверток. Чиновники явно огорчились, что представление окончилось. Один из них взял сверток из ее дрожащих рук.

— Ладно, давай сюда.

— Не бойся, мы ничего не стащим.

— Он все получит в целости, твой драгоценный сынок.

Они вышли из комнаты, оставив женщину одну. За ними громко захлопнулась тяжелая дверь.

Старушка еще немного постояла, потом глубоко вздохнула и, всхлипывая, уселась на скамью.

А тем временем чиновники несли ее сверток по гулкому, пустому коридору, по обе стороны которого тянулся бесконечный ряд дверей.

— Ты что, в самом деле собираешься отдать этому подонку передачу?

— Думаю, надо отдать. Ты еще не знаешь этих сволочей. Они каждую неделю таскаются в магистрат. Зачем нарываться на неприятности?

— Пожалуй, ты прав, старик. Дай-ка мне яблоко.

— Давай заодно разделаемся и с этими сандвичами. Жена сегодня почему-то накормила меня одними овощами.

И вот посылку, собранную с таким тщанием и любовью, снова раскрыли. Теперь каждый из блюстителей порядка что-то жевал.

— Только не ври, что ты брезгуешь жратвой этих проклятых кафров. Думаешь, я тебя не знаю?

— Слушай, Ван Вик, легче на поворотах, я тоже кое-что про тебя знаю.

— Да заткнитесь вы оба, хватит молоть ерунду!

Они подошли в конце коридора к двери, такой же массивной, как и все остальные. Один из мужчин стукнул по ней ногой. Откуда-то, словно из подземелья, послышался глухой голос:

— Кто там?

— Открой, мы несем передачу.

Дверь с протяжным скрипом отворилась. За ней оказался еще один длинный коридор. В дверях стоял охранник.

— Ну, а кому на сей раз?

— Дламини.

— Кто же вздумал прислать передачу этой черной скотине?

— Мамаша.

Шествие по коридору продолжилось. Наконец процессия остановилась перед одной из дверей. Пока охранник возился с ключами, чиновник внимательно смотрел в глазок.

— А ну там, в камере, отойди от двери!

— Да здесь некуда отойти.

— Сколько этот парень уже сидит?

— Точно не знаю. Вроде порядочно, черт возьми! И еще долго отсюда не выберется.

— Скорей всего никогда, раз уж сюда попал. Здесь с такими не цацкаются.

Охранник воспринял последнюю реплику явно как комплимент в свой адрес

— А вы что думали, здесь отель?

Замок упрямо не поддавался. Наконец дверь нехотя открылась.

— Эй, Дламини!

Человек со свертком выступил вперед.

— Подожди. Надо сначала проверить. А то они вечно ухитряются всунуть что-нибудь недозволенное.

И уже в третий раз пакет развернули. Рубашка и нижнее белье полетели на пол.

— Вроде бы ничего подозрительного.

Но охранник решил так легко не сдаваться. Он поднял рубашку и принялся тщательно ее осматривать, остальные наблюдали за ним. И вдруг откуда-то из рукава упал маленький клочок бумажки и легко опустился к ногам блюстителей порядка.

— Вот видите!— торжествующе закричал охранник.— Где эта проклятая баба? Вздумала вас обдурить. Получите у меня сполна, если, не дай бог, упустите ее.

Бумажку еще не успели поднять с пола, как пя-

теро мужчин, обезумев от ярости, бросились бежать обратно по коридору.

Арестанты с тоской следили за ними через глазки закрытых дверей.

Они влетели в приемную и как вкопанные остановились в дверях. Слава богу, старуха мирно дремала на скамейке, привалясь к стене.

Чиновник грубо тряхнул ее за плечо.

— Ты что, решила надуть нас?

— Тащи ее сюда, мы сами потолкуем с ней, прежде чем передадим кому следует.

— Чего медлишь?

Чиновник растерянно молчал. Он медленно убрал руку с плеча старухи.

— Ну, в чем дело?

— Позови-ка сержанта, кажется, она отдала концы.

Вошел сержант. Он не стал терять времени даром на осмотр старухи.

— Это она приносила передачу?

— Да.

— У кого записка?

Ван Вик протянул сержанту бумажку. Сержант углубился в чтение, а Ван Вик, подняв с пола обломок недоточенного карандаша, стал внимательно и виновато изучать его. Сержант кончил чтение и молча сунул записку к себе в карман.

— Вынесите тело,— приказал он и, повернувшись, вышел из затихшей приемной.

Вечером, прибирая кабинет сержанта, заключенный заметил на столе грязный клочок бумаги. Он воровато оглянулся по сторонам и, убедившись, что никто не следит за ним, пробежал записку глазами. В ней было всего несколько коряво написанных слов: «Я люблю тебя, мой ненаглядный, и думаю о тебе дни и ночи. Мама».

Заключенный тряхнул головой и снова принялся за уборку.

— А я-то думал, что его мать давно умерла,— в раздумье произнес он.

СОДЕРЖАНИЕ

НА СКЛОНАХ СТОЛОВОЙ ГОРЫ

РАССКАЗЫ ПРОГРЕССИВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ЮАР

Редактор М. ПАСТЕР. Художественный редактор Ю. КОННОВ. Технический редактор Л. ЗАСЕЛЯЕВА. Корректоры Г. КИСЕЛЕВА и О. НАРЕПКОВА. ИБ № 3549. Сдано в набор 14.12.82. Подписано в печать 27.10.83. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 15,96. Усл.-кр. отт. 16,8. Уч.-изд. л. 16,5. Тираж 50 000 экз. Изд. № VIII-1184. Заказ [illegible].
Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Набрано и сматрицировано в типографии издательства Татарского обкома КПСС, ул. Декабристов, 2. Отпечатано на Киевской книжной фабрике республиканского объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР. Киев, ул. Воровского, 24.








НА СКЛОНАХ СТОЛОВОЙ ГОРЫ